

ISSN 0132-0637

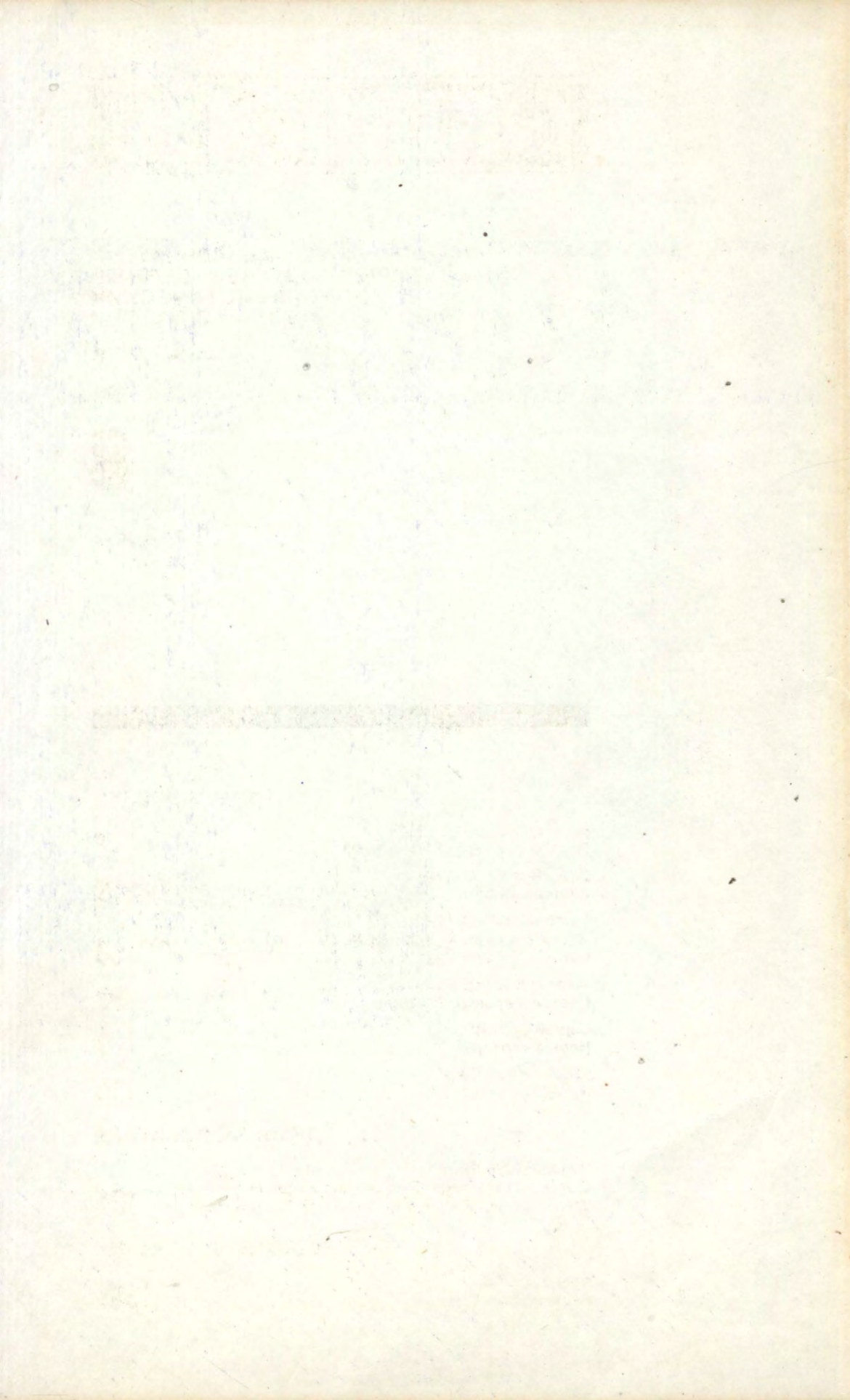
1999

8

Октябрь

Октябрь

8 1999



ОКтябрь

НЕЗАВИСИМЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ РОССИИ

ИЗДАЕТСЯ С МАЯ 1924 ГОДА

8

1999

АВГУСТ

В Н О М Е Р Е:

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Владимир КРАКОВСКИЙ. Один над нами рок. Повесть	3
Светлана ЗАГОТОВА. Шелковый путь. Стихи	52
Григорий КАНОВИЧ. Шелест срубленных деревьев. Невымышленная повесть. Окончание	56
Марина ВИШНЕВЕЦКАЯ. Цветок маренго. Рассказ	98
Сергей СОЛОУХ. Новые картинки	105
Ирина ПОЛЯНСКАЯ. Плацкарта. Рассказ	116

ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

Михаил ПРИШВИН. Дневник 1923 года. Публикация и примечания Я. Гри- шиной. Вступление Я. Гришиной и Н. Полтавцевой	121
--	-----

ПУБЛИЦИСТИКА И ОЧЕРКИ

Александр СЕКАЦКИЙ. Рабы немцы	136
--	-----

Марина РАЙКИНА. Москва закулисная	140
Михаил ХОЛМОГОРОВ. Путешествие по воде	157
Год как век Рубрику ведет Евгений ПЕРЕМЫШЛЕВ	165

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Владимир ГАНДЕЛЬСМАН. Подтверждающий эпитет	169
Андрей ГРИЦМАН. «...Мы входим — я и тень моя». Набоков в Монтрё ...	174
Георгий ГАЧЕВ. Слово и Власть	179
Александр ЯКОВЛЕВ. Чисто литературные мечтания	185
В стиле реплики Александр МЕЛИХОВ. Зачем нужны премии?	187
В несколько строк Рубрику ведет Б. ФИЛЕВСКИЙ	189

Главный редактор
Анатолий АНАНЬЕВ

Ирина БАРМЕТОВА *заместитель гл. редактора*

Редакция:

Инесса НАЗАРОВА	<i>отв. секретарь</i>
Алексей АНДРЕЕВ	<i>зав. отделом прозы</i>
Анна ВОЗДВИЖЕНСКАЯ	<i>зав. отделом критики</i>
Инна БРЯНСКАЯ	<i>публицистика</i>
Виталий ПУХАНОВ	<i>проза</i>

Общественный совет:

Леонид Баткин, Юрий Буртин, Василь Быков, Алексей Варламов, Борис Васильев, Андрей Вознесенский, Игорь Волгин, Александр Гельман, Даниил Гранин, Юрий Карякин, Давид Кугультинов, Анатолий Курчаткин, Юнна Мориц, Анатолий Найман, Олег Павлов, Людмила Сараскина, Леонид Филатов, Юрий Черниченко, Родион Щедрин.

Из общего тиража каждого номера институт «Открытое общество» выкупает и безвозмездно направляет в библиотеки России и ряда стран СНГ 3500 экземпляров журнала.

Адрес редакции: 125124, Москва, А-124, ул. «Правды», 11/13.
Телефоны: главный редактор – 214-62-05, заместитель гл. редактора – 214-63-64, ответственный секретарь – 214-34-44, отдел прозы – 214-51-68, отдел поэзии – 214-63-64, отдел критики – 214-71-34, отдел публицистики – 214-60-24.
Телефон для справок: 214-31-23.

© «Октябрь». 1999. Электронная версия журнала www.infoart.ru/magazine/October
При перепечатке материалов ссылка на журнал обязательна.

Редакция не имеет возможности
рецензировать рукописи и возвращать их по почте.

Учредитель — трудовой коллектив редакции журнала «Октябрь».
Регистрационное свидетельство № 1 от 14 августа 1990 г.

Технический редактор Т. С. Трошина.

Сдано в набор 28.06.99. Подписано к печати 21.07.99. Формат 70x108^{1/16}.
Офсетная печать. Усл. печ. л. 16,80. Усл. кр.-отт. 17,50. Учетно-изд. л. 21,61.
Тираж 8230 экз. Заказ № 1558. Цена 24 руб.

ОАО «Производственное объединение «Пресса-1».
125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

Владимир КРАКОВСКИЙ

Один над нами рок

ПОВЕСТЬ

Малый иль великий,
Но двоятся облики и лики.
Леонид Мартынов

1

Он был еще совсем молодой, но уже стал получать пенсию, потому что, выстрелив в Дантеса из самопала, долго просидел в психушке и вышел из нее как бы инвалидом по умственной части. Все мы несправедливым наказанием крайне возмущались, ведь самопал был не заряжен, вернее, заряжен не полностью: серы со спичек было настругано в дуло под завязку, но пули или чего-либо ее заменяющего сверху положено не было — кусочка, например, свинцового кабеля, рыболовного грузила или хотя бы шарика от подшипника. Бабахнуло будь здоров, огненная струя, как рассказывал потом Дантес, вырвалась в его направлении почти метровая, но пронзить живот или грудь ничего не пронзило. Ни в какой части тела новой дырки у него не появилось. Так что суд, на котором прокурор, как хулиган, размахивал самопалом, и последующее помещение в психушку явились вопиющим самоуправством, наказанием ни за что. Мы всем цехом, включая Дантеса, стояли перед зданием суда, скандировали: «Пуш-кин без-ви-нен! Пуш-кин без-ви-нен!» — и размахивали транспарантами с подобными надписями, лично я размахивал надписью: «Свободе Пушкина — зеленую улицу!», а Дантес — портретом, который снял с заводской Доски почета, — передовиком производства Пушкин был бессменным. Все годы.

Эту бессменность мы даже как-то обсуждали: если он работает лучше нас, хоть стараемся все одинаково, то что у него золотое — руки или голова? Все говорили: конечно же, голова, руки лишь исполнители, руководит их движениями все же мозг. А когда говорят, мол, у этого человека золотые руки, то, в сущности, имеют в виду золотую голову, а не их.

Один Вяземский с этой точкой зрения не согласился, сказав: «Вашей хвальной голове руки дадут вперед очков сто. Самое виртуозное они вытворяют, когда у головы не спрашивают. Мозги для способностей — один тормоз. Если б наша черепушка отпустила на волю целиком все подвластное ей тело, оно б и прыгало выше Брумеля, и на пианино бы играло — экстра-класс. А может, даже и в шахматы».

Ему говорили: «Нельзя с такой силой принижать то, что по праву является гордостью человеческого рода, — его ум», но он отвечал: «Нашли чем гордиться! Тьфу на ваши умы!» — хотя сам был большая умница.

2

Ствол Пушкин выточил из бруска нержавеющей стали, рукоятку выпилил на фрезерном станке из дюрала. Некоторые потом вспоминали, что как раз накануне, проходя мимо Сашка, спрашивали: «Чего мастеришь?» — просто так, из дружеского любопытства. И, услышав в ответ: «Оружие возмездия», улыбались и шли дальше, думая, что Пушкин шутит. Шутить у нас в цехе любили все; даже Дантес, ощутив себя после выстрела и не обнаружив лишней дыры, сказал с юмором: «На войне как на войне», в том смысле, что на войне чаще промахиваются, чем попадают. Он думал, что пуля была, но пролетела мимо, и сначала отказывался идти митинговать в защиту Пушкина. Лишь после того, как мы осмотрели в его кабинете каждый сантиметр стен, пола и потолка и спросили: «Где же она, от пули дырка? Если не в тебе, то где?» — лишь после этого, еще раз ощутив себя и убедившись, что пули не было вообще, он пошел с нами, сказав: «Я понесу его портрет».

Насчет войны. У одного писателя написано: это, мол, величайшее, ни с чем не сравнимое благо — то, что на ней чаще промахиваются. Если б все пули попадали в то, во что ими целились, то от рода людского давно бы остались одни черепа да кости. Среди которых, может, бродил бы какой-нибудь одинокий сопляк-автоматчик, весь в слезах...

3

Что касается Дантеса, то его прислали к нам начальником цеха очень давно, еще в те времена, когда имелся государственный план. Худого о нем никто никогда ничего сказать не мог: во времена плана — давал заработать, когда все развалилось — нашел выход: душлагаи. Это его идея, благодаря душлагам мы выжили. Но испытывали мы к Дантесу не благодарность, а простые дружеские чувства, вместе выпивали, считали своим. Когда он нагрубил приехавшему министру и его за это уволили, мы побили в административном корпусе все окна, отсидели по пятнадцать суток, но Дантеса все ж отстояли.

Отношения с ним не сложились только у Пушкина, причем как-то сразу, с первого дня. При его появлении Сашок или мрачнел, или начинал отпускать хамские шуточки. Дантес старался отношений не обострять: отдавал Сашку самые выгодные заказы, на всех совещаниях его нахваливал, однажды по телевизору вообще назвал его мастером, каких в мире меньше, чем королей. Мы тогда взяли Сашка, как говорится, в оборот. Спрашивали: «И не стыдно на него взъедаться? Смотри, как он тебя!», но в ответ слышали только самоуверенное: «Так я ж и в самом деле мастер, каких мало. Этот тип хвалит меня по нужде».

Мы соглашались: «Конечно, Дантес относится к тебе хорошо из-за твоего мастерства. Но ты-то из-за чего к нему плохо? Все ж объясни».

Пушкин молча пожимал плечами. Сколько раз его о Дантесе спрашивали, столько раз он молча плечами и пожимал. Большой искренности в этом его пожатии не чувствовалось.

4

Мастерить что-либо постороннее плану у нас в цехе мастерили всегда. Но раньше только, как говорится, для дома, для семьи, когда же началась разруха и начальство взяло моду не выдавать зарплату, мы обратили свои взоры в сторону торговли. Перестали ею брезговать.

Еще бы! Ведь хлеба не на что стало купить! Похудение началось такое, что смешно и вспоминать. Каждый шел на работу и думал: интересно, кто сегодня как выглядит?..

Первое время медленнее всех худел Вяземский. Мы обратили на это внимание и спросили: «Ты чего медленнее всех?» Он сказал: «В нашем дворе стоит гнилой сарай, на его стенах цветет какая-то плесень. Я ее собираю и ем». Он объяснил, что скрывал от нас свое дополнительное питание, опасаясь, вдруг оно вредное для здоровья. Он собирался три месяца поиспытывать плесень на себе,

но мы раскололи его раньше. И тоже стали соскребать с гнилых сараев плесень. Одни ее жарили, другие — варили, у кого крепкий желудок — ел сырой...

Но замедленный плесенью процесс нашего истощения все же шел. Первыми в голодный обморок стали падать женщины. Помню тот день, когда Наташка Гончарова — наша писаная красавица крановщица — на глазах у всех в буквальном смысле слова вывалилась из кабины своего крана. Хорошо еще, что произошло это над платой кузнечного пресса, падать Наташке повезло не до самого пола.

Но ведь на металл! Мы бросились к упавшей, Пушкин, конечно, впереди. Стадил ее, безжизненную, вниз, тормозил, дул в лицо с такой силой, что она потом, оклемавшись, ходила простуженная... Но в тот момент даже веками не вздрогнула, пока не прибежала Анька-кладовщица с бутылкой нашатырного спирта и не стала брызгать прямо на безжизненное лицо. Наташку затрясло, она села и спросила: «Где я?»

Этот вопрос задают все очнувшиеся.

Едва мы успели произнести: «Не волнуйся, ничего особенного, все о'кей», как — хлоп! — рядом с ней шлепнулась Анька. Она выглядела просто перебравшей, и мы не удивились — у нее же на складе спирт бочками... Но оказалось, у нее тоже голодный обморок.

Бабка Арина, зря, что старая, держалась дольше всех. Уже мужики опадали, как осенняя листва, а она все держалась. Но любой выносливости приходит конец: однажды, подметая цех, она вдруг вскрикнула и рухнула навзничь, раскинув руки, в одной — метла, в другой — совок. И стала белее мела.

Мы сбежались. Вяземский сказал: «Вот так все мы должны умирать — с орудиями труда в руках. Сразу видно, что человек не только венец творения, но и продолжатель этого акта».

Но минут через пять бабка Арина встала и домела цех. Румянец на ее морщинистые щеки вернулся.

5

Повторяю: выручил нас тогда Дантес. Явившись как-то в цех, он заявил: «С нынешнего дня будем делать дуршлаги. На них сейчас бешеный спрос. Они нас спасут».

«Почему бешеный спрос именно на них?» — спросили мы.

«Любовь к дыркам, — ответил Дантес. — Русскому народу нравится, чтоб текло мимо».

«Какой же ты интернационалист, француз хренов? — сказали мы. — А если мы сейчас твоих лягушатников обложим трехэтажным? За восемьсот двенадцатый год, в котором они занесли к нам французскую болезнь?»

«Да не француз я!» — закричал Дантес.

Он всегда в таких случаях кричал, что не француз. Мы думали: хочет уйти от ответственности.

6

Он был прав: дуршлаги действительно пошли. Наши женщины таскали их на толкучку мешками. Прямо ажиотаж возник: покупали по полсотни в одни руки. Мы, естественно, засучили рукава. Сначала делали дуршлаги только из листового железа, потом добавили в ассортимент более дорогие — из нержавеющей стали. Эти хорошо раскупались зажиточными людьми.

Два с половиной года мы прилично жили благодаря дуршлагам.

7

Зажили мы настолько прилично, что стали интересоваться искусством. Посещать премьеры и вернисажи, пить минеральную воду. Дантес зачастил в оперу. Однажды пригласили в цех рок-группу. Прямо на рабочем месте, высверливая дуршлаги, познакомились с творческими новинками этого направления.

Некоторых потянуло даже на самостоятельное творчество. Стали вытачивать фигурные мундштуки, декоративные гвозди — со шляпками, изображающими различных зверей, пепельницы с металлическими кружевами по краям... Вот что делает с людьми сытая жизнь! Бабке Арине мусорный совок отлили такой красоты, что хоть в музей неси!

Особенно, как всегда, в умственных делах выделился Вяземский. Он принес из дому шесть старинных серебряных портсигаров, из которых еще в прошлом и позапрошлом веках портили себе здоровье никотином его предки, и, расплавив их в литейке, отлил замечательнейшее серебряное блюдо, отполировав его до такого зеркального блеска, что весь цех бегал в него смотреться.

В этом старинном серебре мы отражались как-то странно. Вроде бы и своими лицами, но вместе с тем как бы и чужими. Разглядывать себя было крайне интересно. «Поучительно»,— сказал Вяземский.

Он лично понес свое блюдо на базар, где не простоял, как потом рассказывал, и пяти минут: покупатель нашелся сразу. Крепенький такой толстячок молодого возраста, впоследствии всем нам большой друг. А тогда, будучи еще незнакомым, стал расспрашивать: что за вещь, каково ее происхождение?..

Вяземский слегка перестарался, расхвалив блюдо очень ярким слогом: серебро, мол, высочайшей пробы, стариннейшее произведение искусства, добавил: древнеегипетское, из Мемфиса...

Потом мы этот случай обсуждали: соврал Вяземский или пошутил? Сошлись на том, что скорее пошутил. Не его вина, что толстячок принял все всерьез, не может один человек быть виноватым за глупость другого, Бог для того простофиль и создает, чтоб умному приварок... Словом, у толстячка загорелись глаза и он сказал: «Беру». Про Древний Египет он еще в школе что-то слышал, классе в шестом, когда голова была свежая и все в уши влетало и погружалось в мозг, как в пучину, чтоб иногда всплывать и будоражить душу. Вот и на этот раз у толстячка что-то всплыло, он сильно разволновался и полез за бумажником, говоря: «Я этим блюдом свой офис украшу, надо ж — сорок тысячелетий!»

Если б Вяземский хотел обмануть, он бы промолчал, но, будучи честным человеком, он толстячка поправил, сказав: «Древний Египет — не сорок тысячелетий, а всего четыре, если считать назад». «Отдельные тысячелетия не играют значения»,— ответил толстячок и бумажник распахнул.

Цену Вяземский назвал такую астрономическую, что у него, как он нам рассказывал, язык с трудом повернулся. Ему было стыдно, но он не мог иначе. Потому что знал: богачам низкие цены ненавистны. Они им оскорбительны, так как напоминают о недавнем прошлом в бараке или общежитии. Низкая цена лишает их самоуважения, поэтому желающий им понравиться должен заламывать цену. А тому, кто говорит: «Купите, дешево продам!» — они могут дать в морду.

Богачи любят платить такие суммы, с которыми им жалко расставаться.

И еще: то, что куплено дешево, невозможно любить. А богачи любят именно любить.

8

К нам в цех этот толстячок ворвался дня через три. Сразу высмотрев за станком Вяземского, он забежал сзади и ударил его по голове ясно чем — серебряным блюдом. С трудом найдя в себе силы не упасть, Вяземский закричал: «Засранец, в своем ли ты уме?» «В своем, в своем! — закричал и толстячок. — Если немедленно не вернешь все до последнего пенни, то, сука буду, задействую криминальные структуры, к услугам которых прибегать не люблю, но ты, козел, вынудишь!»

К счастью, Вяземский еще не потратил и шиллинга. Плата за блюдо — вся, как была им положена три дня назад в тумбочку возле станка, так там и лежала, придавленная гаечным ключом. Деньги у нас тогда домой не носили: днем на улице грабили одинаково с ночью. Прямо на троллейбусной остановке упирали в ребро ствол какого-нибудь «Магнума» и спрашивали: «Не пожертвуешь ли завалившуюся в кармане мелочь на восстановление Храма Христа Спасителя?»

В цехе же деньги были, как в сейфе. Защищенные броней нашей кристальной честности.

Ее у нас и за достоинство не считали. Сказать о ком-нибудь из своих: «Он очень честный!» — было б, как похвалить мужчину за то, что он не сексуальное меньшинство. Никому и в голову не приходило хвалить человека за то, что он не вор.

9

Был такой случай. Зарплату как-то вдруг выдали сразу за четыре месяца, и мы на радостях устроили в цехе банкет. А когда расходились, один из наших, не буду называть фамилию, спяну сунул деньги мимо кармана и утром пришел расстроенный: «Братцы, я их потерял!» — он думал, что потерял. А они на станине его станка лежали, их кто-то с полу поднял и на станину положил. Так вместо того, чтоб обрадоваться, этот человек, которого я стыжусь назвать, закричал: «А я еще тут бутерброд недоеденный оставлял, где он?» Полдня ходил по цеху: кто доел бутерброд? Кто-то, конечно, доел, но ведь пьяные были, никто уже не помнил, каждый думал: может, не я? Но не мог сказать: «Это не я», потому что вдруг и он. Поэтому все молчали. А этот тип ходил и кричал: «Бутерброд нельзя на ночь оставить! Какое падение нравов!»

10

Вяземский толстячку ответил достойно. «Надо быть последней сволочью, — сказал он, — чтоб, ударив человека по голове тяжелой серебряной вещью, еще и грозить ему бандитами. Ваши вонючие стерлинги вон в той тумбочке, возьмите их. Только не стырьте положенный на них сверху гаечный ключ, от вас можно ждать».

Увидев свои деньги в полной сохранности, толстячок так засиял лицом, как ни один святой не сиял, и воскликнул: «Первый раз встречаю, чтоб деньги возвращали с такой легкостью! Это дело надо обмыть, я сбегаяю».

Через четверть часа вахтеры из проходной втащили в цех несколько ящиков водки и консервов. Им первым и налили. Они выпили, еще по бутылке сунули в карманы и ушли охранять наш военный завод дальше.

А мы стали праздновать с толстячком нашу честность. Между вторым и третьим стаканами разговорились, а после четвертого Вяземский сказал толстячку: «Не думай, что я тогда только шутил. Доля правды в моей шутке была, причем большая. Серебро, из которого сделано блюдо, действительно старинное, клянусь предками. Из их портсигаров отлитое».

«На кой?! — вскричал толстячок. — За старинные портсигары я б тебе еще больше дал! Зачем, дурак, их испортил?»

«За дурака можно и дуэль схлопотать, — с достоинством ответил Вяземский. — Что же до портсигаров, то дело поправимое. Я блюдо в них перелью обратно. Как было шесть штук, так шесть и будет».

«Перелей», — попросил толстячок, и деньги, заплаченные за древнеегипетскую посудину, оставил Вяземскому как аванс за шесть портсигаров его предков. Через неделю Вяземский портсигары торжественно вручил. Толстячок снова устроил банкет. С этого дня мы с ним и подружились.

Тут интересно еще вот что. Портсигары предков каждый из нас видел и в прежнем виде, и в новом. И не нашлось никого, кто б сказал, что прежние были лучше. Лучшими были теперешние — таково общее мнение!

В них сочетались и новизна, и старинность. Новизна была через край, а старинность сквозь нее сквозила. В этом единстве противоположностей содержался ответ на какую-то тайну.

В одной умной книге, сказал Вяземский, написано: «Хочешь, чтоб старое не состарилось? Чтоб посаженное тобой для сына благоухало и в дни внука? Тогда зарази старое новым. А потом обязательно дай выздороветь».

Я уже говорил: дуршлаги спасали нас два с половиной года. После чего призрак нищеты и голода снова возник на нашем горизонте и медленно стал приближаться.

И не потому, что дуршлаги, насытив рынок, больше не покупались: спрос на них был по-прежнему велик. Но — иссякло наше сырье. В один прекрасный день Дантес объявил, что нержавеющей вышла вся, а листового железа осталось недели на полторы.

Эти полторы недели прошли очень быстро.

Стала разворачиваться уже знакомая картина. Сначала мы перестали ходить на вернисажи, в концерты и оперу, потом потяже затянули пояса, перестав обедать. Через некоторое время перешли на одноразовое питание: одни стали только завтракать, другие — только ужинать. Ждали дня, когда женщины начнут падать в обморок...

У нас в цехе жила муха. Мы кормили ее сахаром, любовались ее цветущим видом, она садилась куда угодно, зная, что ее не прихлопнут. Но ее полет всегда был беззвучным. Потому что в цехе много постоянных шумов, порой оглушительных. Однако с тех пор как кончилось сырье — прекратились производственные шумы. А так как мы еще и приуныли, то почти не стало разговоров. И в один из дней, когда в цехе было особенно тихо, произошло чудо.

Оно произошло в тишине настолько глубокой, что стало слышно, как жужжит наша муха, но состояло не в этом. А в том, что когда кто-то воскликнул: «Слышите, она жужжит!» — и все прислушались, именно в эти секунды откуда-то снаружи, так сказать, с улицы, стало доноситься другое жужжание, быстро нарастающее. Секунда, другая — и мы уже ничего, кроме этого жужжания, не слышали. Еще несколько секунд — и со стороны входа в цех раздался грохот. Из цеховых окон посыпались стекла.

Мы бросились наружу.

Прямо перед цехом возвышалась грудa серебристого металла, из недр которой шел дымок. Мы сразу поняли, что это самолет, и с криком: «Может, летчик еще жив!» — стали растаскивать обломки.

Но летчик подошел к нам со стороны, он, оказывается, недалеко катапультировался, шелковый парашют волочился за ним. «Кажется, никого из ваших не накрыло, — сказал он. — Вот и ладненько». И подарил парашют нашим женщинам на кофточка. «Останки разобрать, и побыстрее! — приказал он нам. — О случившемся помалкивать. Дело государственной важности. — После чего попросил закурить и объяснил: — Данный самолет — последнее слово в авиастроении, первый в мире абсолютно безаварийный, у американцев такого нет, они кусают локти, десятки государств в очереди на покупку...» «Как же он разбился?» — спросили мы. «А хрен его знает», — ответил летчик и пошел. «А вас не расстреляют? — крикнули мы вслед. — Или по крайней мере не посадят?» «Это грозит вам, — обернулся летчик, — если сегодня же не наведете порядок».

И ушел.

Окружив кучу, мы стали смотреть на нее заворожено. От серебристости кружилась голова.

Куча почти вся состояла из дюралья.

Конечно, из одного дюралья самолет состоять не может, в нем и медь, и железо, и, смешно сказать, даже древесина. Но все ж дюраль преобладал: когда мы, стащив весь его на склад, примерно подсчитали, вышло, что год сытой жизни нам обеспечен. Может, и полтора!

Уже через неделю мы снова зачастили на вернисажи, а Дантес — в оперу.

Зажили мы лучше прежнего. Благодаря толстячку, который, став нашим другом, сумел заключить несколько договоров на оптовые поставки дуршлагов в другие города. Наши женщины теперь уже не таскали на базар мешки с продукцией — по железнодорожной ветке прямо к цеху подгонялся товарный вагон, оставалось только нагрузить его доверху. И он ехал — то в Пензу, то в Мариуполь.

Толстячок так много занимался нашими делами, что Дантес поставил ему в своем кабинете стол. И толстячок теперь почти всегда за ним сидел.

Конечно, размерами этот стол уступал дантесову — начальник все ж начальником остается, — однако телефон толстячок перетащил к себе, сказав Дантесу: «Тебе он — только украшение».

И тот возразить не сумел. Ему уже года два или три никто не звонил. А толстячку — каждый день: «Где дуршлаг?.. Сколько отгрузили?.. Высылаем аванс». Или звонил сам толстячок: «Дуршлаг в пути. Штук столько-то. Шлите расчет».

13

Во многие мудрости, как известно, многие и печали: раньше, успешно производя дуршлаг, мы радовались жизни, как попрыгунья-стрекоза, то есть о будущем не думали; теперь же, наученные горьким опытом, ежедневно заглядывали на склад: дюрала было много, однако только слепой не увидел бы, что становится меньше. Запасы медленно, но таяли, мы прилагали много внутренних усилий, чтоб этот факт не отравлял нам радостей жизни.

Они продолжались ровно полтора года. За этот срок весь самолет был превращен в дуршлаг. Время голодных обмороков снова приблизилось вплотную...

Мы собрались обсудить перспективу. Увы, ее не было. «Пожалуйста, внесите предложения», — попросил Дантес. Никто не откликнулся. Даже умница Вяземский не знал, что сказать.

Опять воцарилась тишина, близкая к нулевой. Мы снова услышали жужжание нашей постаревшей, но все еще бодрой мухи...

Может, такого рода тишина — ключ к счастью? В прошлый раз, едва мы так сильно умолкли, как на нас свалилась гряда нужного металла. А теперь снова... Может, все наши беды от шумливости? Может, Бог сказал нашим предкам: «Станет худо — не стенайте, наоборот, нишкните, сделайте тишину, и я пойму: раз умолк мой народ — значит, чем-то озадачился, надо помочь, чтоб снова расшумелся, разбазарился, криклив он у меня, суетен, да ничего уж не поделаешь, другого народа у меня нет, молчание его — вопль страдания...»

Но оскотинившиеся среди своих стад предки забыли передать нам этот божественный указ, и мы, давно попавшие в беду, вопим все громче — в мегафоны, в микрофоны, горлом в толпе, отчаяние рвет наши голосовые связки, а Бог, добрый наш Отец Небесный, склонив ухо к Земле, улыбается: вопят, кричат — значит, все в порядке, хорошо им, вмешиваться ни к чему...

Так вот, когда мы опять умолкли настолько, что услышали муху, то есть как только воцарилась почти абсолютная тишина, как ее вдруг разрезал надвое леденящий душу вой, сменившийся страшной силы глухим ударом — ходуном заходил пол, зашевелились стены, казалось, цех вот-вот рухнет. Завизжали женщины, все три; не прекращая визга, с искаженными страхом лицами они бросились вон из колеблющегося здания; вслед за ними, восклицая: «Что это? Что это?», выбежали и мы.

Когда-то в газетной заметке подобное уже описывалось: полный зал людей, играет симфонический оркестр, и вдруг — подземные толчки, по стенам трещины, все, конечно, сломя голову к выходу... Так очевидец потом рассказывал: женщины рвались наружу с одним только ужасом на лице, мужчины же — тоже с ужасом, но еще и интересом: как там на улице — хуже, лучше? А некоторые еще и с выражением удовольствия, что кончилась скучная музыка.

У входа в цех мы увидели огромную, в рост человека, гайку. Она лежала косо, глубоко уйдя одним краем в землю. Добела раскаленная, она ярко освещала окружающие предметы.

Конечно, от удивления все онемели, но женщины ненадолго: снова раздался их визг. Оказалось, им вздумалось потрогать гайку; неизвестно на каком основании, но они предположили, что не горячо. Потом мы спрашивали: как получилось, что завизжали все разом? Неужели дотронулись все разом? Откуда такая согласованность?

Оказалось, что первой потянулась к гайке Наташка. Увидев это, Анька и бабка Арина поспешили сделать то же — уступить Наташке им не хотелось: вещь скорей всего небесная, не исключено, что чудотворная. Анькина рука догнала Наташкину, они прикоснулись и обожглись одновременно. Но увидев, что бабка Арина по старческой медлительности отстала, они визг попридержали и дали старушке обжечься тоже.

И завизжали синхронно.

К вечеру подтвердилось документально: гайка упала с неба. Радио и телевидение объявили о небольшой аварии: от какой-то космической станции нечаянно отломилась деталька, никого, кажется, ни в Европе, ни в Америке не задавившая. Из Азии с Африкой тоже вроде бы тревожных сигналов, слава Богу, нет. Дальше говорилось, что наше правительство такому исходу очень радо, — пусть деталька и жутко дорогая, так как целиком состоит из двух таких редчайших металлов, как гадолиний и орихалк, которым золото с платиной не годятся в подметки, но у нас в стране такой менталитет, что главное — все ж люди, и раз они все целы, то большей радости нет. Это в других странах менталитет такой, что люди буквально гибнут за металл, и все, что не металл, — им до лампочки, а у нас, когда деталька отвалилась и стала падать неизвестно куда, потому что сильно вертелась, а тут, как на грех, еще и Земля вертится, — словом, в Центре полетов все бухнулись на колени и стали молить Бога, чтоб он отвалившуюся детальку мимо людей пронес, чтоб никому не на голову. А то, что она из драгоценных металлов, — плевать, лишь бы все живы были, хотя, конечно, кто видел, куда она упала, должен немедленно сообщить по такому-то телефону, а не сообщит — будет иметь от структур, специализирующихся на неприятностях, такие неприятности, что, если в детстве имел хоть раз понос, пожалеет, что тогда от него не умер...

Мы тотчас же собрались для голосования: звонить по указанному телефону или не звонить? Все единодушно проголосовали: этого не делать. «Раз Бог из всех просторов Европы, Азии, Америки и Африки выбрал площадку перед нашим цехом, — сказал умница Вяземский, — то что-то он этим хотел сказать? Или не хотел? Я уверен, что хотел. Он хотел сказать: это вам. Подарки передаривать нельзя. Если мы отдадим гайку правительству, Вседержитель на нас обидится».

Единственный, кто слегка возразил общему мнению, был Дантес. Он высказался в том духе, что если гайку отдадим, то родина будет нам благодарна, а благодарность родины — это не хухры-мухры, это приятно.

Слова Дантеса никому не понравились, слышались возгласы и реплики в том духе, что с чего это вдруг он так расхлопотался за Россию, когда его предки вообще французы? Правильно, мол, Ленин Владимир Ильич говорил, что особенно пересаливают по части любви к нашей стране обрусевшие инородцы. «Мы, конечно, интернационалисты, — было сказано Дантесу, — но все ж не потерпим, чтоб выходец из Франции выставлялся бóльшим патриотом, чем коренное население».

«Какой я вам выходец! — закричал Дантес. — Я тоже здесь испокон веку. И отец мой испокон! И деды с прадедами! Конечно, если говорить об отдаленном

предке, то да, он приехал из Италии, но ведь у всех кто-нибудь откуда-нибудь приехал. Таких, кто тыщу лет не отрывал от места задницу, в мире нет!»

Мы стали его успокаивать, говоря, что, во-первых, мы интернационалисты и нам плевать, кто какой нации, лишь бы человек хороший, однако, во-вторых, если все ж у тебя фамилия Дантес, то хоть полстакана французской крови в тебе сохранилось, ничего плохого в этом нет, только не вопи о любви к России громче нас...

Но Дантес не унимался. Сильно рассерженный разговором, он кричал: «Не француз я!»

Мы же в ответ усмехались и говорили: «Совсем как Шмуэльсон».

16

Этого Шмуэльсона когда-то прислали к нам в цех технологом. Парень был неплохой, но с одним недостатком: говорил, что он не еврей. Мы его упрашивали, чтоб признался, объясняли, что, как еврея, будем любить его больше, чем русского, потому что хорошим русским быть не хитро, другое дело — хорошим евреем, это надо приветствовать. Но он не сдавался, придумал целую историю: отец, мол, у него — Иван Иванович Иванов, но, сильно поссорившись с матерью, ушел не только из семьи, а и вообще из страны — пешком в Польшу, из нее — в Чехию, а оттуда — поминай как звали. Мать вышла замуж за Шмуэльсона, который его усыновил и дал ему свою фамилию...

Слушать еврейские выдумки насчет пешком в Польшу нам было неприятно. И мы ему сказали: «Вот что, Шмуэльсон. Либо ты признаешься, либо уходишь из цеха, не хватало нам еще русского Шмуэльсона. Это нонсенс, мы его не потеряем».

Неприятно было видеть еврейское упрямство в человеке, кричащем: «Я русский!» Словом, мы от него отвернулись, его распоряжений не выполняли, выпить с собой не звали... В конце концов он вынужден был подать заявление об уходе по собственному желанию.

С Дантесом ситуация была, конечно, другой: одно дело, когда еврей заявляет, что он русский, другое, когда француз — что итальянец. Такая ложь раздражает лишь слегка. Чтоб совсем не раздражать — такой лжи, по-моему, нет.

17

Только не надо думать, что к евреям в цехе теплилось негативное отношение, это не так. Когда они изредка у нас появлялись, мы сначала старались любить их не только не меньше остальных, а даже больше, но потом с ними всегда возникали какие-то сложности, не было еврея, чтоб с ним хоть какая-нибудь сложность не возникла. Поэтому, любя все народы одинаково, мы при появлении еврея невольно думали: «Только бы не возникли сложности», и уже от одной этой вынужденной мысли возникала определенная сложность, тут ничего не поделаешь, нашей вины здесь нет.

Все дело в том, что евреи, к сожалению, не интернационалисты. Сложности главным образом из-за этого и возникали.

Например. Прислали к нам в цех технологом некоего Шумермана. Парень был во многом неплохой, но со своей национальностью носился, как дурень со ступой: буквально тыкал ею всем в лицо. Когда знакомился с кем-нибудь, то протягивал руку и громко говорил: «Шумерман», хотя мог бы сказать: «Виталий Александрович», — имя-отчество у него такое было.

Но Шумерман, как осел: Шумерман да Шумерман. Не знал удержу.

«Скользкий ты человек, — в конце концов сказали ему в отделе кадров. — Хитришь, выгадываешь непонятно что. Вряд ли сумеешь у нас прижиться. Наш прямодушный народ таких не любит...»

И точно, не прижился. Одни говорили — его уволили, другие — ушел сам: как раз в это время перестали регулярно выдавать зарплату.

И с другим евреем, пришедшим в цех, возникла сложность. С одной стороны — аналогичная, с другой — противоположная. Если Шумерман своей фамилией прожужжал всем уши, то этому жужжать было нечем: по фамилии он был прямо царь — Романов. А имя, как у Ломоносова, — Михайло. Выдавало отчество — Абрамович. Но упрямство, как и у Шумермана, — все отрицал. Говорил: «Оно у меня таково из-за деда. Будучи старообрядцем в глухой сибирской деревне, он своего сына, то есть моего отца, по своей темноте назвал Абрамом».

Мы пытались поймать его на лжи — тщетно. Еврея не поймаешь. Например, спрашивали: «Откуда в глухой сибирской деревне узнали имя Абрам? Анекдоты в такую глухомань и сейчас не доходят, а тогда — тем более». А он: «Дед это имя не из анекдотов взял, а из Библии...» Вот так ловко изворачивался. Мы пытались вызвать его на разговор по душам, говорили: «Перестань отпираться, Абрамыч! Мы же не фашисты какие-нибудь, не расстреляем! Ты ж фамилию поменял, чтоб укрыться от антисемитов, разве мы не понимаем? Будучи интернационалистами, мы сами этих антисемитов знаешь как ненавидим? Так что нам можешь признаться честно: мол, не Романов я, а, допустим, Шульман, — мы тебя знаешь как полюбим? Больше, чем любого Романова! Потому что, когда Романов — хороший человек, так это же сплошь да рядом, хороших Романовых — как собак небитых, тьфу на них! А вот когда хороший Шульман, так это ж как бриллиант, это ж человек против себя пошел, преодолел, вот молодец! Так держать! Всем бы Шульманам так держать! Мы, интернационалисты, очень любим, когда из других наций тоже выходят хорошие люди. Это заряжает оптимизмом и подтверждает прогрессивную мысль, что плохих наций не существует. Хорошей может стать любая! Помогите нам в этом лишний раз убедиться!»

Но Романов, как попугай: дед старовер, сына Абрамом назвал, морду б ему за это набить... То есть пытался спихнуть все с нации на деда.

Так и не признавшись, он покинул наш цех. Больше евреев к нам не попадало. Но и этих трех достаточно, чтобы вывести закономерность: в целом данная нация ничем не хуже других, но с каждым ее представителем в отдельности почему-то всегда возникает сложность.

18

Используя тросы и блоки с палиспастами, мы втянули гайку в цех. Осмотр показал, что она действительно состояла из двух металлов, такие вещи называются биметаллическими. Один металл был серебристого цвета, другой — тоже, но чуть менее. Какой-то из них назывался гадолинием, какой-то — орихалком. Как их использовать, мы не знали. Делать дуршлаг из металлов, которые дороже золота, было бы глупо. А ничего другого в голову не приходило.

Выручил случай. В один прекрасный день цех огласился криком вбежавшего толстячка: «Ребята, я знаю, как на этой гайке крупно заработать!»

Мы сказали: «Говори».

Он рассказал. Прогуливаясь утром по проспекту и захотев выпить чашечку кофе, он зашел в подвернувшееся кафе. За одним из столиков сидел его старый знакомый — бизнесмен из океанической державы Аделия, названной так по имени старшей дочери спикера местного парламента. Сначала разговор между толстячком и бизнесменом шел о здоровье этой старшей дочери, о премьере московского цирка, но потом перекинулся на стратегические нужды аделийского народа. Соседнее океаническое государство, носящее имя кормилицы местного императора Розалии, вооружается до зубов. Чтоб предотвратить агрессию розалийцев, нужно вооружиться до бровей. С этой целью приобретена тысяча ракет класса «Знай наших», но поражать цель, как говорится, не в бровь, а в глаз они не могут из-за отсутствия в них детальки, которую никто не продает, так как всем самим ее не хватает. Император Розалии об этой трудности знает и недавно, позвонив спикеру Аделии, со смехом сказал: «Хочешь мира — проиграй войну. Через пару лет будешь мирно трудиться на моих плантациях...» То есть из-за

отсутствия маленькой-премаленькой детальки на земном шаре вот-вот возникнет новый очаг войны.

Толстячок как бы вскользь поинтересовался: что ж за деталька такая, что из-за нее на планете вот-вот будет нарушено мирное равновесие? Бизнесмен из Аделии сказал, что деталька весьма хитроумная по конструкции, к тому же должна состоять из двух страшно редкоземельных металлов: гадолиния и орихалка...

Другой, услышав такое, сразу бы закричал: «Гадолиния и орихалка у нас полно! Сделаем!», но наш толстячок — воробей стреляный, в умении вести деловые разговоры ему нет равных. Собрав в кулак все свое самообладание и лениво хлебнув раз пять кофе, он скучнейшим голосом произнес: «Кое-кто на примете у меня есть, возможно, они согласятся помочь вашей стране».

Несмотря на неопределенность обещания, бизнесмен из Аделии так затряся, что все свое кофе вылил на себя. «За любые деньги! — закричал он. — За любые!»

19

Нам это «за любые деньги» понравилось, и мы уполномочили толстячка продолжить переговоры. «Только не затягивай, — просили мы его. — Жрать охота».

Он, молодец, не затянул. Уже на следующий день сообщил: «Правительство Аделии заказывает тысячу деталек. Готово платить бешеные деньги. Говоря по-научному: астрономическую сумму. Прямо боюсь ее назвать».

Мы закричали: «Не мучай же, сучий потрох! От избыточного адреналина разрываются сердца! Называй сумму! Не пропусти ни одного нуля!»

Он назвал.

От ее баснословности все даже крикнули. Один Вяземский не крикнул, а спросил: «Есть ли чертеж детальки?», на что толстячок ответил: «Я был бы последним педерастом, если бы не принес», — и вынул из кармана сложенный вчетверо троллейбусный билет. Для секретности чертеж был начерчен на нем. На его оборотной стороне.

Глянув на эту оборотную сторону, все со смехом всплеснули руками: ну и деталька! Обыкновенный винтик с резьбой, весь, конечно, из гадолиния, а сбoku из орихалка загогулина, но конструкция — проще не придумаешь. Школьник выточит!

Один Вяземский не разделил общего наплевательства. Сказав «Ой ли!», он взял стальной прут и, сунув его в станок, стал вытачивать по чертежу пресловутый винтик...

Его сомнения оправдались: винтик не выточился. Он имел какую-то странную резьбу: вилась она вроде в одну сторону, но вместе с тем довольно сильно и в другую. Прямо как марксистско-ленинская диалектика: сама себя изнутри отрицая, она каким-то непонятным образом в свою противоположность незаметно превращалась...

После Вяземского попробовали все. Увы, с тем же успехом. Гайка оказалась нам не по зубам. Мы вынуждены были признать, что выгоднейший заказ сорвался. Толстячок беззвучно заплакал.

20

Вытерев слезы, он с Дантесом уединился в кабинете, после чего нам было зачитано изящное письмо спикеру Аделии. В нем писалось, что от предложенного заказа мы вынуждены временно отказаться «ввиду внезапно открывшихся обстоятельств». Туманная формулировка всем нам очень понравилась, в ней была бездна поэзии.

Мы говорили друг другу: не пришлось бы отказываться от выгодного дела — на свет никогда не появилась бы такая красота слова. А красота важнее бо-

гатства. Да, сытая, обеспеченная жизнь — это замечательно, но все ж только для желудка и тела, а «ввиду внезапно открывшихся обстоятельств» — это для души, никто не будет спорить, что обогащать душу — главное. Все мы на этой мысли сошлись единодушно, хотя и возник небольшая спор по пустяку. Дантес сказал: «Сытым может быть и баран, даже червяк может быть, а вот возвышать душу красотой — преамбула человека», на что образованный наш Вяземский ответил: «Я с тобой полностью согласен, за исключением *преамбулы*, здесь неуместной. Надо было сказать: *прерогатива*».

Дантес рассердился, закричал: «Вот ты и говори *прерогатива*, тебе никто не запрещает! А мне не смей запрещать говорить *преамбула*! У тебя с детства не развили слух на слово, поэтому ты не слышишь несказанную прелесть этого пленительного «е-а» в середине и тычешь в нос своей уродливой *прерогативой*, которая своим «р-р-р» рычит, как бешеный пес. Но дело твое, говори свою *прерогативу* сколько влезет, я, как воспитанный человек, себя сдержу и даже не поморщусь».

Задетый этой речью, Вяземский сказал: «Гляди-тко, как развили французы этому человеку слух на слово. Прямо как какому-нибудь Флоберу. Только не кричи: «Я не француз!» — это я уже слышал».

«Но еще не был бит!» — вскричал Дантес и стал засучивать рукава и приближаться к Вяземскому.

Мы бросились их разнимать и мирить. Большого труда это не составило.

21

Следует честно признать: о Пушкине к тому времени мы думать почти перестали. После демонстраций у зала суда успокоились. Совсем, конечно, Сашка не забыли — нет-нет да и посылали с кем-нибудь ему пару вареных картофелин, а в хорошие времена — колбасу, яблоки, ананасы. То есть в полном невнимании к другу нас упрекнуть было нельзя, но в том, что все это мы делали, чтоб нельзя было упрекнуть, — упрекнуть можно.

Надо также признать, что когда мы вытащили старые транспаранты «Свободе Пушкина — зеленую улицу!» и снова пошли с ними к зданию суда, то вела нас не пробудившаяся вдруг совесть, а мысль, высказанная умницей Вяземским: «Такую резьбу нарезать сможет только Пушкин».

Нам нужны были его золотые руки, его золотая голова. Если без обиняков, то понадобился нам он для личного обогащения...

Стыдней всего было то, что все мы вдруг вспыхнули к Сашку совершенно искренней любовью, все вдруг по нему соскучились, все вдруг возмутились: как можно держать *такого* в психушке?!

К нам вышел представитель суда и сказал, что их вины в этом деле нет: они действовали на основании медицинской справки. Справку эту — о ненормальности Сашка — составил и подписал главврач психушки...

Мы изготовили два новых транспаранта: «Огонь из пушки по психушке!» и «У главврача дурдома не все дома!» — и пошли с ними на край города, где размещалось роскошное здание психиатрической лечебницы.

Нас не пустили даже во двор, милиционер, охранявший вход, смотрел на нас неприязненно. Мы расположились на лужайке перед воротами и, развернув транспаранты, стали выкрикивать: «Требуем главврача! Требуем главврача!»

Но никто к нам не вышел. Тогда мы повторили демонстрацию на следующий день и еще на следующий... Две недели, включая выходные, мы с утра приходили на лужайку перед воротами и до вечера кричали: «Требуем главврача! Требуем главврача!»

Милиционер от нашего крика похудел и смотрел на нас с ненавистью. А один раз, не выдержав, сказал, что если б не феноменальное терпение, свойственное его нации, то давно бы всех перестрелял. «А патроны хоть есть?» — спросили мы. «Семь штук», — ответил он и похлопал себя по кобуре. «Не хватило б, — сказали мы. — Нас больше! Всех не перестреляешь, жандарм Европы!»

Милиционеру крыть было нечем, и он спрятался в своей будке... У ворот дурдома стояла будка, как возле иностранного посольства.

Но крики наши все ж даром не пропали. По истечении двух недель, в конце четырнадцатого дня, ворота психушки слегка приоткрылись и в щелку протиснулся небольшого роста мужичок. Лицо у него было веселое.

«Что за шум, а драки нет?» — поинтересовался он, подмигивая то вышедшему из будки милиционеру, то нам.

«Отлучился уже? — спросили мы. — Так валяй себе, радостный, домой. Нам главврач нужен».

«А я он и есть», — сказал мужичок.

Мы потребовали документ. Это ж психушка, здесь и Радищевым представляются, недорого возьмут. «Не захватил, — сказал мужичок. — Сейчас сбегаяю». «Чего туда-сюда носить?» — возразили мы. — Ты нас к себе проводи, мы и поверим, что ты главный». «Разумно», — похвалил мужичок и велел милиционеру нас пропустить. Тот хоть и неохотно, но подчинился. Было похоже, что действительно главный...

В его кабинете стоял старинный диван, мы на него уселись.

«Ребята, — сказал главврач, — я очень хочу выпустить вашего Пушкина, но вы мне мешаете».

Мы спросили: как так?

«У нас все ж больница, — сказал главврач. — Из нее по просьбе трудящихся не выписывают. Вы тут шумите, и я не могу его выписать, потому что скажут: сделал это не по медицинским показаниям, а под давлением. Вы утихомирьтесь, и через месяц, максимум другой я напишу: «Излечен курсом надлежащих инъекций. Может быть свободен». И вы его радостно встретите у входа».

«От чего будет излечен? — спросили мы. — От какой болезни эти инъекции?»

«От навязчивой идеи пальнуть из самопала, — ответил главврач. — Он никогда больше не возьмет его в руки».

Мы спросили, какие вещества будут Пушкину впрыскиваться, если, конечно, не секрет. «Какой там секрет! — отмахнулся от нашего опасения главврач. — Гениальные открытия не могут быть секретными. Их в землю закопай, они и изпод земли взопиют...»

Он рассказал, что гениальных открытий на его счету до сих пор было только два. Их он сделал еще в молодости и, таким образом, долгие годы ходил, будучи дважды гением. Но недавно стал трижды, на что уже, откровенно говоря, не надеялся: человек только предполагает, располагает же Бог. И Он несколько месяцев тому назад вдруг совершенно неожиданно главврача осенил. Им был изобретен чудодейственный способ лечения психических болезней путем инъекций в орган, где эти болезни и гнездятся, а гнездятся они, как известно, в святой святых каждой личности, в ее мозгу. Делая уколы непосредственно в мозг, то в одно его место, то в другое, можно вылечить любого психа.

«А череп не мешает?» — спросили мы. «Плевал я на череп! — сказал главврач. — Я и танкисту через танк, если надо, укол сделаю. А череп — тьфу!»

Выражая презрение к непроницаемости черепа, он плюнул на середину кабинета и стал подробно излагать нам суть своего открытия, не сводя глаз с плевка.

Мысль делать уколы прямо в мозг пришла ему в голову еще в позапрошлом году. Но осуществлению дерзкой идеи мешало отсутствие ответа на вопрос: что именно вкалывать? Он перебирал в уме прекраснейшие лекарства, но ни одно не подходило. Аспирин, анальгин, корвалол, нашатырный спирт — не то... Бромбитуратметан, кромогексал, касторка, фтористоводородный дротаверин — не то, не то! «Так что же впрыскивать?» — с этой мыслью он ложился спать, с ней и просыпался...

Титаническое напряжение всех умственных и духовных сил в конце концов дало результат. В одну прекрасную ночь главврачу вдруг приснилась залятая

солнцем лужайка и он на ней, собирающий цветы. «В чем дело? — недоумевал он, проснувшись.— Откуда это легкомысленное видение, когда я так изнемогаю?»

Несколько дней он не мог ответить на этот вопрос, но потом вдруг захохотал, пронзенный догадкой. Эврика! Ба! Да это ж подсказка Всевышнего! В мозг надо впрыскивать не лекарства, созданные убогой человеческой наукой, а субстанции божественного происхождения, то есть цветы — их настои и отвары!..

И вот уже пятый месяц, как тайно от министерства здравоохранения он внедряет свое гениальное открытие под черепа больных. Разумеется, мгновенных, похожих на чудо, излечений нет, их от природных субстанций ждать не приходится. В природе если что и исчезает, то не иначе как через постепенное ослабление. И фактов такого ослабления болезни уже немало. За пять месяцев они накопились. Так, например, один больной, мнивший себя Наполеоном, уже мнит себя всего лишь маршалом Неем, а параноик, день и ночь твердивший, что он Иисус Христос, теперь день и ночь кричит: «Какой же я Иисус, если необрезанный?» — и требует раввина с ножиком... То есть наметилось критическое отношение к своей мании. А женщина, считавшая себя красивым усатым мужчиной, вдруг сбрила усы — сдвиг тоже положительный...

«Прекратите демонстрировать у ворот и орать, — попросил под конец разговора главврач.— Тогда я смогу вскорости вашего Пушкина освободить, и никто меня не упрекнет за уступку общественности. Он успеет пройти курс лечения новым методом».

«Какой настой, если не секрет, будете впрыскивать?» — поинтересовались мы. «Не настой, а отвар, — поправил главврач.— Замечательный отвар из серебрястых пушинок одуванчика. Если вы знаете лучшее средство от немотивированной агрессии — скажите».

Но мы не знали.

«Видите, у вас нет слов», — сказал главврач и сердечно с нами попрощался.

22

Свое обещание он сдержал досрочно: меньше, чем через месяц, Пушкин вбежал в цех, громко крича: «Свободен! Свободен! Наконец-то свободен!» и размахивая бумажкой, которую мы тут же прочитали. В ней писалось, что данный пациент от болезни стрелять в людей из самопала полностью излечен благодаря применению новаторского метода, разработанного нижерасписавшимся главврачом данной психушки.

Не забуду день тот чудный! Переменчивый, как небо в переменную погоду!

После радостных возгласов, объятий и чтения справки мы сунули Пушкину троллейбусный билет с чертежом секретного винтика и спросили: «Сможешь?» Пушкин осмотрел билет с обеих сторон, всячески повертел его и, посерьезнев, сказал: «Надо попробовать».

Он направился к станку, включил его. Через минуту винтик был готов: тельце тоненькое, головка блестящая — прямо загляденье. И размеры — точно по чертежу. Но когда мы его на пробу стали ввинчивать, он ввинтился, как тысячи, как миллионы других винтиков, пусть и не так мастерски изготовленных.

Коллективный вздох разочарования прошелестел по цеху. Рухнула наша надежда. Уже с полмесяца мы ели по разу на дню: кто только завтракал, кто только ужинал, не было ни одного, кто бы только обедал, еда крутилась вокруг сна: перед ним или после него. Силы наши иссякали, женщины уже регулярно падали в обмороки, очередь была за нами, мужчинами...

Возвращение Пушкина обещало остановить стремительное движение к пропасти. Увы!..

Мы повели себя тактично. Когда винтик ввинтился подобно всем заурядным винтикам мира, из наших уст не вырвалось ни одного слова упрека: дескать, а мы на тебя надеялись. Бормоча: «Ну и пусть! Пустяк!», мы старались не смотреть Пушкину в глаза — мы настолько отводили от него свои взгляды подаль-

ше, что вообще отворачивались от станка, за которым он стоял, от всего, что его окружало. Находясь к нему почти спиной, мы услышали, как снова загудел двигатель...

«А попробуйте-ка эту»,— сказал Пушкин сзади.

Нехотя взяли мы у него новый винтик, такой же красивый, как и предыдущий, с преувеличенным восхищением его поразглядывали, говоря: «Ну и что, что обыкновенный? Зато красивый, как из журнала мод...» Будучи хорошими друзьями, мы уже думали не о голодном желудке, а о том, чтоб не обидеть друга; учитывая его недавнее пребывание известно где, старались спустить его неудачу на тормозах. «Подумаешь, не получилось,— говорили мы с бодростью, бьющей через край.— Пустяк, обойдемся... Плевать нам на этот заказ из Аделии...»

«Да винчивайте же! — закричал Пушкин в злом нетерпении.— Винчивайте!»

Не рассчитывая ни на что хорошее, мы винтили. И — у кого холодный пот выступил, у кого горячий, кому сердце обожгло огнем, у кого оно похолодело... Дантес позже признался, что ему в тот момент сильно захотелось в туалет: винтик винчивался совсем не в ту сторону, в какую его винчивали!

Ликованию не было предела. Мы радостно вопили и подбрасывали Пушкина к потолку. Дантес побежал в туалет, но с полдороги вернулся и присоединился к подбрасывающим.

23

По всегдашнему обычаю женщины стали накрывать станки, а мужчины сбегали в магазин.

Скинулись мы на последние, но пир удался на славу. Станки ломались от яств. Тосты в честь Пушкина звучали один за другим. Правда, виновник торжества большую их часть не слышал. Измученный инъекциями, он крепко заснул после первого же стакана.

Мы уложили его на горку чистой ветоши и продолжили праздник. Как у нас всегда, среди веселья возник серьезный разговор. То, что у Пушкина золотая голова, а руки уже потом, мы выяснили давно. Теперь же встал вопрос: почему они золотые именно у него, а не у кого-нибудь, например, из нас?

Решили так: дело в Боге. Если его нет, то свои золотые голову и руки Пушкин получил ни за что, как бы выиграл в лотерею, просто попался такой билетик. В общем, дуракам счастье. Если же Бог есть, то картина другая, потому что тогда есть и справедливость. А при ней сдуру ничего не бывает: выдающиеся способности выдаются не абы кому, а только как вознаграждение за что-нибудь предыдущее. Но что у Пушкина за предыдущее? Мы его знаем как облупленного, обыкновенный хороший парень. Без золотой головы с руками ничем бы от нас не отличался. Неужели Бог его выделил наугад?

«У Бога свой штангенциркуль,— возразил на это умница Вяземский.— Он всех нас судит по такому параметру, о котором мы и не догадываемся».

24

На следующий день праздник продолжался. Толстячок нервничал, говорил, что надо работать, а мы ему отвечали известной поговоркой, что работа не волк, дураков любит. Пили за свободу, за торжество разума, за передышки в вечном бою и, конечно, за самого Пушкина, которому желали прежде всего здоровья и трудовых успехов, а также взаимопонимания со всемирным человечеством. После провозглашения каждого тоста дружно, как на «Варяге», кричали «ура!», а женщины подбегали к Пушкину, чтоб поцеловать его в одну из щек.

Но, утолив естественную жажду, мы отставили стаканы и стали расспрашивать: как там, в психушке, часто ли колют, есть ли симпатичные медсестры? Хотя, честно говоря, нас больше интересовало другое. Пушкин охотно рассказал о

разновидностях уколов — как по содержимому шприцев, так и по месту внедрения в организм. Главврач, оказывается, полностью запретил делать их в задницу и в сгиб локтя — это устарело. Все вкалывал прямо в голову...

Мы все это уже давно знали от главврача, так что слушали больше из вежливости. Когда же Пушкин свой обстоятельный рассказ об уколах закончил, мы спросили его о том, что волновало нас больше всего: с чего ж это все-таки он стрелял в Дантеса, да еще дважды? Чем тот ему досадил? Чего мы не знаем? «Откройся нам по-дружески», — попросили мы.

Но Пушкин открываться не захотел, скучным голосом коротко нам ответил, что сам не знает, какая муха его укусила. Но мы не отставали, говорили: «Давай разберемся психологически». В конце концов, опустив голову, Пушкин брякнул: «Мне не нравится его фамилия».

«Вот те раз! — удивились мы. — С какой, интересно, стати? И что это у тебя, интернационалиста, за рефлекс на иностранную фамилию? Скажи: Дантес — хороший человек?»

«Изумительный! — сказал Пушкин. — Душевный. Но стоит мне вспомнить его фамилию, как самопала ищет рука».

«Может, ты думаешь, она еврейская?» — спросили мы.

«Уж лучше бы еврейская», — буркнул Пушкин и дальше этот разговор продолжать не захотел.

Лицо его вдруг приняло прежде не виденное нами несчастное выражение.

25

Видя такое дело, мы сменили тему. Вернулись к разговору о психушке. Стали интересоваться, что там новенького, кроме зверской разновидности уколов. Регулярны ли прогулки? Достаточно ли в еде белков, жиров и углеводов? А главное — что там за люди? Легко ли осуществляется с ними роскошь человеческого общения? Было ли с кем погутарить в свободное от уколов время? Или все там дураки?

«В психушке расслоение общества принимает крайние формы, — ответил Пушкин. — Оно большее, чем даже при капитализме. Есть, например, психи, которые «мама» сказать не могут. С ними не то что интересно поговорить, с ними невозможно перекинуться словом. Им говоришь: «Здравствуй», а в ответ: «Ы-ы-ы». Спрашиваешь: «Как зовут?», но опять: «Ы-ы-ы». Большинство из них когда-то нормально разговаривало, некоторые знали до сорока тысяч слов. А осталось одно «ы-ы-ы». Я спрашивал главврача: «Неужели человеческий разум так могуч, что может забыть целых сорок тысяч слов?» Главврач отвечал: нет, такого могущества человеческому разуму не дано, забыть столько слов не в силах даже гений. Мало того, новейшими исследованиями выяснено: человек вообще ничего не забывает, все эти сорок тысяч из его черепушки никуда не деваются, но как бы запираются там в бронированный сейф без замка. Доступа к ним нет. Но сами они есть. Главврач разрабатывает сейчас особый укол в темечко, который этот сейф вскрыет. Пока ничего не получается, но главврач втыкает шприц все глубже и глубже, в конце концов у него получится. Сорок тысяч слов выйдут на свободу...»

«Но в чем же расслоение? — напомнили мы Пушкину его главную мысль. — Ты говорил, что оно хуже, чем при капитализме».

«Оно в том, — сказал Пушкин, — что доходишь до конца коридора, сворачиваешь влево — и вот третья дверь справа. Расслоение за нею бьет в глаза, как луч прожектора рожденному в ночи. Здесь помещаются образованнейшие люди, для которых сорок тысяч слов — тьфу! Им их не хватает. Все они если не профессора, то по крайней мере доценты. Входя в их комнату, сразу окунаешься в атмосферу такой высокой интеллектуальности, что от одной только терминологии голова трещит больше, чем от уколов. Здесь говорят не только «увы» и «отнюдь», но порой даже и «вотще». Они непрерывно спорят в надежде родить истину. Ее родам они посвятили свои жизни настолько, что попали в психушку...

В свободное от уколов время я любил сиживать в этой палате, наслаждаясь высокими словами и их замечательными сочетаниями...»

«Да,— сказали мы, потрясенные нарисованной картиной.— Тебе, Сашок, в натуре можно позавидовать. Далеко не каждому дано приобщиться к такому интеллектуальному потенциалу».

«Это еще что! — воскликнул Пушкин, и глаза его повлажнели от воспоминаний.— Если вернуться по коридору обратно и свернуть в первый, после палаты идиотов, поворот, то, открыв вторую дверь слева, вы оказываетесь в палате, где помещаются люди вообще отъявленнейшего ума! Гении в буквальном смысле этого слова! Здесь не спорят. Зачем? Споры у тех, кто ищет истину, здесь же ее нашедшие! Они день и ночь, в очередь друг за другом, излагают: я открыл то-то и то-то, если интересно, послушайте. Все говорят: да, да, разумеется, излагайте. Я нигде не встречал такого внимательного отношения друг к другу. Никто никого не перебивает...»

Накануне выписки Пушкин зашел сюда в последний раз. Как раз в этот день появился новенький, с огромным лбом. На воле он был выдающимся биологом, сделавшим великое открытие. Не здороваясь, он сразу же изложил его. Им доказано, что полный распад ядра живой клетки сопровождается взрывом почище, чем распад атомного ядра. Превосходящим последний хорошо если только в тысячу раз. Единственное, что для такого взрыва нужно, — это принудить к распаду именно живое ядро. И он способ принудить нашел! В своем письме правительству страны он писал, что если специально облущенную бактерию, например, туберкулезную палочку или сифилитическую спирохету, сбросить на Америку, то сила волны от взрыва будет такой, что разом вобьет Соединенные Штаты в промежуток между океанами — Атлантическим и Тихим, как гвоздь в гнилую доску. К сожалению, наше трусоватое правительство испугалось такой мгновенной победы и поспешило изолировать великого открывателя в психушке, чтоб он не мог продать свое открытие тем же американцам. «Которые уже нацелились! — захохотав, сообщил биолог.— И как экстраординарно! С помощью каких тончайших методов! Нам достичь их уровня — ох как далеко, десятилетий не хватит. Меня еще и посадить не успели, как они заявили в мои сны! И как вы думаете, на чем? На товарняке с допотопным паровозом, выскочив из которого стали целовать меня троекратно, по-русски, говоря: «Здесь мы ищейкам вашего правительства недоступны, быстренько рассказывайте, как из спирохеты устроить взрыв, мы вам тут же заплатим триллион баксов...» И с этими словами они бросились раздвигать двери товарных вагонов, все они сверху донизу были набиты сто долларовыми купюрами...»

Но биолог, хоть и великий ученый, а все же не лыком был шит, провести его на мякине американцам не удалось. Он им, расхохотавшись, сказал: «Ух и хитрюги же вы! От меня хотите взять информацию, которую, ввиду ее невестственности, из сна в реальность перевести легко, мне же собираетесь вручить тонны долларов, из сновидения в явь не перетаскиваемых, я проснусь с голыми руками, а вы с моим секретом в голове. Хорошенькое дело!»

Выслушав ученого и слегка подумав, американцы изо всех сил ударили себя кулаками в лбы и вскричали: «Экая проруха вышла! Извиняйте, будьте добреньки, мы этой тонкости не учли...» Может, они и в самом деле не из подлости так придумали, а в спешке и сгоряча недорассчитали, дуrolомы они известные. Как бы то ни было, но биологу они сказали: «Экскьюз ас! Айн момент — и мы свой недочет исправим. Нужна, значит, методика, как перебросить вагоны из сна в реальность, чтоб, когда вы проснетесь, они стояли возле кровати... О'кей! За неделю-другую разработаем это дело и снова к вам явимся. Ждите. С триллионом».

Проснулся биолог в холодном поту: куда столько баксов спрятать? Где укромное место? И понял: только под землей. Сев за компьютер, он быстро подсчитал: укромное место для триллиона долларов должно иметь объем в восемнадцать тысяч кубических метров, то есть представлять собой подземный бун-

кер, равный примерно половине зала Большого театра. «Что ж, придется копать», — со вздохом решил биолог и побежал в магазин за лопатой, у него не было. В тот же день он взял отпуск и уехал на дачу, где немедля приступил к работе. Надо было торопиться: шустрые американцы могли нагрязнать в любую ночь. Не складывать же доллары штабелями возле дачи!..

Биолог стал копать прямо на грядках, где у него были посажены огурцы и капуста, которые он очень любил и поэтому любовно выращивал. Но сейчас он в них безжалостно вонзал острие лопаты. Владея триллионом долларов, можно было позволить себе овощи и с базара. Работа спорилась. Сначала она велась всего с утра до вечера: копая по шестнадцать часов в сутки, биолог все же оставлял треть суток на сон, еду и отдых. Но позже, втянувшись в копание, он привык спать, не выпуская из рук лопаты и не снижая производительности труда. Иногда при этом он довольно громко храпел, и однажды, разбуженная его храпом, через плетень заглянула хозяйка соседней дачи, по профессии астрономша, член-корреспондент Академии наук. Вид спящего и в то же время интенсивно копающего землю биолога так ее поразил, что она вызвала скорую психиатрическую помощь. Дюжие психиатры долго трясли увлеченного работой и похрапывающего биолога, он не просыпался. Открыв наконец глаза и увидев вокруг белые халаты, он понял, что окружен кагэбэшниками, и закричал: «Напали, сволочи, на мой след? Все равно триллиона не получите!» Со словами «Фиг вам!» он с такой силой сунул фигу под нос ближайшему якобы психиатру, что у того пошла кровь. Во время обследования в психушке биолог не терял присутствия духа и, тыча кукишем во все стороны, недвусмысленно заявлял: «Даже цента вам от меня не обломится! Думаете, раз меня заарканили, то и деньги ваши? Заблуждение века! Я оставлю вас с носом! Вместо того чтобы разгружать вагоны с купюрами из реальности сна в нашу реальность, я просто сам уйду в реальность сна! Если деньги не могут идти ко мне, потому что тут вы, то я пойду к ним, где вас нет! Ни стены, ни наручники удержать меня, как вы прекрасно понимаете, не смогут!» Главный кагэбист в белом халате, услышав эти слова, от бессилия закусил губу. Он понял, что проиграл...

Когда биолог закончил свой рассказ, Пушкин осмелился спросить этого геня: «Вы, значит, предатель? Готовы продать родину за тридцать сребреников?»

Коротко хохотнув, биолог сказал: «Вы называете железнодорожный состав с долларами тридцатью сребрениками? Впрочем, продал бы и за тридцать. Кто это придумал, что родину обязательно надо любить? Всю жизнь она била меня палкой по голове, чтоб я думал так, как угодно ей, она испортила мне желудок недоброкачественной пищей, она всегда мошенничала с зарплатой, выдавая мне жалкую часть заработанного... Говорят, ее надо любить, потому что она мать. Какая же мать жертвует своими детьми, лишь бы уцелеть самой? А тех, кто не погиб, плохо кормит, плохо учит, плохо лечит. Мало того, она сажает их в тюрьмы и психушки... Нет, это не мать, это даже не мачеха, а злая надсмотрщица, любить которую может только тот, кто любит быть униженным. «Видели, как собака бьющую руку лижет?» — спрашивал один поэт, сам, кстати, лизавший бьющую руку, — Впрочем, не так усердно, как писатель, забыл фамилию, которого родина даже казнить хотела, сослала к черту на кулички, полжизни испортила — и как он ее потом любил!..»

Заказ был восстановлен, работа закипела. Из гадолина пополам с орихалком мы точили заготовки, резали шлицы, полировали до зеркального блеска, а затем передавали Пушкину. Он нарезал ту хитроумную резьбу, которую никто из нас нарезать не умел. Винтик получался на вид очень обыкновенный. Но лишь до тех пор, пока его не начинали ввинчивать. Если ввинчивали вправо, он ввинчивался влево, если влево — то вправо. Прежде таких винтов на свете не было.

Уже на первой партии таких винтиков мы заработали столько, что на работу стали приходиться кто в красном пиджаке, кто — с сигарой во рту, кто — весь измазанный губной помадой.

И вкусной еде уже через неделю никто не удивлялся. К хорошему человек привыкает почти молниеносно!

Толстячок крутился, как белка в колесе, и не безрезультатно. По секрету сообщив императору Розалии, что Аделия заказала партию винтиков для ракет типа «Знай наших!», он добился того, что Розалия — в пику враждебному соседу — заказала у нас двойную партию. Надолго обеспеченные очень выгодной работой, мы приготовились жить в роскоши вечно, наша кошка уже отворачивалась от черной икры, а Дантес купил себе на шею золотую цепь, как вдруг... в один роковой день... под мирными сводами нашего цеха... прозвучал оглушительный выстрел — его эхо заметалось меж стен, жившие в цехе голуби бросились наутек ввысь... Из настезь распахнутой двери дантесова кабинета, засовывая за пояс револьвер, выходил Пушкин...

Он, как потом выяснилось, купил его совсем недавно, всего за три дня до выстрела, и вот каким образом. Возвращаясь поздно домой, он подвергся нападению одного из тех, кто с оружием в руках выклянчивает деньги на восстановление Храма Христа Спасителя, уже давно восстановленного, однако так возражать: мол, уже восстановлен, — нельзя, зарабатываешь пулю в живот.

Пушкин возражать и не стал, он отдал все свои деньги на восстановление Храма, а потом побежал за грабителем, говоря: «Продай пистолет». «Или я не все у тебя отобрал? — поинтересовался грабитель. — Ну-ка выверни карманы еще раз». «Продай в долг, — попросил Пушкин. — Я тебе завтра же деньги принесу, честное слово».

И грабитель ему револьвер дал.

Выстрел прогремел через день. Второй за всю историю нашего цеха.

Потом мы спрашивали: «Револьвер же был у тебя уже в среду, почему стрелял только в пятницу?» Пушкин объяснил, что много времени потратил на вытаскивание из патрона пули.

Но это мы разговаривали уже в психбольнице. Его снова спровадили туда.

27

Когда мы вбежали, Дантес стоял ни жив ни мертв, — вернее, он считал, что мертв, и бледен был соответственно. Глядя на его бледность, мы тоже подумали, что теперь он не жилец, и сначала стали шарить по его фигуре глазами, ища место, где одежда обагрена кровью, — револьвер все ж не самопал. Но кровавого пятна не было, значит, не было и дырки, — поняв это, мы раз десять шлепнули Дантеса по щекам, чтоб вывести из остоленения.

Между прочим, Пушкин, вынув пулю, прежде чем заткнуть дырку ватой, немного досыпал пороха из другого патрона.

28

В тот же день, когда прогремел второй выстрел, еще не рассеялся, можно сказать, от него дым, прибежал толстячок с радостной, как ему казалось, вестью: спикер Аделии, узнав от него, что император Розалии заказал две партии винтиков, срочно заказал три. «Почему вы не радуетесь?» — удивился он и по детски заплакал, когда ему сказали, что Пушкина снова увезли...

Доконал его и нас звонок короля Королевского архипелага, пожелавшего заказать шесть партий! «Вам-то зачем? — удивился толстячок по телефону. — Вы такой миролюбивый». — Он знал, что данный король очень миролюбивый. Но тот объяснил, что именно для сохранения мира в регионе и вынужден срочно вооружиться. Узнав о конфронтации правителей Аделии и Розалии, он срочно слетал на стареньком, еще папашинном, «Боинге» и к тому и к другому. Увы, безрезультатно. Слова мудрости и любви, которые он произносил, оказались

слишком великими, чтоб пролезть в узкие уши одурманенных властью людей. Тогда он повел разговор с позиции силы, сказав, что, если Аделия и Розалия развяжут между собой войну, он в страшном гневе уничтожит оба государства. Однако его угроза вызвала только смех. Оба правителя ему сказали: «Каким хреном ты это сделаешь? Ведь у тебя, миролюбца пархатого, порядочной винтовки не найдешь, не то что ракеты или атомной боеголовки». Уязвленный этой насмешкой, он улетел обратно, купил новый «Боинг», построил ракетодром, и вот теперь ему нужны винтики. За ценой он не постоит. После исполнения этого заказа он продаст гордость своего архипелага — рощу реликтовых баобабов — и на вырученные деньги закажет нам еще десять партий винтиков. Правители Аделии и Розалии затрепещут перед ним и не посмеют воевать друг с другом без его разрешения...

Ошалелые, вперив взор в пустоту, мы бродили по цеху: образ уплывающих в небытие больших денег рвал нам душу. В гробовой тишине тоскливо жужжала наша муха. Ей подвывала наша кошка. Наши голуби перестали летать. Обсев потолочные балки, они в открытую гадили на нас.

29

Первым сорвался Дантес. Он стал бить себя кулаками по лицу и кричать, что готов ежедневно становиться под пушкинские пули, лишь бы Сашок находился здесь и мог выполнять свою, только ему доступную часть работы. «Под какие пули, истерик? — заорали и мы. — Ты же знаешь, что их не было — ни в первый, ни во второй раз! И, кажется, зря! Он под пули готов встать, герой хренов...»

Обидевшийся Дантес закричал, что все мы бездари, тупицы, раз не способны повторить то, что Пушкин делал с легкостью и не один раз. Обидевшись в свою очередь, мы закричали, что не позволим всяким французишкам унижать наше человеческое достоинство. «Опять вы за свое! — закричал Дантес. — Не француз я!» «Сколько можно отречься от своей нации? — пристыдили мы его. — Чуть что, так ты сразу. А между тем ничего стыдного в принадлежности к великому французскому народу нет...»

На этом ссоре кончилась.

30

Нельзя сказать, что со своим неумением мы смирились легко. Время от времени то один, то другой из нас бежал к станку и, засучив рукава, пробовал повторить пушкинские движения. Мы нарезали резьбу и так, и эдак — впустую. Бывало, со своими бесплодными попытками мы задерживались в цехе до полуночи и тогда ложились спать прямо у станков. То и дело кто-нибудь вскакивал с пола и, бормоча: «А если попробовать так...», включал станок. Остальные каждый раз просыпались, приподнимали головы, надеждой светились глаза...

После бесчисленных неудач возобновились дискуссии о причинах пушкинского превосходства. Прежнее объяснение насчет золотых рук и головы нас уже не удовлетворяло. Подумаешь — золотые руки! Все, что они умеют, в конце концов сумеют и руки обыкновенные — пусть после долгой учебы, пусть хуже по качеству, но не боги же в конце концов обжигают горшки!

Та же картина и с головой: все, что доступно золотой, дойдет и до обыкновенной, только тужиться ей придется подольше и посильней...

Дело было в чем-то третьем — не в руках и не в голове. Но в чем именно — от нас ускользало. В один из таких споров умница Вяземский вдруг заявил: «Если мы не введем в наши рассуждения слово *Бог*, то разойдемся не солоно хлебавши». Но в то время мы были убежденными атеистами и разошлись не солоно хлебавши...

Период уныния был у нас долгим, но не тянулся вечно. Пришло время, и мы взяли себя в руки. Трезво обсудили создавшееся положение. Выход был один: вернуть Пушкина. Мы знали: задача не из легких. Второй раз всегда трудней первого...

Мы отправились к уже знакомому нам главврачу. Возглавлял делегацию Вяземский. Войти в нее хотел и Дантес, но тот же Вяземский — умнейшая голова! — психологически вывел, что это испортит дело. «Когда за обидчика ходатайствует сама жертва, — сказал он, — то объяснений такому факту может быть два. Первое: у жертвы возвышенная душа, чуждая мести, переполненная великодушием. И второе: обидчик жертву подкупил. Естественно, главврачу придет в голову только второе объяснение. Решив, что Дантес получил от Пушкина взятку, он с треском всех нас выгонит...»

Разговор с главврачом получился долгим и сначала не очень приятным. Мы еще и рта не успели раскрыть, а нам уже было заявлено: «В цех ваш Пушкин не вернется, даже если мы его выпишем. Поскольку он у нас вторично, то ему как рецидивисту психического фронта будет назначена пенсия. Но ему тут же перестанут ее выдавать, если он пойдет работать. Не такой уж он отъявленный псих, чтоб совершать поступки себе в убыток».

Удивившись этому заявлению, мы сказали: «Во-первых, он стрелял в Дантеса, разве это себе не в убыток? А во-вторых, у вас в психушке что — не читают газет? Уже полгода, как вышел указ, чтоб у работающего пенсионера пенсию не отбирали. Это раньше старикам и увечным не позволяли заработать на лишний кусок хлеба. Такая хамская политика была у партии с правительством. Теперь же, когда правительство осталось без партии, песню оно запело совсем другую, в духе гуманизма: хочешь — получай только пенсию, а хочешь — и зарплату».

Наше сообщение главврача очень обрадовало. Бурно поаплодировав, он сказал: «Ура этому указу! Он вышел благодаря моим письмам еще в партию. В них я неопровержимо доказывал: поощрять пенсионеров к работе — экономически выгодно. Если старик, писал я, будет гулять с тросточкой и утруждать себя только рыбалкой, то проживет сто лет, непрерывно истощая бюджет. Государство будет регулярно платить ему только за то, что он гуляет с тросточкой и раз в полгода вытаскивает из реки ерша. Если же этот старик позарится на дополнительные деньги и, встав у станка, начнет как проклятый перевыполнять социалистические обязательства, то хорошо, если протянет до следующей пятилетки... Раз такой указ вышел, значит, правительство наконец-то поняло: лучше платить больше пять лет, чем меньше, но полвека».

«Думаем, правительство ориентировалось не столько на экономическую выгоду, сколько на политическую, — возразили мы. — В том, что все пенсионеры сейчас ринулись работать, — очень важный пропагандистский аспект. Запад теперь прямо локти кусает, видя, что наши старики шустрее ихних, а они всю дорогу своими хвалились: не забурели, мол, в немочах, по всем странам туристами разъезжают, полны юной любознательности. Теперь же весь мир раскусил ихнюю брехню: хождение в шортах по Колизею или давно уже не паханному ленивыми французами Елисейскому полю не идет ни в какое сравнение с обработыванием двухпудовой чугунной болванки в задымленном цехе. Вы тут, в психушке, газет не читаете и не знаете: весь мир восхищается нашими стариками, даже ястребы холодной войны говорят: во каких бодрых дедуль воспитал социализм, наших старых пердунов стыдно с ними и сравнивать...»

Главврач согласился, что пропагандистский аспект указа имеет огромное значение, после чего разговор вернулся к Пушкину.

Вот что мы услышали от главврача. Наши проблемы он понимает и освобождать Пушкина побыстрее был бы рад. Но клятва Гиппократата и Конституция страны проживания не позволяют ему сделать это сразу, а лишь сильно Пушкина подлечив.

«Псих перестает быть психом лишь после лечения и выздоровления,— сказал афоризмом главврач.— Другого пути нет».

«Другой путь есть,— возразил умный Вяземский.— Надо просто признать, что Пушкин здоров и попал к вам по недоразумению».

Главврач протестующе замахал руками.

«Вы даже не представляете, какая сложная создалась юридическая ситуация»,— сказал он.

Он нам эту ситуацию разъяснил. Пушкин стрелял в Дантеса — это неопровержимый факт. Предположения на этот счет следующие. Первое: Пушкин стрелял, будучи психически здоровым. Тогда у него обязательно должен быть мотив стрельбы, у здоровых он всегда есть. Например, Дантес задержал ему зарплату или отбил жену. Если мотив есть, то все в порядке: налицо преступление. Пушкин должен получить срок. Но если человек стреляет в человека без мотива, если на вопрос, почему он это сделал, удивленно пожимает плечами: мол, сам не знаю,— то, значит, перед нами не преступник, а душевнобольной, его надо лечить...

«Для начала я вколю ему отвар репейника в нижний край мозжечка,— сказал главврач.— По моим расчетам, это должно вызвать отвращение к оружию».

Мы попросили повременить.

«Можно и повременить,— согласился главврач.— Для меня это раз плюнуть. Я, понимаете, всю жизнь времению. В моей голове рождались замечательные, подчас гениальные задумки, но я временил. Я временил и временил. Сколько себя помню, я все времению».

И он стал рассказывать о прожитой жизни, в которой ему то и дело приходилось делать великие открытия, иногда по два-три в год. Он разрабатывал революционные методики лечения как человека в целом, так и отдельных его членов и органов, а однажды создал замечательный яд: если им ночью обрызгать с самолета вражескую дивизию, то к утру она помрет... Однако все это осталось втуне...

«Вы знаете слово *втуне*? — спросил нас главврач.— Мне одно его звучание переворачивает душу».

Он знал слово *втуне*, а мы до этого не знали. Он вообще оказался интересным человеком.

32

Так получилось, что к нему мы стали ходить почти каждый день, а к Пушкину только раз в неделю. К пациентам чаще не пускали.

Время шло, и главврач стал уже говорить нам так: найдите мотив стрельб — и Пушкин тут же получит свободу. Он так долго уже отсидел в психушке, что суд этим удовлетворится.

Но Пушкин продолжал утверждать: мотива не было. Мы просили его: вдумайся, напряги память, может, какой-нибудь мотив все ж сыщется. Но он не хотел ни вдумываться, ни напрягаться.

Мы так часто заводили этот разговор, что уже одно слово *мотив* стало приводить его в ярость. Он кричал: «Не было его! Никакого!»

«Он не дает себе труда напрячься,— жаловались мы главврачу.— Он сразу кричит».

Однажды мы не застали главврача в кабинете, знакомая медсестра повела нас длинным коридором и распахнула дверь одной из палат. Мы вошли.

Главврач стоял босиком на одной из коек, в полосатой пижаме, как у всех больных. Нам приходилось слышать истории о том, как врачи психушек время от времени сами сходят с ума, и мы подумали, что главврача постигла именно такая участь, но он, увидев нас, громко прокричал: «Это не то, что вы подумали!» — после чего вернулся к речи, прерванной нашим появлением.

Присев на койки рядом с психами, мы стали слушать.

«Итак,— говорил главврач,— я только что буквально на пальцах доказал, что все четыре мировые религии — чушь собачья. И это прекрасно, ибо свидетельствует о том, что человечество — вполне нормальное дитя. Ведь чем дитя прекрасно? Именно говорением благо- и неблагоглупостей. Дитя, излагающее какую-нибудь евклидову или неевклидову теорему, лично мне было бы противно. Я б ему пряника не дал. Меня б тянуло дать ему пинка. Возможно, я б не сумел сдержаться...»

Речь главврача прервал приход медсестры, объявившей ужин. Психи бросились в столовую, главврач же, громко шлепая босыми ногами по бетонному полу, повел нас к себе.

Там он объяснил ситуацию. Ему пришлось уйти из своей квартиры от жены. Двадцать лет он на нее насмотреться не мог, а буквально на днях понял, что перед ним большая сволочь. Он понял это, услышав от жены следующую просьбу: «Милый, купи мне дачу». Она была из простонародья, поэтому говорила «мине». Но главврача «мине» поразило не простонародностью, к которой он за двадцать лет привык, а тем, что дачу она просила одной себе, а не им обоим. Услышав это: «Купи мне дачу» вместо: «Купи дачу нам», он понял — она хочет его отравить. Сначала приобрести на свое имя дачу, а дальше все проще просто: ядов в их квартире было хоть залейся, причем оригинальнейших, в свое время он их изобретал предостаточно, было у него в молодости такое хобби.

Словом, жена о своих злодейских планах проговорила, но главврач и виду, что понял, не подал. Искусно изобразив голосом ленцу и равнодушие, он ответил: «Как-нибудь провернем это дело». «А чего тянуть? — с сильным раздражением спросила жена, чем окончательно выдала свои намерения. — Денег у тебя полно. Чего им лежать втуне?»

Она хоть и была из простонародья, но окончила в свое время вечерний университет марксизма-ленинизма, где и научилась слову *втуне*, любимому у марксистов-ленинцев. Главврач же обучался только в медицинском институте и поэтому слово *втуне* услышал впервые. Оно его до крайности обеспокоило, и он подумал: «Она пронюхала, где я деньги держу, ей и без дачи выгодно меня угробить. Надо действовать без промедления».

Деньги лежали у него в черепе, который он, еще будучи студентом, украл на кафедре анатомии. Этот череп состоял из костей настолько прочных, что когда его хозяину еще в гражданскую войну стрельнули из винтовки Мосина прямо в лоб, то пуля в нем прочно застряла.

Сам-то хозяин, конечно, рухнул как подкошенный, и враги, естественно, подумали, что он убит, а у него было только сотрясение мозга. Через пятнадцать минут он встал и пошел к своим. Однако сотрясение мозга не прошло бесследно: его речь стала французской. Красноармейцы, давно и хорошо с ним знакомые, лупили его пенделями, говоря: «Ты че, Вася?» А он им: «О, Пари, тру-ля-ля!»

Его отправили в обоз, где он до конца войны выучил три русских слова: «раз», «два» и «три». «Четыре» ему не давалось до конца жизни. Остаток ее он проработал вахтером в мединституте, развлекая студентов коротким стишком о французской столице: «О, Пари, раз, два, три!» — застрявшая пуля торчала из его лба. Уже в глубокой старости, незадолго до наступления третьего тысячелетия, он вдруг однажды выкрикнул: «Четыре!» — так громко, что сбежался весь институт во главе с ректором. Но это достижение так и осталось единичным, хотя за повтор ректор обещал вахтеру премию в размере месячного оклада.

Умер этот необыкновенный человек на трудовом посту, настолько при этом не изменившись, что его три дня принимали за исполняющего служебные обязанности. На четвертый день гроб с ним был выставлен в вестибюле для гражданской панихиды, а на пятый как лицо, не имеющее родственников, он был приватизирован институтом и расчленен студентами младших курсов. Его кости со временем смешались с другими безымянными учебными пособиями, но череп с торчащей изо лба пулей содержался, как раритет, в стеклянном шкафу,

из которого и был выкраден будущим главврачом психушки, в то время отпетым хулиганом.

Но хулиган хулигану рознь. Другой бы стал играть черепом-раритетом в футбол, будущий же главврач бережно хранил его, таская за собой по общежитиям и частным квартирам, пряча от чужих глаз в чемодане, накрывая сверху толщей плохо выстиранного белья.

Пришла пора, и он женился — на девушке легкого поведения, но не в сексуальном смысле, а в бытовом: все, что главврач зарабатывал, она тут же тратила. Сексуально же она была как раз наоборот, к моменту женитьбы девственницей, и всю последующую жизнь не могла простить себе, что так опрометчиво рассталась с нею: думала, что главврач — принц; он ее обманул, сказав, что принц.

В контексте этот обман выглядел следующим образом. «Уж не принц ли ты, что так нахально предлагаешь мне свои руку и сердце?» — надменно спросила она, считая себя необыкновенно красивой. И отец с матерью так считали, все родные и двоюродные бабушки, родные и двоюродные тетки. А дядя из Гомеля в поздравительных телеграммах ко дню рождения так и передавал с помощью радиоволн: «Поздравляю нашу красавицу...» — то есть о ее красоте знал даже мировой эфир.

«Да, я принц, — ответил будущий главврач психбольницы. — Только королевская во мне не кровь. А верхняя лобная извилина. Разумеется, и остальные ей под стать».

«А что такое верхняя лобная извилина?» — поинтересовалась девушка.

«Гирус фронталис супериор, — переводом на латынь объяснил будущий главврач. — С ее помощью я затмлю не только Парацельса, но и самого Александра Македонского. Он забегает у меня шестеркой».

Дальше претендент на руку и сердце рассказал девушке о своих жизненных планах. Женившись на ней, он, не откладывая в долгий ящик, тут же изобретет какую-нибудь против чего-нибудь вакцину и станет ездить по разным странам, вкалывая ее как простым людям, так и властителям. И молодая жена будет ездить вместе с ним — от дворца к дворцу, от хижины к хижине, и все будет рукоплескать ей, как женщине, сохранившей девственность до самого окончания своего девчества. Журналисты будут спрашивать: «Как вам это удалось?» И его они тоже будут спрашивать: «Как вам это удалось?» — насчет создания вакцины. И оба они будут с улыбкой отвечать: «Бог дал нам к этому талант». А потом какой-нибудь американец воскликнет: «Желаю, елки-палки, выстроить завод этой вакцины размером в тыщу гектаров. Чтоб буквально залить ею мир. Продайте мне ее секрет за один с половиной миллиард...»

Вот тут девушка, что называется, и сломалась.

«Дулю, за полтора! — закричала она. — За два!»

«Ну, это если повезет», — трезво оценил шансы будущий главврач, и они поженились. Он стал работать в психушке — сначала заводделением, а когда через десять лет — главврачом, то ему выделили квартиру — однокомнатную, но зато с видом на восходящее солнце.

Он стал каждое утро любоваться этим восхождением, а жена не стала: ее по-прежнему волновали только восхождение мужа и возможность выторговать у американца лишних полмиллиарда.

«Когда же ты изобретешь свою вакцину? — спрашивала она сначала печально, а потом и с криком: — Где твоя чертова вакцина, негодяй?»

«Никак не приходит в голову», — отвечал он.

Судьба над ним сжалилась. Не вдохновив на изобретение полуторамиллиардной вакцины, она подбросила ему другую возможность разбогатеть, правда, на сумму гораздо меньшую. За год до описываемых событий в больницу явился бритоголовый парень с шеей толще талии и, глядя главврачу промеж глаз, ска-

зал, что срочно желает на несколько месяцев отключиться от созидательной деятельности. После чего со словами «А это аванс» достал из широких штанин пачку денег толщиной в «Войну и мир».

Главврач, стесняясь, пачку двумя руками взял и собственноручно взбил подушку на лишний койке в палате страдающих манией величия. И собственноручно же отстучал на машинке и дал парню выучить наизусть вступительное слово, без которого коллектив палаты новичка бы отторг. Представившись Гераклом, парень в очень крепких выражениях отругал своего работодателя Еврисфея, который не только заставил его выполнить двенадцать тяжелейших заданий, но и вынуждал на тринадцатое, абсолютно уголовное: украсть у папаши Зевса перун. Саботируя это кощунственное требование, парень решил на время укрыться от Еврисфея здесь. «Надеюсь, вы меня не выдадите», — обратился он к сопалатникам. «Негодяй!» — имея в виду Еврисфея, закричали Озирис, Ярило, три Христа и Кобзон. А Зевс так вообще обнял парня и, трижды по-русски расцеловав, сказал: «Ты поступил правильно. А с Еврисфеем я разберусь».

Провалявшись на койке с полгода, парень вручил главврачу пачку денег толщиной с «Анну Каренину» и сказал:

«А это расчет. Давай документ о выздоровлении».

«После регулярных инъекций настоя фиалки в левую долю гипофиза больше Гераклом (Геркулесом) себя не считает, — написал главврач в медицинской карте и справке. — Физиологические и социальные реакции нормализовались. Пациент подлежит выписке».

Поскольку и аванс, и расчет были выданы крупными купюрами, их совокупность удалось втиснуть в череп с пулей во лбу, который уже не прятался по чемоданам, а стоял в новой квартире на этажерке среди книг, как бы символизируя, с одной стороны, необъятную мудрость человечества в целом, с другой — непроходимую глупость каждого отдельного индивида.

Несмотря на то что все эти деньги не могли идти ни в какое сравнение с полутора миллиардами, которые мечталось получить от американца, главврач с поправкой на неизбежность отличия жизни от мечтаний в худшую сторону чувствовал себя богачом заокеанского масштаба. Однако, не имея в отличие от заокеанских коллег ни преданных телохранителей, ни бдительных поваров, он ясно сознавал свою незащищенность. Именно поэтому ласковая просьба жены купить ей дачу и тут же вслед неосторожно произнесенное слово *втуне* прозвучали для него первым аккордом реквиема. Он понял, что, если не примет экстренных мер, дни его сочтены. Если завтра его не порешит топором кто-нибудь из ее любовников, наличие которых он сильно подозревал, то послезавтра она сама отравит его каким-нибудь коварным ядом — и это скорее всего ввиду хоть и неоконченного, но все же фармацевтического образования.

Она его имела неоконченным именно потому, что в свое время сильно поверила мечте о дополнительных к полутора миллиардам пятистах миллионах. Несметное количество нулей, заполнив девичью голову, вскружило ее. И о высшем фармацевтическом образовании она подумала: «На кой?» Руководство института было ошеломлено решением своей лучшей студентки, проучившейся у них четыре уже года в круглых отличниках, а последний — так еще и в секретарях комсомольской организации.

«Мы ж из тебя, дура, секретаря партийной организации хотели воспитать, — говорили ей. — А ты? Не стыдно ли смотреть нам в глаза? А как насчет родины? Ее тоже в удобный момент предашь с такой же легкостью?»

Будущая миллиардерша все эти грозные упреки пропустила мимо ушей. Но теперь, больше похожая на старуху у разбитого корыта, горько жалела, что не няля предостережения мудрых наставников. Ведь лучшие годы уже прошли, а мечта не осуществилась. Где тот миллиардер, с которым так приятно было поторговаться? Где образ прекрасного принца — если не крови, то хотя бы какой-то там извилины?.. Увы, ее муж не только не изобрел обещанной вакцины, но и вообще не поднялся выше вонючей психушки, по коридорам которой бро-

дили жуткие типы: один, плача, размазывал по лицу слюни, другой, наоборот, делал это смеясь, а третий, гневно тряся огромной бородой, кричал: «Где мой перун? Я вчера оставил его здесь на подоконнике!» — и писал под дверь женского душа, говоря, что проникает к прелестным созданиям золотым дождем...

Главврач давно чувствовал нарастающее недовольство жены и поэтому, услышав от нее слово «втуне», похолодел, так как понял, что дни его сочтены. Действовать надо было решительно. Сказав: «Плевал я на твоё “втуне”», — он показал ей кукиш. «Меня не лелеешь — горько пожалеешь», — отреагировала жена. Чувствовалось, что внезапная рифма не случайна...

Промедление грозило смертью. Главврач бросился к черепу. Но денег в нем не оказалось. «О хищница!» — крикнул он жене и убежал из квартиры с пустым черепом под мышкой.

Теперь он жил в больнице. День проводил в кабинете, где делал больным инъекции в различные участки мозга, ночевать же шел в палату страдающих манией величия, так как любил публику поинтеллигентней. С черепом он не расставался: днем держал на письменном столе, ночью — под одеялом. Больные думали, что он — его собственный.

Мы этот череп видели. По просьбе главврача принесли наждак, и теперь пуля сверкала, как бриллиант во лбу Шивы.

34

В следующий раз мы навестили главврача очень поздно, думали, придется его будить, но он не спал, он сидел в кабинете в такой удрученной позе, что, будь среди нас женщина, у нее бы на глаза навернулись слезы.

«Что случилось?» — спросили мы.

У него осложнились отношения с коллективом. Он совершил ошибку.

Первоначальная мысль у него была правильная. Перед ним стоял вопрос: кем быть в палате? Сначала он хотел руководствоваться народной мудростью: с волками жить — по-волчьи выть, и прикинуться каким-нибудь богом. Но престижные вакансии, вроде Зевса или Озириса, были уже заняты, а становиться богом-шестеркой, вроде Зефира или Морфея, ему не позволяло самоуважение. Поэтому он принял оригинальное решение: стать не богом, а, наоборот, атеистом, причем не простым, а воинственным, вооруженным до зубов новейшими взглядами на природу религии... Он думал, им будет интересно с ним спорить, но ошибся. Первая же произнесенная им речь, конец которой нам посчастливилось слышать, вызвала неудовольствие, объединившее богов палаты. После ужина, когда мы уже ушли, они загнали главврача в угол и, косясь на череп, который он держал впереди себя, как щит, сказали: «Мужик ты, в общем, неплохой, но находиться в одной палате с атеистом нам, сам понимаешь, несовместно. Плюрализм — вещь прекрасная, но в пределах больницы, а не одной палаты...»

Но уходить в другую главврачу не хотелось. Ему во что бы то ни стало надо было жить среди интеллигенции.

«Черт бы ее побрал! — сказал он нам. — Но я придумал, как исправить положение. К счастью, так называемых безвыходных положений для меня нет. Вам выпало счастье убедиться, что они не для меня».

Сунув под мышку череп, он повел нас в палату, из которой был вежливо изгнан.

Его приход теми, кто еще не спал, был встречен недоброжелательно. Осуждающие взгляды, как бы говорящие: «Мы же просили вас больше не приходить», вперились в него. Нас же вообще никто не заметил: как и положено языческим богам, людей они презирали.

Мы присели на краешки чужих коек, главврач, не смутившись приемом, взобрался прямо в обуви на свою.

«Господа!» — начал он свою речь, видимо, заранее заготовленную...

От него мы уже знали, что обращением «Господа!» здесь пользовались даже в те годы, когда вне больницы оно было запрещено. Главврач направил тог-

да в обком партии письмо с просьбой для этой палаты сделать исключение. «Они мнят себя богами,— писал он.— Для успешного лечения мы должны оберегать их от стрессов и не раздражать неуважением к их ложному статусу, который в период болезни они считают реальным...»

И первый секретарь обкома наложил на письмо резолюцию: «Называть психов господами разрешаю...»

Стоя теперь на койке двумя ботинками и сказав «Господа!», главврач продолжил так:

«Переживая нашу с вами размолвку, я провел в кабинете бессонную ночь. Лишь под утро мне удалось смежить веки, но едва я это сделал, как предо мной вдруг возник Бог, спать в присутствии которого я не считал возможным. Быть атеистом — совсем не значит быть бестактным. Я могу отрицать Бога, но спать в его присутствии — никогда. «Чем обязан?» — спросил я. «Надо поговорить», — ответил Бог. «Может, потом? — попросил я. — У меня был тяжелый день». «Хамло, — сказал Бог. — С Богом аудиенцию не откладывают...»

«Это какой бог тебе являлся?» — спросил кто-то из больных. Они смотрели на главврача уже не осуждающе, а с интересом. Многие из спящих проснулись, лежащие сели.

«Иегова... Кто ж еще!» — поколебавшись, не очень уверенно ответил главврач, и все повернулись к кряжистому старику, дремавшему в углу.

«Да, да... — пробормотал тот. — Ага, являлся... Было дело...»

Обрадованный главврач продолжал с воодушевлением. Он сообщил прибравшимся, что Бог-отец предложил ему место Бога-сына. «Но оно ж не вакантное!» — воскликнул потрясенный главврач. «Иисуса я уволил», — жестко, без обиняков ответил Бог.

Главврачу всегда было жалко так сильно пострадавшего за свои убеждения человека, а тут еще его и уволили. «Неужели за то, что еврей?» — подумал главврач и спросил вслух: «За что, Господи?» «Он мне не доверял, — ответил Бог-отец. — Моим указаниям следовал с оглядкой. С одной стороны: да, да, согласен на крест, как скажешь, но с другой — ученикам: купите мечей для обороны. И вообще чуть не пошел на попятный! В самый ответственный момент стал меня упрашивать, чтоб я отменил намеченное: чашу, мол, мимо пронеси. И кому ж, интересно, дать? А ему все равно, лишь бы мимо него. И совсем уж возмутительно повел себя на кресте, вдруг вообразил, что я его оставил. И прямо при всем честном народе стал меня упрекать: «Зачем меня оставил?» Могу ли я такое простить? Ведь получается, что я его завлек на крест — и в сторону, предал. Бог, значит, может быть предателем? Да меня ни один атеист так не оскорблял!..»

Пообещав в ближайшие дни изложить суть нового учения, главврач слез с кровати и, пылая взором, пошел к двери. Мы побежали за ним. Уже в кабинете он повеселел и, злорадно потирая руки, сказал: «Представляю, какую головомойку они устроят теперь Иисусам. Да, да, множественное число, их у нас целых три! Житья от них нет, обнаглели вконец! Одного я, правда, слегка подлечил, он уже раввина требует для обрезания, но все равно. Главное, чего они требуют, так это введения средневековья. Хотят сжечь всех, кто в них не верит, включая медперсонал».

«Они заодно? — спросили мы. — Не дерутся? Ведь каждый должен считать остальных самозванцами».

«Я на это рассчитывал, — ответил главврач. — Специально поместил всех в одну палату, надеясь, что они будут ссориться между собой и оставят в покое остальных. Но не тут-то было! В первый день они действительно слегка побили друг друга морды. Но уже на второй нашли выход: внесли в свой канон небольшое дополнение, по которому не только Бог един в трех лицах, но и сам Иисус — тоже в трех. И тоже — един. С тех пор, изображая единство, ходят в обнимку. Попробуй косо глянуть на одного, оплеухи получишь от троих... Но ничего, надеюсь, теперь языческие боги приструнят этих нахалов...»

Мы спросили о деньгах — вернула ли их жена, а если нет, то теплится ли на это надежда. Слезы выступили на глазах главврача. Пронзенные к нему жалостью, мы закричали:

«Пусть их! Стоит ли из-за денег лить слезы?» «Это не слезы, — сказал главврач. — Это пот». Он пытался скрыть свою слабость, но мы-то видели, что слезы: пот стекает со лба, эти же текли из глаз.

«Но и потеть из-за них не стоит, — как бы поверили мы в невинную хитрость этого мужественного человека. — Все же счастье не в деньгах. Вернула ли вам их жена? Или еще нет?»

«Дачу она уже купила, — ответил главврач, и глаза его высохли. — Я ей, суке, этого не прощу. Она вернет их мне сторицей». На этот раз каплями покрылся его лоб. Он стукнул кулаком по столу так, что вздрогнули не только мы, но и люстра.

«Надо говорить *сторицей*», — поправил Вяземский, за что его все потом отчитывали, говоря: «Зачем полез с грамотностью? Он раскрывает душу, а ты о частях речи». «Разве я о частях?» — удивился Вяземский. «Пусть и не о них, — согласись с ним. — Но, когда человек фактически исповедует, можно ли от него требовать витиеватости?» «Плевал я на витиеватость! — сказал Вяземский. — Ваши претензии на редкость глупы. У меня впечатление, что я окружен дураками».

Ума он был огромного, но мы, к сожалению, не всегда с ним соглашались.

35

Разумеется, мы ходили к главврачу не ради увлекательной беседы, а чтоб освободить Пушкина. Но долгое время больших успехов нам добиться не удавалось.

«Ребята, — говорил нам главврач, — в тысячный раз объясняю: будь моя воля, отпустил бы его немедленно. Но есть решение суда. Пушкин — рецидивист, на его счету две стрельбы по Дантесу, и обе не мотивированы, разве это нормально? Его спрашивают: зачем стрелял? — он отвечает: так захотелось... Его спрашивают: почему стрелял? — он отвечает: не знаю...»

Главврач разводил руками и глубоко, как в спортзале, вздыхал. После чего переходил на крик. «Если человек не знает, зачем стреляет, — пусть сидит у нас! — кричал он. — Вот если ваш Пушкин даст себе труд придумать мало-мальски правдоподобный мотив, то сразу перейдет из разряда психов в разряд преступников, но ему заплатят тюрьма. Но адвокат скажет: «Минуточку! Он же стрелял холостыми! Это не преступление, а мелкое хулиганство!» — и тюрьма по нему уже только всхлипнет, она больше любит преступников. А тут и я возьму свой голос, воскликнув: «Так он же уже у нас отсидел Бог знает сколько, не довольно ли?» — и тюрьма плюнет вашему Пушкину в лицо, захлопнет перед его носом свои стальные двери. Убедите же его написать заявление: «Я, Пушкин Александр Сергеевич, стрелял в Дантеса из-за бабы, мы с ним ее не поделили». Все! Тут же состоится пересуд и с учетом времени, проведенного в психушке, он сразу выйдет на свободу. А придумывать мотив не захочет — на свободу выйдет все равно, только много позже. Я уже говорил: после интенсивного излечивающего лечения...»

Одно замечательное излечивающее лечение он придумал недавно как раз для таких, как Пушкин, — стреляющих беспричинно и холостыми. «Обыкновенный репейник! — кричал он нам уже не в первый раз. — Вернее, его колючки! Веками люди проходили мимо, проклиная это растение. Видите ли, оно цепляется к штанам! Так оно же специально и цеплялось, оно навязывалось людям. Оно как бы кричало: я вам позарез нужно, обратите на меня внимание! Но — куда там! У человечества огромное перепроизводство глупости в сравнении с запланированным. Никому и в голову не приходило, что именно в колючках — чудодейственное лекарство. Сок! Весь секрет в том, чтоб как следует прокипятить! Никто не догадывался, ваш покорный слуга — первый! Впрыснутый в

верхнюю лобную извилину или еще лучше — в корешок ромбовидного мозга, этот старательно прокипяченный сок излечивает не только от страсти стрелять беспричинно и холостыми, а и вообще от широчайшего спектра заболеваний, в том числе, между прочим, от хронического недовольства властью. Когда я закончу клинические испытания сока и запатентую его, репейником станут засеивать огромные площади. Сотни колхозов, выращающих репейник! Только, ради Бога, не думайте, что колючки лечат все! Многое, но и только! Простые люди часто увлекаются новым лекарством, думая, что оно от всего. От всего нет ничего! Если у вас эпилепсия или лунатизм, сок репейника вам — как корове седло. Нужен отвар васильковых корней. Только он. Но инъецированный ни в коем случае не в лобную извилину! Только в задний рог бокового желудочка! Подбираться к нему лучше всего со стороны затылка. Тогда можно использовать не очень длинные иглы. Три раза в день. Перед едой. В течение месяца. Как рукой снимет!»

В эти дни благодаря пропаже денег он был охвачен творческим огнем неимоверной силы.

«Вы даже не представляете, ребята, как несчастья активизируют вдохновение! — говорил он нам. — Казалось бы, общеизвестный факт, однако, испытан на себе, человек не может не изумляться и не благодарить Всевышнего, осчастливившего бедой...»

Буквально в тот же день, когда он убежал из дому с пустым черепом под мышкой, способность создавать вакцины в нем забила ключом. Как наяву стали возникать в воздухе углеродно-азотистые цепи, атомные решетки невиданных кристаллов, у атомов, откуда ни возьмись, появились новые валентности... Он понял, что стоит на пороге величайших свершений. «Если бы вы знали, какое это счастье — стоять на пороге!» — говорил он нам.

36

Мы Пушкина умоляли: «Пожалуйста, скажи, зачем стрелял в Дантеса. Назови причину — и тебя сразу выпустят. Войди в положение главврача — он вынужден держать тебя за психа, потому что ты говоришь: «Стрелял в Дантеса сам не знаю с чего. Просто в ум взошло». Это ж только психам всходит в ум стрелять без причины. А раз ты не псих, значит, причина была. Скажи нам ее, признайся! И сразу вернешься в родной коллектив. Потому что срок, положенный за такое хулиганство, ты уже отсидел в психушке...»

Но Пушкин упрямо твердил: «Причины не было. Стрелял в Дантеса немотивированно».

Прямо морду хотелось набить ему за такую ложь. Мы же по глазам видели: мотивированно! Еще как мотивированно!

«Зачем скрываешь? — кричали мы ему. — Какой у тебя мотив скрывать мотив?» «Стрелял в Дантеса беспричинно, — отвечал Пушкин. — Грохот был, а мотива — нет».

Наше недовольство росло. Мы из кожи лезли вон, чтоб его освободить, а он не помогал. Это злило. Между тем дождем сыпались на нас телеграммы короля Королевских островов: почему задерживаете заказ? Если не устраивает плата — увеличим!.. Что нам было отвечать? Что Пушкин, без которого мы, как без рук, в психушке?..

Мы объясняли Сашку, пытались пробудить сочувствие. «Без тебя мы пропадем», — говорили. Но сердце его не смягчалось. «Не было у меня мотива», — твердил он.

Но мы знали: был! Пушкин не псих, чтоб палить из самопала без разбору. Он же его заранее выточил. А в другой раз заранее револьвер купил. Стрельба по Дантесу была спланированной акцией. Как тут могло обойтись без мотива?

В конце концов мы решились на обман. Решили придумать мотив, сочинить его собственной фантазией, причем такой, чтоб от него Пушкину душу вывернуло...

Такую идею подал нам умница Вяземский. Я вообще не знаю, что наш коллектив делал бы без него. Больше половины наших общих мозгов находилось в его голове. Включая и пушкинские. Да, да, и пушкинские мозги, они тоже шли в общий котел, большая половина которого приходилась на Вяземского...

Расчет у него был такой: Пушкин — человек гордый. Услышав нашу гнусную клевету, он оскорбится и закричит: «Беспрецедентная ложь! Не было у меня такого мотива стрельбы...» А дальше не выдержит и добавит: «А вот какой был...»

То есть отрицание ложного мотива вынудит его высказать истинный. Мы победим с этим мотивом к главврачу — и Пушкин вернется в цех...

Если же, говорил Вяземский, Пушкин ограничится возмущением: какая, мол, ложь, а об истинном мотиве все ж не проболтается, тогда ситуацию нужно будет усилить. Цинично рассмеявшись, сказать: «Не веришь — и не надо. Главное, главврач поверит. Пошли, ребята, к нему, расскажем...» Этого Сашок наверняка не стерпит. Закричит: «Не идите! Я сейчас сообщу вам настоящий мотив!»

Так мы рассчитывали. Собственно, так почти и вышло: умница Вяземский не ошибается. Пушкин был вынужден сказать правду.

Что же касается гнусного мотива, то он, можно сказать, напрашивался сам...

37

Войдя в его палату и выгнав из нее слюнявых придурков, мы, оставшись с Пушкиным наедине, резким тоном сказали: «Доколе?» Такое слово нам велел положить в основу Вяземский.

Он им заинтересовался и спросил: «Какое доколе?»

Мы сказали, что ныне *доколе* то же, что было и вчера, и позавчера, и третьего дня, и вообще с той минуты, когда он навел на Дантеса самопал, — откуда взялась ненависть, спрашиваем в последний раз...

Пушкин привычно сказал: «Не знаю», — вид у него стал скучающий. Он думал, что мы, как обычно, начнем сейчас клянчить: пожалуйста, признайся, сделай милость...

Но мы в ответ отрепетированно захохотали. «Чего смеетесь?» — спросил Пушкин, скучая уже меньше. И тут мы стали разыгрывать перед ним заготовленный спектакль.

«Ха-ха, — начал Пуцин. — Ты не знаешь, а мы, представь, великолепно осведомлены. Шерше мамзель, не так ли, ваше благородие?»

«Какое шершемамзель?» — спросил Пушкин, он по-французски не умел.

«Да ты из-за Наташки в Дантеса пальнул! — вроде бы как сплеча рубанул, а на самом деле старательно выговорил по заготовленному сценарию Кукольник. — Этот хмырь давно на нее глаз положил, ты это не хуже нас видел».

«Когда б только глаз, — дождавшись своей реплики, вступил в разговор Баратынский. — А то ведь однажды и руку на плечо... Не верите, что ль? Да век свободы не видать! У меня самого тогда сердце вскипело, а у Сашка, я думаю, вообще бомбой рвануло».

«Вот он из самопала и пальнул, — как бы сделал окончательный вывод умница Вяземский. — А увидев, что не помогает, — и из револьвера. Мотив — натуральней не бывает: ревность. Ни одна психушка с таким диагнозом держать не станет, эта ненормальность позволительна нормальным. Она настолько естественна, что о ней стихи слагают...»

«Зря вы грешите на Дантеса, — нехотя включился Сашок в разговор. — Он в этом деле чист. Ну, может, и положил по случаю Наташке руку на плечо, так ведь дружески, я уверен. Он не кадрил ее...»

«Точно — кадрил! — закричал по заготовленному Дельвиг. — Еще в прошлом году — помню, Рождество отмечали — он ей, мерзавец, на складе руку целовал! Я эту картину как сейчас вижу. Только тогда подумал: может, он ей за хорошую работу?.. А теперь дошло — кадрил!»

«На Пасху он ее в ресторан звал,— снова подал голос Пушкин.— Я сам слышал. Мол, не выпить ли нам по рюмашечке в день исхода евреев из Египта...»

Эта реплика вызвала у нас замешательство, так как являлась чистой отсебятиной. Про исход из Египта, тем более евреев, Пушкину не поручалось. Мы потом его спрашивали: ты чего? Он разводил руками, клялся, что Египет у него слетел нечаянно, ни с того ни с сего. «Я безмозглый болтун и психоневрастеник!» — каялся он.

Впрочем, больших отклонений от задуманного отсебятина не вызвала. Правда, сначала удивленный Дельвиг тоже отклонился от роли, спросив: «Разве Дантес — еврей?» «Не. Их род, ты же знаешь, французский», — в последний раз отклонился Пушкин, а может, и дальше отклонялся бы, если б снова не включился, к нашей радости, Пушкин. «И как развивался разговор дальше? — спросил он с интересом.— Что ответила Наташка?»

«Сказала, что вечером у нее стирка,— ответил Пушкин.— Исполнее, говорит, загрязнилось...»

Итог разговору подвел главный его зачинщик и дирижер — Вяземский.

«Итак, мотив ясен,— сказал он.— Но Сашок предпочитает скрывать, поэтому мы сами пойдем сейчас к главврачу и объявим: Пушкин стрелял в Дантеса из ревности... Фу, прямо гора с плеч... Айда, ребята!»

«Стойте! — закричал Пушкин.— Не путайте в это дело Наташку! Я вам сейчас все объясню! Мотив совсем другой!»

38

Его как прорвало. Целый час мы слушали взволнованную исповедь отчаявшегося человека.

Начал он издалека. Он так и сказал: «Чтоб вы все поняли, я начну издалека». Всю свою жизнь, сказал он, с младых ногтей, буквально с пеленок, и в школе, и дома он воспитывался в духе интернационализма. Интернационализм он впитывал с молоком матери, атмосферой интернационализма дышал. Ему всегда было все равно, кто перед ним — еврей, татарин или печенег. Встретив однажды на улице негра, он пожал ему руку и сказал, что хочет с ним выпить. «О'кей!» — ответил негр и вынул из кейса поллитровку. Они распили ее в ближайшем подъезде и на прощание крепко расцеловались. Когда возник спор — кто изобрел радио: Маркони или Попов, он воскликнул: «Какая разница? Оба хороши!» — и послал телеграмму итальянскому правительству с просьбой передать наилучшие пожелания детям и внукам Маркони... Но, к стыду своему, он никогда не называл закон сохранения вещества законом Ломоносова — Лавуазье и трижды звонил во Французскую академию с требованием отказаться от своей половины приоритета...

«Не люблю французов,— покрываясь краской стыда, сказал он.— Позор на мою голову, грош цена моему интернационализму! Сам не знаю, откуда у меня это. Ведь любовь ко всем на свете нациям — это то, чем я пропитан насквозь. А вот с французами почему-то интернационализм не получается. Я всегда ощущал этот психологический факт как огромный изъян в своей нравственности и со жгучим чувством стыда как мог его скрывал. Я бы скрывал и дальше, но ваше дурацкое предположение о флирте Дантеса с Наташкой может бросить тень на ее целомудрие, и это вынуждает меня к признанию...»

Он рассказал нам, что, когда Дантес только пришел в цех и, знакомясь, произнес свою фамилию, в сердце будто током ударило. Сначала Сашок воспринял этот факт как явление легкой сердечной недостаточности: в то время как раз подходил конец последней пятилетки и работать приходилось по две, а то и по две с половиной смены, чтоб выполнить ее на четыре дня раньше срока. Сашок тогда подумал: «Что-то рановато у меня сердце барахлить начинает», — но трудовых темпов не снизил — честь цеха для него всегда была выше всего личного...

Но пятилетка кончилась, новая же — в связи с развалом страны — так и не началась, объем работы резко уменьшился, перекуры стали основным времяпрепровождением, а резкие толчки в сердце при слове «Дантес» продолжались. Мало того, при виде самого Дантеса стали сжиматься кулаки. Пушкин понял, что его ненавидит...

«Мне бы эту ненависть не сдерживать, — жаловался он нам на себя. — Она ж прибывала понемногу. Надо было каждый раз, когда сталкивался с ним, материть его или толкать плечом со словами: “Прочь с дороги, лягушатник!” Если бы так поступал, ненависть не копилась бы и опасной концентрации в моей душе не достигла б. Но, скрывая свои антифранцузские настроения, я не мог позволить себе таких выходов. Кроме того, как всякий представитель русского народа, я долготерпелив, и это сказалось. В один прекрасный день я обнаружил, что вытаскиваю самопал. “Зачем он мне?” — мелькнула мысль. Но не было уже у меня власти над собой. Единственное, на что еще хватило моего интернационализма, — не вложить в ствол пулю...»

Выслушав эту исповедь, мы стали успокаивать Сашку, но он отталкивал нас, говоря, что отныне не сможет никому смотреть прямо в глаза. Он очень страдал — как всякий интернационалист, вдруг обнаруживший, что какую-то нацию он на дух не переносит...

39

Мы, что называется, удалились на совещание. Было ясно: идти с таким мотивом к главврачу нельзя. Не любил бы Сашок всех инородцев — это было б, может, и плохо, но нормально. Не любил бы он только евреев — совсем хорошо, поскольку очень традиционно. Или, скажем, немцев — за то, что они евреев убивали... Но ненавидеть выборочно одних французов, любя всех остальных, — для России это явная ненормальность, идти к главврачу с таким объяснением можно было только с желанием навредить. Сашку после этого век бы свободы не видеть. Ему бы до конца жизни кололи в черепушку настои разных трав...

Накануне главврач рассказывал, как открыл очередное лекарство. Совершенно случайно! Услышал по радио песню «Сережка ольховая будто пуховая» — и его прямо вскинуло. Пошел, собирал этих сережек, отварил, вколол одному-другому пациенту в гипоталамус — и пожалуйста: один почти выздоровел, другому тоже лучше стало.

«Большинство великих открытий делается случайно», — объяснил нам главврач.

40

Вернувшись в цех, мы рассказали Дантесу всю правду. Вяземский обнял его, говоря: «Ничего не поделаешь, придется тебе взять грех на себя». Дантес не понял, спросил: «Какой грех?» «Грех лжи», — ответил Вяземский и объяснил новый план. Он состоял в том, чтоб Дантес наврал главврачу, будто, являясь в целом тоже интернационалистом, к сожалению, терпеть не может русскую нацию и неоднократно говорил Пушкину: «Ах ты, русская морда!» И еще якобы говорил: «То ли дело мы, французы! И лекарство от бешенства наш Пастер изобрел, и наша солдатня в грязных сапогах по вашим кремлевским дворцам расхаживала и на постелях ваших царевен спала...»

«Зачем мне приписывать себе такие слова? — воскликнул изумленный Дантес. — Какая польза может быть от этой глупости?»

«А такая, — ответил умница Вяземский, — что в результате твоей хулы на русских, в результате попиранья всего того, что так дорого русскому сердцу, Пушкин разозлился настолько, что, слегка изменив своему интернационализму, возненавидел французов. А поскольку все гадости говорил один из потомков этого глумливого племени, то он не сумел удержаться и открыл по нему пальбу. Таким образом, ненависть Пушкина к французам не будет уже выглядеть ненор-

мальностью. Пушкину на суде объяснят, что из-за одного сволочного француза нельзя ненавидеть всю ихнюю нацию, тем более что этот сволочной, если разобратся, вовсе и не француз, а всего лишь отдаленный французский потомок...»

«Да не французский я потомок! — в который раз возразил Дантес. — Я потомок итальянский».

Мы, как всегда, замахали руками: не вешай, мол, нам лапшу на уши, кого ты пытаешься обмануть, не на тех попал, Дантес — типичная французская фамилия, так что отвертеться и не пытайся.

Однако умница Вяземский, всех заставив умолкнуть, сказал: «Этот Гей-Люссак уже не впервой долдонит нам что-то про итальяшек. Поскольку дело мы затеяли серьезное, давайте хоть раз выслушаем его до конца. Очень интересно, как он будет уклоняться от французского происхождения. Может, из его лживого рассказа мы извлечем какую-нибудь пользу. Давай, Робеспьер, рассказывай!»

Дантес замялся и сказал: «Моя история не слишком короткая. Впрочем, если вы изъявляете желание ее выслушать, извольте».

«Изъявляем, изъявляем!» — сказали мы и расположились поудобнее. Стульев не хватило, кое-кто взгромоздился на подоконник, а некоторые сели на пол, даже на нем улеглись.

И Дантес начал свой рассказ.

41

Предок его прибыл в Россию, когда ею начинал править Петр и в недавно прорубленное им окно в Европу еще только вставляли раму. Предок тоскливо бродил вдоль будущих «питербургских проспектов» по колено в строительном мусоре и бесцелно спрашивал себя: «Зачем я сюда приехал?» И ответить на вопрос не мог.

Новая столица тем временем строилась. Князья и бояре возводили дворцы и обставляли их мебелью. Деньги у них были, а вкуса — нет. Купив сегодня дюжину кресел на гнутых ножках, они назавтра присовокупляли к ним шесть двухспальных кроватей с ножками прямыми. Уместно ли соседство столь разных по духу предметов — такой проблемы они не знали. Умея уже ценить красоту отдельной вещи, они не угадывали красоты сочетания. В результате шкафы ампира перемежались столами рококо, рядом с позолоченной лежанкой в стиле Карла Великого громоздились розовые балахоны а-ля Помпадур... Так что, когда изможденный предок нашего Дантеса явился во дворец князя Куракина, чтоб попросить место слуги или дворника, его от увиденного стошнило. «Вы что-то несвежее съели?» — поинтересовалась супруга князя, урожденная графиня фон Цернговенхорнау. «Я вообще сегодня ничего не ел», — признался предок Дантеса. Последнюю лиру он отдал извозчику, привезшему его в столицу, рубля же вообще еще не видел.

«Отправляйтесь на кухню, вас накормят расстегаями с бужениной», — брезгливо передернув мраморными плечиками, велела княгиня Куракина, но странный посетитель сделал протестующий жест. «Сначала разрешите немного покомандовать вашими слугами», — попросил он, сглотив голодные слюни. Удивленная просьбой княгиня хотела выставить нахала вон, но безукоризненная итальянская речь пробудила в ней сладостные воспоминания об одном вечере, проведенном ею в гондоле с племянником венецианского дожа, и, размягченная воспоминаниями, она, махнув ладошкой, сказала: «Не знаю, что означает ваша странная просьба, но здесь так скучно, что я готова ее выполнить. Даю вам четверть часа».

Получив пятнадцатиминутный, так сказать, карт-бланш, предок нашего Дантеса не стал долго раздумывать. Он закричал слугам: «Этот диван мигом туда!.. Эти кресла — вдоль стены, а эти вообще — вон!.. И не только из комнаты, из дома!.. Эти сенжерменские часы перенесите с клавиесина на камин, а этрусскую вазу с него разбейте, она не этруская... Клавиесин тоже выбросьте на улицу, этот цвет музинструментов уже лет пять как устарел...»

Он покомандовал так минут десять, и гостиная, в которой все происходило, преобразилась. Она приобрела сказочно восхитительный вид. Цвет стен дружил с формой кресел, камин смотрелся добрым генералом. Даже сенжерменские часы затикали веселей.

У княгини перехватило дух и, теряя сознание от красоты окружающего, она пролепетала: «А не могли бы вы, сударь, так покомандовать и в других комнатах?..»

«Охотно», — ответил предок Дантеса, подхватывая падающую навзничь хозяйку...

Дворец он покинул затемно, так и не угощенный расстегаями, но зато с увесистым конвертом. «В ближайший трактир!» — крикнул он извозчику и ткнул его кулаком в спину. Он уже видел, что извозчиков в России принято тыкать кулаком в спину.

Трактир был уже закрыт, хозяина пришлось поднять с постели. «Шнель! Цито! Цито!» — кричал он ему на знакомых языках. Хозяин кланялся, бормотал: «Будьделано», — и ставил на огонь большие сковородки...

В ту ночь предок Дантеса впервые в России нажрался.

Наутро он проснулся знаменитым. Княгини, графини, баронессы и купчихи первой гильдии толпились у дверей его номера в обшарпанной третьеразрядной гостинице. Они уже прослышали о его искусстве и, размахивая увесистыми конвертами, наперебой приглашали к себе...

Когда на третьей неделе своей славы он выходил из дома купца Семибрюхова, у крылечка его поджидал востроносый репортеришка «Биржевых ведомостей». «Расскажите немного о себе, — попросил репортеришка. — Где вы учились искусству обустройства России? У кого?»

Широко шагая по Невской перспективе уверенным шагом, предок Дантеса ответил: «Ни у кого».

Востроносый едва попевал за ним. «Вы знаменитый в России мастер, — говорил он, задыхаясь. — Как называется ваша профессия?»

Предок остановился и лениво пожевал пополневшими губами.

«А хрен ее знает! — сказал он после некоторого молчания. — Лишь бы деньги платили».

«Хрен его знает» он сказал по-итальянски, а «Лишь бы деньги платили» — по-русски, так как уже начинал понемногу овладевать этим языком.

Английское слово *дизайнер* появилось лишь спустя два века...

Обычно мы перебивали нашего начальника после первого десятка слов. Да он больше за один раз старался и не говорить. Он нас боялся. Мы держали его в черном теле. С тех пор, как в страну пришла демократия, мы все время держали его в нем.

Но в тот раз мы слушали его, не роняя звуков. Продолжая повествование, Дантес рассказал, что в конце концов его предка пригласил к себе сам император — то ли Павел Первый, то ли еще его дед, — точных сведений у Дантеса не было. Приглашение от императора последовало уже после того, как предок обустроил жилища всех именитых граждан Петербурга.

Примчавшись во дворец, предок рухнул на колени. Он даже пытался поцеловать туфлю царя. Но тот, несмотря на восемнадцатый век, повел себя демократично: туфлю целовать не дал, поднял предка с пола, шутливо заметив: «В коленях правды нет», а затем уже серьезно спросил: «Сумеешь за неделю обустроить мой кабинет так, чтоб в нем витали одни только державные мысли? На-слышан я о тебе».

«О, ваше-с величество-с! — воскликнул предок. — Все державные мысли-с и так-с почитают за честь-с обитать в вашем-с кабинете-с». Недавно овладев русским языком, он злоупотреблял частицей «с» — как все неофиты, не зная чувства меры.

«Не имею резона тебя переубеждать,— усмехнулся император.— И так...»

«С превеликим-с удовольствием-с»,— прошептал в глубоком поклоне предок.

В тот же день он принялся за дело. Выбросил из кабинета изящное бюро с инкрустацией и поставил дубовый письменный стол со столешницей в ладонь. Кресла заменил стульями с прямыми спинками. Установил просторный книжный шкаф и велел принести из Эрмитажа настоящую этрусскую вазу. Стены облицевал орехом и спустил пониже люстру. Вместо штор повесил гобелены. Вместо картин, писанных маслом, — офорты. К субботе работа была закончена...

Перемены царя потрясли. Будь он обыкновенным графом или князем — прыгал бы от восторга, завоскличал бы: «Шарман! Шарман!»; являясь же царем, он позволил себе только снисходительно произнести: «Недурно... В казначействе вам выдадут вознаграждение...»

Раскланиваясь и бормоча: «Благодарю-с, благодарю-с...» — предок попятился к выходу. Он уже открывал задом дверь, когда царь, наведя на него лорнет, сказал: «Постой-ка... А не назначить ли тебя главным обустроителем всех императорских покоев?.. Мысль дельная. Эй, писарь!»

Тот мгновенно вбежал — с листком пергамента и с золотым пером из хвоста павлина. Пав на колено, он превратился в слух. «Выдана сия грамота... — продиктовал царь и повернул голову к предку Дантеса: — Фамилии тебе как будет?» «Данте-с», — дрожащим голосом произнес предок, и царь продолжил диктовку: «...обустроительных дел мастеру Дантесу в том...» — и так далее.

Снова кланяясь и бормоча: «Благодарю-с», предок Дантеса вышел из кабинета, и только уже на улице, сев на извозчика и поскакав в казначейство за обещанным вознаграждением, он развернул пергамент, подписанный царем и скрепленный августейшей печатью. «Выдана сия грамота, — каллиграфически выведено было, — обустроительных дел мастеру Дантесу...» «Какому такому Дантесу? — вскричал предок Дантеса так громко, что возница вздрогнул, а кони понесли. — Моя фамилия — Данте! Букву “с” я произнес, только следуя этой дурацкой российской манере выражать свою покорность и подобострастие добавлением ее куда ни попадя!»

43

У предка хватило ума не бежать тотчас же обратно к царю с просьбой документ переписать, но не хватило, чтоб отказаться от шанса, который неожиданно был предоставлен якобы благосклонным к нему случаем. А именно: и недели не прошло, как он был приглашен обустроить покои царицы и одним прекрасным утром вошел в них с целью предварительного осмотра. Он застал там, можно сказать, в домашней обстановке царя и царицу — в основном все же царя: царица из-под него только выглядывала. «Разрешите-с, Ваше-с Величество-с, обратиться...» — начал настырный предок, нижайше кланяясь. «Ты хочешь обратиться ко мне *сейчас*? — изумился царь. — Да я тебя, подлец, в лагерную пыль превращу, если немедленно не вылетишь отсюда пулей!»

Насмерть перепуганный предок Дантеса устремился к двери, но его остановили царский смех и восклицание: «Посмотри, ма шер, у нашего обустроителя даже затылок побелел от страха. Какой все ж пугливый народ эти французы!»

«Да не француз я! — горестно воскликнул предок Дантеса. — Итальянец, с вашего позволения! Это вы неправильно продиктовали...» «Какой же он макаронник, если фамилия у него лягушатника? — перестав его слушать, сказал царь царице, принимаясь жарко ее целовать. — И с августейшими особами спорит. Вылитый француз...»

Окончательно смирившись с добавлением к своей фамилии лишней буквы, первый в России дизайнер зажил припеваючи. Царскую грамоту он повесил в гостиной своего роскошного особняка, который вскорости выстроил; женился — пусть и не на княгине, а все ж на дворянской деве томной, с томиком Расина в руках, и пошли у них сначала — дети, потом — внуки, правнуки, праправну-

ки, более отдаленные потомки, и все, увы, с рождения уже Дантесы, Дантесы, Дантесы...

«А фактически мы Данте, — подвел итог своему рассказу Дантес. — Проклятая феодально-крепостническая лакейская частичка «с» прикипела к нашей фамилии совершенно случайно. Конечно, в нашу сегодняшнюю эпоху, когда интернационализм везде, особенно в нашем цехе, бурно расцветает, любое проявление национальной предвзятости смотрится крайне нехорошо, но если уж Пушкин французов не любит, лично я готов закрыть на это глаза. У меня вообще такая натура, что закрыть глаза могу абсолютно на все, кроме заказов из Аделии, Розалии и от короля Королевского архипелага. Передайте это Сашку...»

44

Казалось бы, дальнейшее развитие событий предугадать просто: узнав, что Дантес не француз, Пушкин сразу его полюбит, вернется в цех и наше процветание возобновится. Но с Сашком просто не бывает. Конечно, нашим сообщением он был ошарашен и побледнел так, что мы подумали: сейчас начнет говорить глупости — из-за кислородного голодания мозга.

Но Пушкин на то и Пушкин, чтоб даже при истощении мозга не превращаться в дурака. То, что от него, крайне бледного, мы услышали, было неглупо и пронизательно. «Почему вы ему сразу поверили? — спросил он, голос его был хрипл. — Итальяшкой прикинуться нехитро, пусть предъявит доказательства. Без них история с дизайнером — просто сказочка. Где грамота, выданная предку? Или хоть одно письмо какого-нибудь итальянского родственника, подписанное: *Данте*?..

Мы вернулись в цех и сказали Дантесу: гони доказательства. Он ответил: их у меня нету. «Как так — нету? — удивились мы. — А царская грамота? В ней хоть и написано *Дантес*, но все ж хоть узнаем, что твой предок у царя был. А письма? Мы же знаем, у итальянцев всегда полно родственников, они ж в Россию писали, беспокоясь: как там их ненаглядный *Данте* среди снегов и медведей?.. Они ж не знали, что к твоей фамилии привесили лакейскую букву «с»? Писали на конвертах: *Данте*? Где эти конверты? Их должно быть много. Итальянцы любят писать. Они болтливые. Мешок писем должен быть».

Дантес сгорбился, понурился, повесил нос. Вид у него был, как у вора, пойманного за руку. Нам всем захотелось по разу пальнуть в него из самопала.

Гнев вскипел в наших сердцах. «Твой предки не сохранили ни одного письма? — спросили мы. — Ври складней! Не было у тебя предка-итальянца, не было царский хором, им обустроенных! Красиво придумал, пытаясь уйти от пушкинской нелюбови! Гнусный ты лжец, враль и брехун! Все французы таковы! Взять хотя бы ваши фильмы — как вы там женщин обманываете, страшно смотреть! Клянетесь с честным видом: нет у меня любовницы, ах, что ты, милая! — бедные жены верят вам, а потом оказывается, что любовница все-таки есть, вас разоблачают, русский человек от стыда бы сгорел, а вам хоть бы что! «Ты меня всю жизнь обманывал!» — кричит жена вам в лицо, а вы в ответ улыбаетесь ей так нагло, что мы, русские люди, на сеансе прямо за голову хватаемся! Разве можно так? Надо повиниться, пасть на колени, назвать себя подлецом, негодяем, последней сволочью... Миллионы русских, просмотрев французские фильмы, поняли: нельзя верить ни одному ихнему слову! А мы, дураки, тебе сперва поверили благодаря нашему врожденному простодушию и мечте о победе нравственной чистоты даже в других нациях. Мы интернационалисты! А ты, курва, своей ложью пытаешься нас с этого пути столкнуть...»

«Да не лжец я», — сказал Дантес, точно так же, как раньше говорил, что не француз.

«Не лжец — тогда гони грамоту предка и письма родни!» — твердо гнули мы свою линию.

Дантес не выдержал, даже, можно сказать, заплакал. Не в голос, правда, а одной-единственной слезой. Нас это нисколько не размягчило, Москва, как из-

вестно, слезам не верит, но когда эта одинокая из угла глаза вдруг вытекла и, петляя, как заяц, побежала по щеке, мы угомонились и стали за ней следить.

45

Он ее не вытирал, не желая показывать нам, что знает о ней, он дал ей высохнуть, после чего заговорил вновь. Спросил: известно ли нам что-либо о так называемых большевиках? Об их ненависти к людям с непустыми карманами? К людям, которые помнят своих предков и без запинки могут назвать имя-отчество своего прадедушки? Которые отслеживают свой род и знают, где похоронен отец этого прадедушки и его братья? Размахивая маузерами, большевики врываются в квартиры побогаче и переворачивали все вверх дном. Находя ценные вещи, они запикивали их в большие революционные торбы, а находя документы, подписанные царями, вели на допрос, иногда от нетерпения расстреливая по дороге.

Ввиду таких обстоятельств семье Дантеса пришлось сжечь в железной печке-буржуйке и грамоту, выданную царем, и чековые книжки императорского банка. Письма родственников из Италии тогда не сжигали: большевики тех времен мечтали о мировой революции и к загранице относились с симпатией.

Но, слегка постарев, большевики переменяли акценты: к именитым в прошлом людям стали относиться терпимо, иногда даже с почтением, зато возненавидели за границу. Настолько, что за одно письмо из Африки, даже от безработного трубочиста, могли посадить в тюрьму, а из Европы или заокеанской Америки — расстрелять на месте. С конфискацией имущества. Пришлось сжечь и итальянские письма. К этому времени жить стало лучше и веселей: письма горели уже не в буржуйках, а в добротных, кирпичной кладки печках.

«Даже фотографии предка в нее бросили,— заключил свой рассказ Дантес.— Потому что на всех — он в шляпе. И, если всмотреться, в хорошей, дорогой. За такую шляпу на предке потомкам полагалась ссылка в Сибирь. Вы бы оставили такую фотографию?»

Мы сказали: «Прямо б на стенку повесили! Да мы б не просто сожгли, а предварительно мелко изорвали на почти микроскопические клочки».

«Мои родители разорвали еще мельче»,— признался Дантес.

«И наши — еще мельче»,— сказали мы.

46

Пушкин сказал: «Я догадывался, что доказательств у него нет. А значит, и сомнений в том, что он все выдумал, фактически быть не может. Однако они у меня есть. И хотя не фактические, все ж рубить сплеча погодим, надо разобраться. Такую скрупулезность мне подсказывает интуиция, а с ней ухо надо держать востро: она и обманет, не дорого возьмет, но в другой раз за мановение ока такую правду раскроет, до какой умом не докопаешься и за сто лет. Сейчас она мне говорит: разберись с Дантесом поглубже. Так что давайте, ребята, разберитесь с ним поглубже».

Возвращаясь обратно, мы гадали: с какой стороны это *поглубже* надо произвести? Умница Вяземский сказал: «Заметили, как Дантес на нас зыркнул, когда мы в адрес итальянцев кое о чем намекнули? Надо его протестировать и на отношение к французам. Пооскорбляв в его присутствии и тех и других, мы увидим, оскорбления в чей адрес вызывают у него большее желание дать в морду».

Мы заметили: «Может, он такой интернационалист, что и за папуаса перережет глотку?»

«Держи карман шире»,— сказал Вяземский.

47

Насчет папуасов возник спор. Некоторые утверждали, что чувство меры должно быть во всем, даже в интернационализме. Если и папуасов нельзя покри-

тиковать за их многовековую отсталость, то на какой прогресс человечества можно рассчитывать? Одними комплиментами общество развиваться не может.

Другие же говорили: «Если уж критиковать, то надо начинать не с папуасов, а с англичан, которые пытались задушить свободу еще только зарождающихся Соединенных Штатов Америки».

На следующее утро мы вошли в кабинет Дантеса почти всем цехом. Впереди, конечно, был Вяземский, он обмахивался газетой, будто ему жарко. В цехе действительно было жарко, но можно было бы обмахиваться чем-нибудь другим, например, ладонью, он же обмахивался газетой, так было задумано. Газета была непростая. И когда Дантес, как обычно, спросил, увеличились ли шансы на освобождение Пушкина, Вяземский сразу же умело перевел разговор именно на газету. «Бессмысленно заботиться о судьбе отдельной личности, когда над миром нависла глобальнейшая из опасностей,— сказал он и, перестав обмахиваться газетой, потряс ею в воздухе.— Читали ль вы?»

Все с заученной нестройностью стали говорить, что да, как же, читали, еще бы, ужасная неприятность и действительно глобальнейшая. Только Дантес сказал: «Не, не читал. А чё случилось?»

«А то,— сказал Вяземский мрачно и веско,— что эти проклятые французы развернули новый виток гонки вооружений. Взорвали на своем острове очередную атомную бомбу. Вот суки, не правда ли?»

Все мы вперили взоры в Дантеса.

«Безобразие, да и только,— отозвался тот, но нельзя сказать, чтоб очень от души.— Куда ООН смотрит?»

«Да ведь под землей же! — провокационно встали на защиту французов некоторые.— От такого взрыва никакой пыли, радиации кот заплакал... Почти безвредный взрыв».

Но Дантес на провокацию не поддался, сказал: все равно плохо, радиация под землей не останется, просочится в океан, будем есть рыбу, светящуюся, как голова младенца Иисуса...

Тогда мы перешли ко второй части испытания. «Подумаешь, немного поболеем,— сказали те, кому было положено это сказать.— Гораздо опаснее для человечества то, что творят итальянцы: правительства меняют по три раза на дню, Джордано Бруно сожгли, а с сицилийской мафией справиться не могут, на это у них кишка тонка. А между тем весь мир от этой мафии стонет...»

Дантес принял вид отчужденный. Его кабинет был набит нами битком, но он как-то умудрялся смотреть мимо всех.

«Эта нация вообще изнеженная и хилая,— продолжали провокацию те, кому было назначено ее продолжать.— В войну наши как лупанут могучим кулаком пехоты, враг бежит. Но немцы со второго удара могучего кулака задавали деру, а макаронники — с первого. Хлипкие на редкость. И трусы, каких мало: в крещенские морозы мочились, не расстегивая ширинку, боялись отморозить...»

У Дантеса желваки заходили на скулах еще при словах: *эта нация*. Услышав: *макаронники*, он побагровел. Когда же прозвучали обвинения в боязни отморозить член, он уже не смог себя сдерживать. Боже, как он стал орать! И что! Русские-де и лежебоки, и дикари, они еще беспробудно дрыхли, когда итальянцы, являясь древними римлянами, всю Европу держали в кулаке... Еще позавчера он отказывался хулить русских, сегодня же буквально втаптывал их в грязь. «Вы еще подтираться не научились,— орал,— а у нас уже был самый лучший в мире цирк! Мы и сейчас могли б кого угодно свернуть в бараний рог, да не хотим, потому что стали в высшей степени интеллигентными — настолько, что простой рабочий у нас может запросто затянуть в троллейбусе какую-нибудь арию Фигаро, с которой у вас не каждый заслуженный артист справляется. Особенно одно там место: ля-ля-ля, ля-а, ля-а-а... В этом последнем «а-а» первое «а» такое высокое, что, спорим, ни один из вас не возьмет, а я, хотите, возь-

му, так что не судите об итальянцах свысока, вы перед ними коротышки-недоростки...»

Нам очень обидно было слушать эту нахальную речь, но вместе с тем и радостно: ведь сомнений теперь не оставалось, Дантес — итальянец, когда Пушкин узнает, он обязательно поклянется больше в него не стрелять, а значит — выйдет на свободу, придет в цех, включит свой станок... Вот что главное!

Поэтому мы не стали бить Дантеса за оскорбление нашей национальной гордости и молча покинули его кабинет, сказав только от дверей: «А мы думали, ты интернационалист». «Я и есть интернационалист! — крикнул нам вслед Дантес. — Слава Богу, из самопала в вас не стрелял!»

49

Несмотря на очень позднее время, мы побежали обратно в психушку, вбежали в ее клубящийся мраком двор, — Пушкин смотрел на нас сверху вниз из овещенного окна второго этажа. «Все о'кей! — закричали мы ему. — Дантес — итальянец! И не абы какой — он итальянский националист!» «Ей-богу?» — спросил Пушкин, припадая к решетке. «Ей-богу, ей-богу!» — заверили мы его и принялись радостно танцевать, распевая во все горло нашу любимую неаполитанскую песню: «Но все ж, другого любя, знай, что твой образ вечно сияет мне у изголовья, знай, что душой стремлюсь к бывшему раю, что я сгораю горько-ою любо-вью!!!»

На последних словах мы стали радостно обниматься и хлопать друг друга по плечу, соревнуясь, кто сильнее ударит. Крики восторга и боли смешались.

Пушкин аплодировал нам из зарешеченного окна.

50

На пение и вопли вышел из психушки главврач. Он сказал: «Не хамствуйте. Вы, конечно, здесь свои люди, но и своим не все позволено. Уже за полночь».

Он провел нас внутрь здания, в палату богов и героев, где продолжал заниматься койку, по дороге сообщая, что на днях покупает себе квартиру.

«Фактически я ее уже купил, — сообщил он. — Вы спросите: на какие шиши? В ответ на этот вопрос я, как порядочный человек, должен был бы разрыдаться. Да, я продал! Ей! Череп! При этом я, как последний идиот, думал, что совершаю выгодную сделку: она отдала за него половину моих денег. Мне даже казалось, что я обдурил ее: подумаешь, череп! Но негодяйка тут же продала его, получив вдесятеро! Представьте, за границу! Она теперь Ротшильд. Скоро в стране не останется ни одной ценной вещи, иностранцы скупают все лучшее. Череп приобретен каким-то европейским музеем, где и станет экспонироваться под названием: «Череп большевика». Рядом с ним будет висеть в рамочке заключение экспертов. В том духе, что исключается вставление пули в лоб черепа каким-нибудь умельцем. Экспертизой установлено, что пуля выпущена из винтовки модели Мосина и подлетела ко лбу живого человека примерно в конце второго десятилетия двадцатого века со скоростью шестьсот — шестьсот пятьдесят метров в секунду и застряла в кости еще несколько десятилетий после этого прожившего человека...»

Когда мы вошли в кабинет, главврач сел за стол и строгим голосом сказал: «Слушаю вас».

51

Суть дела он понял не сразу. Ему десять раз было все изложено, но он только моргал вытаращенными глазами и бормотал: «Нельзя ли покороче и поясней?..»

На одиннадцатый раз он стал понимать, что из самопала, а затем и из револьвера Пушкин стрелял мотивированно; мотив, конечно, странноватый, но главное — он был. Пушкину не нравилась фамилия начцеха. Она его раздражала...

«Фамилия еврейская? — спросил главврач и совсем перестал что-либо понимать, узнав, что она французская. — Французов-то за что не любить?» — удивился он; за что не любить евреев, он знал.

Мы объяснили: да, есть у нашего друга такая странность: будучи в целом интернационалистом, готовым водить хороводы с любыми национальностями, он делает почему-то сильное исключение для французов. Эта нация выводит его из себя до такой степени, что едва зазвучит где-нибудь ихняя фамилия, как у него сразу же оружия ищет рука — самопала или револьвера. Однако теперь все переменялось, отныне его рука ничего огнестрельного искать не будет, потому что выяснилось: наш француз — вовсе и не француз, а итальянец, точнее, отдаленный потомок одного макаронника, приехавшего бог весть за чем из солнечного Неаполя в заснеженный Петербург. Пушкин о своей ошибке уже знает и готов на коленях извиняться перед начсеха, потому что итальянцев он как раз любит — причем настолько, что и здесь слегка нарушает свой интернационализм: вместо того чтоб любить их одинаково с остальными, он их любит больше всех...

«За что ж это он их так взлюбил?» — с подозрительностью спросил главврач.

Мы ответили: не знаем. Может, за оперу «Аида», а может, как раз и за макароны, — любовь штука тонкая, ее аршином общим не измеришь, вырастает она порой из совершеннейшего сора, а то и вообще из дерьма. Главврач с нами согласился, сказав: «Это точно. Моя любовь к жене как раз из него и выросла. Может, поэтому до сих пор никак не кончится. Вы можете мне не поверить, но я засыпаю с ее именем на устах».

«А просыпаетесь с каким?» — поинтересовались мы. «Разве здесь просыпаются? — с горечью сказал главврач. — Здесь будят. Едва заалеет восток, как в палату приходят медсестры и начинают делать уколы — кому в мозжечок, кому в затылочный полюс или в верхнюю теменную дольку... Вопли стоят такие, что и мертвый почувствует дискомфорт...»

Мы вернулись к разговору о Пушкине.

«Я не могу держать у себя человека, который знает, зачем стрелял, — сказал главврач. — Такому место в тюрьме. Но поскольку ваш Пушкин стрелял без пуль, то он обыкновенный хулиган, уже отсидевший у нас больше, чем ему дал бы самый строгий суд. Я сейчас выпишу ему освобождение. Забирайте. Или, может, пусть спокойно поспит до утра?»

«Какой может быть сон? — ответили мы. — Да он сейчас мечется в коридоре, ожидая вашего решения. Рвется на свободу, чтоб повалиться в ногах у начсеха за ошибочные действия».

«Это с его стороны будет очень правильный поступок», — сказал главврач и сел писать Пушкину освобождение...

И все же бюрократы из районного суда настояли на том, чтоб суд состоялся. Раз не псих, значит, подсудимый — такая у них была логика.

Мы опять протестовали против позорного судилища, стояли с плакатами: «Ой, как нам за вас стыдно, граждане судьи!» и «Прокурор, на кого ты замахнул своею грязною рукой?»

Но стояли недолго, суд кончился быстрее, чем можно было ожидать, и это благодаря толковому адвокату, которого мы наняли в долг. Он на суде сказал: «Даже если б Пушкин стрелял настоящей пулей и ранил или, чего доброго, убил бы своего непосредственного начальника, и то все равно стрельбу эту следовало бы квалифицировать как покушение на убийство негодными средствами. Потому что он думал бы, что покушается на француза, он хотел бы убить француза. Но ему бы это не удалось, так как перед ним стоял итальянец. И ребенку ясно, что стрельба по итальянцу с целью убить француза является классическим случаем покушения негодными средствами. То есть даже при наличии пули

Пушкин должен был бы избежать наказания. Ведь не станете же вы, граждане судьи, судить, тем более давать срок погрязшей в суевериях темной женщине, которая, выкрав у мужа фотографию его любовницы, обливает ее собственной мочой и бормочет над ней бессмысленные фразы, совершая таким образом магический обряд, который, по ее мнению, должен умертвить соперницу? Вы рассмеетесь, узнав о ее действиях, и, хотя эти действия имели целью убийство человека, отпустите ее, сказав: «Продолжай писать на любые фотографии, только, пожалуйста, мой руки перед едой». Вы так скажете ей, потому что, покушаясь на убийство, она делала это негодными средствами... Ну а разве покушение на жизнь француза стрельбой по итальянцу не является тем же самым? Ведь нет никакой возможности, стреляя в итальянца, покончить с ненавистным французом. Этот француз в не меньшей безопасности, чем соперница вышеупомянутой женщины. Таким образом, даже если бы самопал, а впоследствии и револьвер были заряжены пулей и эта пуля продырявила бы человека по национальности «итальянец», судить стрелявшего было бы нельзя, поскольку он думал, что стреляет во француза. А если еще учесть, что Пушкин из врожденного гуманизма стрелял без пули, что из ствола вылетел один только грохот, то есть, говоря языком великого Шекспира, было много шума из ничего и ничего, кроме этого ничего, не было, — если все это учесть, то... друзья мои, объясните: чего мы тут сидим? Двухзначное число неподкупных специалистов права собрались, чтоб обсудить неудачную шутку, не имевшую последствий. Страна коррумпирована, кругом жулики, рэкет, вымогательства, заказные убийства, ограбление банков и магазинов, а мы... Господа, давайте зальемся краской стыда и пойдем заниматься делом. Его много, и оно нас ждет!..»

Судьям действительно стало стыдно. Присутствовавшие в зале рассказывали, что сначала они, по совету адвоката, залились было краской стыда, но потом спохватились и стали говорить, что закон есть закон, перед ним все равны — и преступники, и законопослушные граждане, никто от возмездия не уйдет. Они быстро присудили Пушкину две недели подметания улиц, ну а поскольку повариха психушки поклялась на Библии, что он уже полгода моет на кухне посуду, суд счел возможным это время и занятие зачесть вместо назначенного, и Сашка прямо в зале суда освободили из-под стражи. Все кинулись обниматься — он к нам, мы к нему...

Трудно было сдерживать слезы.

Как известно, радость лучше всего трансформируется в крики «ура!» или в хорошую песню. «Ура!» мы накричались в зале заседания, а затем от здания суда до цеха шли, распевая хором такие народные романсы, как: «Выхожу один я на свободу», «Своею жизнью я почти доволен», «Все поделники по-прежнему сидят» и популярный в том году марш: «Шагом арш!»

В цехе состоялось торжественное целование Пушкина с Дантесом. Им налили. Чокаясь, Сашок произнес: «За тебя, макаронник!», на что Дантес ответил: «Будь здоров, угрофинушка!» — и оба засмеялись, что развеяло последние опасения. Мы поняли, что конфликтов в нашем коллективе больше не будет.

Смешно, но факт: когда на следующее утро Пушкин выточил первый долгожданный винтик, он у него получился обыкновенным. Мы испугались, однако, скрыв страх, сказали весело: «Это с перепоею». Нисколько не расстроившись неудачей, Пушкин ответил: «Просто руки отвыкли от настоящего дела» — и стал разминать пальцы, шевелить ими, но не как мы все это делаем, а как-то по-крабьи, вернее, по-осьминожьей, словом, так, будто каждая его рука — маленький спрут, — очень странно он шевелил пальцами. А дело было уже осенью, пусть еще в самом ее начале, однако день уже сильно укоротился и утро было почти как ночь, а тут еще в городе объявили борьбу за экономию электроэнергии, которой в стране становилось все меньше, — накануне к нам в цех приходила специальная комиссия во главе с вооруженным человеком, половину лампо-

чек они вывинтили, причем и ту, которая хорошо горела, так что неперегоревших осталось совсем мало, в цехе был мрак, конечно, не такой, о каком говорят: хоть глаз выколи,— все-таки слегка видно было, но почти совсем ничего, лишь тени да силуэты. И вот в этой, нельзя сказать, чтоб крошечной, но все ж тьме Пушкин шевелил пальцами, и они у него засветились. Не скажу, чтоб сильно, но неземным сиреневым светом... Потом он засмеялся, и руки его погасли. Он сказал: «Ну-ка, посветите мне...». Мы зажгли ему свечку, и он выточил второй винтик. На что уж мужественный человек Вяземский, но у него руки дрожали, когда он этот винтик стал ввинчивать. И тут напряженное молчание разрядилось громом аплодисментов: винтик ввинчивался не в ту сторону, в какую Вяземский его ввинчивал! Совсем немного времени понадобилось Пушкину, чтоб восстановить прежнее умение!

Не дожидаясь конца аплодисментов, толстячок убежал в кабинет и отшлепал королю Королевского архипелага факс: «Приступаем к выполнению вашего заказа. Задержка была вызвана серьезными внутривулканическими помехами, уже устраненными. Шлите аванс».

Узнав, что он не теряет времени даром и что из нашего цеха в эфир полетели слова: «Шлите аванс», мы поаплодировали и ему.

Это был забываемый день, когда цех то и дело взрывался аплодисментами. Был праздник.

54

Но, к сожалению, новая жизнь всегда начинается не сразу после того, как ее наступление отпраздновали. Таков мировой закон: сначала люди радуются победе, потом им становится хуже прежнего, они кричат: «На кой мы побеждали?», но потом все ж наступает хорошая жизнь. Люди говорят: «Вот сейчас бы победу и праздновать». Но, увы, она уже отпразднована накануне черных дней. Этот закон можно формулировать и другими словами: новое всегда наступает гораздо позже, чем его наступление провозглашают. Есть еще и третья формулировка: за новое часто принимают разрушение старого. Люди разваливают осточертевший дом, в котором долго мучились, так как он насквозь прогнил, и на развалинах начинают радостно плясать и пить шампанское. А протрезвев, видят: над головой вообще никакой крыши. И говорят: «Давайте сначала построим новый дом и только после этого устроим праздник». Но поздно, бутылки уже пустые.

И наконец есть четвертая формулировка: не кричи «Гоп!», пока не перепрыгнешь. Эту формулировку дает нам народная мудрость.

А один поэт сказал на этот счет так: пока ветвь в цвету, она тянется вверх — это ее дар Богу; подождите, пока, отягощенная плодами, она не склонится к земле — это уже нам, людям...

55

Начались огорчения, которых мы не предвидели. Бывшие заказчики не сразу понимали, о чем толстячок ведет с ними речь. Спикер Аделии, например, послал толстячка подальше русским матом, поскольку учился когда-то в университете имени Лумумбы, после чего объяснил, что выдает дочку замуж и поэтому просит в ближайшие полтора-два месяца его не беспокоить... Император Розалии, как сообщила его секретарша, уехал в Европу с чемоманом героина и вернется, как только толкнет его по приемлемой цене... А король Королевского архипелага вообще был свергнут и к власти пришло Братство Великого Любвеобильства, которому хитроумные винтики и даром не нужны, поскольку оно порвало с технотронной цивилизацией и занято построением общества, в котором каждый каждому не только друг, товарищ и брат, но еще и отец, и сын и где за недоброжелательный взгляд кого бы то ни было в сторону кого бы то ни было — четвергуют, чтоб другим было неповадно не любить друг друга...

К счастью, в соответствии с вышеописанным законом неудачи не тянулись вечно. У толстячка уже щеки опали и едва ворочался во рту язык, когда, наконец, обзванивая земной шар, он нашел тех, кому винты, завинчивающиеся не в ту сторону, в какую их завинчивают, нужны. Императорствующий архимандрит Амалии и вице-президент Корнелии, исполняющий обязанности уехавшего в Кэмбридж сдавать экзамены за второй курс президента, в один голос воскликнули: «Позарез нужны! Срочно шлите! Аванс потом!», на что воспрянувший толстячок, демонстрируя неожиданно прекрасную дикцию, закричал: «Потом? Аванс *потом* не бывает! — опухоль с его натруженного языка как-то мгновенно спала. — Кто это вам без предоплаты, интересно, за станок встанет, Пушкин, что ли? Как раз Пушкин предоплату и требует. Если же сегодня ее не вышлете, а мы завтра не получим — вычеркнем из списка клиентов!»

Самоуверенный тон возымел действие. На том конце проводов перепугались и в один голос закричали: «Случайно сорвавшееся с нашего языка *потом* — недоразумение! Через час предоплату отправим! Может, даже через сорок минут!»

Назавтра аванс пришел. Недельку мы праздновали. Но потом засучили рукава. Работали запоем. Бывало, по восемнадцать часов не покладали рук. Одни отливали из гадолина заготовки, другие приваривали сбоку штуковину из орихалка, третьи — обтачивали, четвертые — полировали...

После всего этого, так сказать, полуфабрикат поступал к Пушкину. И он священнодействовал: нарезал резьбу. Мы сначала посадили наших девчонок — Наташку, Аньку и бабку Арину на контроль: каждый винтик завинчивать и отвинчивать, проверяя качество, но Пушкин работал без брака, и мы вскоре контроль сняли. А чтоб чем-то девчонок занять, велели им разносить нам бутерброды. Ведь даже сходить пообедать у нас не было времени!..

Какие-то неизвестные государства стали присылать просьбы делать винты и для них, но мы отвечали: «Ввиду загруженности, новых заказов не принимаем». Только если какой-нибудь президент или король, изложив просьбу, добавлял: «Заранее благодарен», мы, вздохнув, решали: этому сделаем, так и быть.

Как-то неловко было: человек уже поблагодарил, а мы откажемся. Его благодарность у нас останется, абсолютно ни за что выраженная. Нет ничего хуже. Благодарность, видимо, вообще единственное, чего нельзя вернуть.

Питание мы могли себе позволить какое угодно. Девушки сначала носили нам бутерброды с икрой разных цветов, потом бабка Арина умудрилась где-то купить дюжину пакетиков черепахового супа. Он нам понравился так, что мы выписали из Австралии самых дорогих черепах живьем. Из французской поваренной книги, со словарем в руках, перевели рецепт их приготовления и стали объедаться черепаховым супом, он нам не надоедал.

Кто-то из великих философов, может, даже сам Карл Маркс, писал, что, как только у человека появляются деньги, первое, что он себе на них позволяет, — это аристократические привычки. Первые ласточки этих привычек у нас появились в виде черепахового супа, без него мы уже не завтракали, не обедали и не ужинали.

А черепах держали прямо в цехе. Разбросали по полу ихнюю еду, и они стали среди нас ползать. То одну, то другую — прямо живьем — отправляли в суп. Думали, через месяц-полтора придется заказывать новую партию, но тут бабка Арина как-то сказала: «Их стало больше, чем было».

Опираясь на науку, мы ей возразили: «Закон сохранения веществ таких факторов не позволяет. Число черепах должно уменьшаться в соответствии с нашим их поеданием».

Бабка Арина ответила: «Удивительно, что вам, уже кое-где седоватым, до сих пор доступна только научная логика. Неужели вы не замечали, что они, повеселев на хороших харчах, только то и делают, что вокруг нас трахаются, причем новорожденные растут раз в сто быстрее, чем на воле, видно, в цехе у нас особая атмосфера или радиация, хотя дело может быть только в одном сытном питании».

Глянув окрест, мы прямо ахнули: действительно, все черепахи друг на друга сидят и панцирями ударяются с такой страстью, что в цехе грохот стоит, — мы думали, он производственный. Эта черепашья сексуальность так нас потрясла, что мы сказали бабке Арине: «Не смей больше бросать их в суп живыми, сначала безболезненно умерщвляй». Бабка Арина возразила: мол, черепахи такие слаборазвитые существа, что своих мучений в кипятке не осознают.

Тут у нас возник серьезный философский диспут, мы даже временно бросили работу. Некоторые соглашались с бабкой Ариной и на возражение: «Глядите, с каким наслаждением они занимаются любовью, им это дело нравится, они его осознают» отвечали: «Чтоб осознавать что-либо, надо иметь мозгов граммов хоть сто пятьдесят, а у них даже и на кончик ножа не наберется. У нас, у людей, мозгов почти по полтора кило на каждого, оттого мы так глубоко ощущаем и радость, и горе. А они — их хоть жарь живьем, хоть пеки — мучаются, а того не ощущают».

Нам такая диспозиция не нравилась, а им не нравилась наша, и мы бы проспорили вообще весь день, если бы умница Вяземский не сказал: «Где-то мною очень давно читано, что когда мучается существо, которое способно свои мучения осознавать, то оно мучается, и дело с концом. А когда мучается тот, кто осознать не может, — зародыш, которого выскребают, та же черепаха, когда ее живьем варят, то осознавать их муки вынужден Бог, он вместо них мучается, так что, выходит, бабка Арина здорово поиздевалась над Отцом нашим Небесным, он каждый раз стонал и корчился, когда она черепаху бросала в суп...»

Бабка Арина, услышав такое обвинение, закричала: «Как что — так сразу! Жрать черепаховый суп все горазды, а отдуваться одной мне? Я человек темный, с меня взятки гладки, а ты, Вяземский, техникум в свое время кончил, такой у нас начинанный, с тебя Бог и спросит!» «Я к тебе, бабка, небом, что ли, представлен? — возмущенный несправедливым упреком, крикнул Вяземский. — Я по восемнадцать часов в сутки вкальваю, мне еще и за твоими грехами следить?»

Постановили: вина общая. Пусть Господь Бог не одного кого-то сильно накажет, допустим, бабку Арину, а разделит на всех.

Каждому выйдет понемногу, мы стерпим.

Они любили тепло. Стоило кому-нибудь вздремнуть возле станка, как три-четыре ближайшие черепахи тут же на него взбирались погреться. Но это ладно еще. Они и к ногам стоящих льнули, лишая возможности не только ходить, но и даже переминуться с ноги на ногу. Настоящий черепаший потоп!

На очередном цеховом собрании Вяземский этот вопрос поставил, как говорит, ребром: житья от черепах нет, проходу — тем более, из-за них начинает падать производительность труда: чтоб от одного станка дойти до другого, раньше требовались считанные секунды, теперь же — считанные минуты; участились мелкие производственные травмы от падений, если не примем мер — доживем и до крупных... Он предложил сделать для черепах к цеху пристройку. Наймем строителей, за неделю они пристройку сварганят. «За срочность доплатим, — сказал он. — Денег у нас навалом...»

Все его поддержали, говоря, что на такое хорошее дело такого пустяка, как деньги, не жалко. Особенно радовался Пушкин: как раз в тот день он, упавши на черепаху, получил сразу две травмы — синяк на колене и шишку на лбу от уда-

ра о панцирь. «Ай да Вяземский! — закричал он. — Ай да сукин сын! Идеями полна твоя голова, умница ты наш!»

И все остальные одобрительно зашумели в адрес Вяземского, кроме Дантеса, который, подождав, пока утихнут восторги, взобрался на станину кузнечно-го прессы и произнес оттуда слова, которые сначала показались нам непонятными, а потом круто повернули всю дальнейшую жизнь.

«Забудем о пристройке, — сказал он. — Ее же неделю строить — значит, семь дней еще ходить среди черепак. И не строить — те же семь дней...»

Некоторое время мы пытались понять смысл услышанного, потом Пушкин сказал: «Не знаю, может, в вашей Италии принято выражаться туманно и вообще корчить из себя идиота, который не умеет формулировать простейшие мысли, но сейчас ты живешь в самой середке России, так что изволь, говори конкретно. Что там у тебя на уме?»

«А то у меня на нем, — сказал Дантес, — что гадолия на складе осталось в аккурат на неделю. На тот же срок и орихалка. Так что наш ударный труд подходит к концу. Сырье вот-вот исчерпается, и мы разойдемся по домам. В свете данного факта пристройка для черепак нам не нужна».

Мы сказали: действительно. В свете данного факта пристройка к цеху не актуальна...

Даже умница Вяземский не нашел, что сказать еще...

59

Через неделю, когда чудесный сплав орихалк и редкоземельный металл гадолиний на складе действительно кончились, мы, отправив адресатам последние ящики с винтиками, собрались на срочное и очень важное цеховое собрание. Надо было найти ответ на вопрос: почему мы не рады тому, что наша каторжная работа завершена, что на ней крест? Неужели мы хотим еще денег, в которых и так могли бы купаться, если б они были жидкими?

Собрание началось с недоразумения. Когда Вяземский, открывая его, заявил: «Денег каждый из нас заработал достаточно, чтоб о них не думать...», его перебил Дельвиг, возмущенно воскликнувший: «Что за привычка у тебя, Петро, говорить от имени всех? Ты уже не в первый раз попадаешь из-за этого впросак. Вот и сейчас в него попал: не у всех из нас денег полные штаны, кое-кто, в силу каких-то личных обстоятельств, все свои деньги растратил и уже в них сильно нуждается. К примеру, Кукольник третий день подряд занимает у меня по тройку — на троллейбус, на то, на сё... Так что, как ни странно, бедные среди нас есть, и они, вопреки твоему самоуверенному заявлению, Петро, вынуждены о деньгах думать».

Все повернулись к Кукольнику, стали его с интересом разглядывать, говоря: «Ты не печалься, мы скинемся, и ты станешь опять таким же миллионером, как мы. Но все ж интересно, в какую прорву ты свои астрономические суммы ухнул, что уже и на троллейбус не хватает?»

Кукольник сказал: «Никуда я их не ухнул и совсем не бедный, каким здесь хочет представить меня, не знаю зачем, Дельвиг. По капиталам своим я не бедней вашего, а деньги у Антона брал займы потому, что все свои закинул в ящик старинного письменного стола. Так плотно я их туда набил, что закрыться ящик с трудом все ж закрылся, а вот открываться перестал. Объясняется такое явление, я думаю, тем, что умятые мною деньги там встопорчились, можно сказать, разбухли, став как бы пробкой, которая заклинила всякое движение. Конечно, ящик нетрудно выломать ломом, но жалко стола, он у меня от прапрапрадеда, не знаю, нужно ли количество «пра» у меня произнеслось, я не считал. Ему, этому прапра, стол делал выдающийся крепостной умелец — по французским чертежам из африканского дерева... Есть предание, будто мой предок за ним что-то вроде стихов писал, может, даже статьи в газету, ломать такой стол жалко...»

«И что ж будешь делать дальше? — спросили мы его. — Так всю жизнь на шее Дельвига и просидишь?»

«Зачем всю? — возразил Кукольник. — Я в Комитет госбезопасности обратился, у них там есть отдел по открыванию всего на свете, они мне за большие деньги классного выделили специалиста, он стол осмотрел, сказал, что завтра откроет, не повредив».

«Как же он сможет его не повредить?» — поинтересовались мы, нам было интересно. «Поскольку стол старинный, он щелястый, — сказал Кукольник. — Специалист нашел такое решение: через всякие щелки и трещинки он насыплет в ящик сверху железных опилок, а потом под столом включит мощный электромагнит. Опилки к магниту притянутся и встопорщившиеся купюры собой прижмут. И ящик легко откроется».

«Башковитый, подлец! — восхитились мы специалистом. — Недаром свой хлеб в кагэбэ ест».

Так разрешилось это недоразумение с Кукольником, которого чуть было не приняли за бедняка, потому что он у Дельвига занимал на троллейбус. И мы перешли, точнее вернулись, к главному вопросу: хорошо ли, что сырье закончилось и работа остановилась, или плохо? Если плохо, то что предпринять, чтоб работу возобновить, если же хорошо, то давайте поаплодируем друг другу, троекратно расцелуемся и разойдемся на отдых, мы его заслужили.

Из всех собраний, какие у нас были, это получилось самым бестолковым. Потому что мнения разделились не так, что одни имели одно, другие — другое, а так, что у всех было и то, и другое, но каждое лишь отчасти. То есть не мы разделились на два лагеря, а каждый из нас разделился внутри себя. Кто был рад, тот в то же время был и не рад. К консенсусу при таком раскладе прийти фактически невозможно.

Да, говорили мы, с одной стороны, это огромное облегчение, что не надо больше вкалывать днем и ночью, спя урывками на ветоши, а по тебе ползают черепахи. Мы же света белого не видели, от хронического недосыпа у всех набрякли под глазами мешки. Наши женщины, непрерывно готовя и разнося черепеховый суп, то и дело падали от переутомления в обмороки. Конечно, огромное счастье с такой жизнью покончить, уехать куда-нибудь на Фолклендские острова, где утречком можно лениво выйти в шелковом халате к подножию океана и, сбросив с себя шелка, отдаться ласковым волнам в чем мать родила... И стыдиться наготы не перед кем: пляж пуст, он же личный, вот что главное, индивидуальный, купленный за свои кровные, никого на нем нет — скачи голышом, как конь на лугу...

Но с другой стороны — это ж абсолютная потеря смысла жизни: ликвидация коллективности существования! С кем поделиться радостью, когда не с кем? Да и откуда радость возьмется, если вокруг никого?..

Разрываемые противоположными чувствами: вернуться на попроще производства дуршлагов или предаться неге на Фолклендских островах, мы затянули собрание до утра. Не осталось ни одного члена коллектива, который выступил бы менее двух раз. И если в первом выступлении он говорил: давайте предадимся неге, то во втором: вернемся к счастью коллективного труда. Настолько раздираем противоречиями был каждый.

Вряд ли мы б сумели прийти к согласию, если б не взял слово умница Вяземский. Он рассудил на удивление просто и понятно. «Мы должны избрать негу, — сказал он. — Не потому, что она доставляет больше блаженства, чем коллективный каторжный труд, — нет, она его больше не доставляет. А потому, что такая разновидность блаженства — изнеженно извиваться голым телом в солнечный день на собственном пляже — нами еще не испытана. Не зная же, как сравнивать и выбирать? Давайте сначала испытаем негу — год, полтора, а для верности лучше так вообще целую пятилетку, и уже после этого каждый примет решение. Одни останутся извивать, лежа рядом с океаном, другие предпочтут счастье каторжного труда. Выбор будет сделан со знанием и того, и другого. А сейчас — негу мы видели только в кино, да и то давным-давно, в последнее время про негу фильмов что-то нет, все про один труд...»

Все с этим согласились. Крепко обнялись, расцеловались и разошлись, договорившись: не вынесшие негу вернуться в цех ровно через пять лет и сразу станут делать дуршлага. А кому нега придется по душе, тот пришлет вернувшимся открытку — с видом своего пляжа и приветствием любителям труда...

Женщины не поехали — ни одна. Наташку Пушкин с собой звал, она отказалась. Мы спрашивали: неужели родина тебе дороже Пушкина? Она ответила: «Заткнитесь насчет родины. Просто Пушкин меня там бросит. Что, я не видела в кино ихних телок? Они меня за пояс заткнут в первую же неделю».

Анька не поехала тоже не из-за родины. У нее уже третий год как роман с одним военным летчиком. Они виделись только однажды, у обоих — любовь с первого взгляда, он ей пишет из своей части: «Как выйду на пенсию, так приеду и поженимся». Он летает на таких самолетах, с каких на пенсию отправляют во цвете лет. Летчик еще не успеет разлетаться, а его уже списывают, хотя ему не хочется. Но если он говорит: «С какой стати? Я хочу летать еще!» — ему отвечают: «Ишь какой летун выискался! Ты на свои руки глянь, они же трясутся». Он смотрит: действительно, трясутся. А если не трясутся и он им с возмущением возражает: мол, не трясутся, они спрашивают: «А ноги?» Он смотрит: трясутся ноги. Такие это самолеты. Суперсверхскоростные.

Но в остальном эти списанные летчики еще молодцы и мечтают о семье. Анькин жених только и пишет ей: «Скоро поженимся! Мне всего год остался. С радостью замечаю, что левая нога уже иногда подтрясывается. Конечно, жалко будет расставаться с любимой профессией, но горечь предстоящей разлуки с небом скрашивает радость предстоящей жизни с тобой на Земле. Когда я смотрю на нее с высоты своего суперсверхптичьего полета, то люди для меня что микроорганизмы — и те, и другие невидимы невооруженным глазом, необходима специальная оптика. Но я не проникаю к людям презрением из-за их малости, а, наоборот, думаю: среди этих микроорганизмов живет мой любимый микроорганизм, это ты. Такое сравнение с микроорганизмом тебе не обидно?»

Анька ему на это пишет: «Как я могу обижаться, если сама называю тебя вирусом, потому что с Земли не только тебя не видно, но и даже твой большой самолет, а специальной оптики у нас в цехе нет...»

А бабка Арина не поехала потому, что сдуру купила себе в деревне избу и теперь погрязла в грядках на приусадебном участке. Когда мы ее спросили, не хочет ли она покинуть родину, она ответила, что с удовольствием бы, но некогда: то вскапывать надо, то окучивать, то солить и квасить. Большую часть заработанных денег она отдала племяннику, он на них купил завод по производству орбитальных бензоколонок и теперь процветает. Довольно часто его можно видеть по телевизору. Стоит он, как правило, где-нибудь в сторонке, к объективу не льнет, но когда мимо проходят президент или премьер-министр, то всегда замедляют шаг, чтобы пожать ему на ходу руку...

И я остался. Как раз из-за родины. Но не потому, что она мне мать или жена, как многие о ней неправильно говорят: ведь от матерей, когда вырастают, всегда уходят, а от жен — вообще бегут... Просто я к ней привык.

Взять, например, мою квартиру. Сейчас такие времена, что вечером то и дело гаснет свет, иногда надолго. Так вот мне это, как говорится, без разницы — что он есть, что нет. Я уже сто лет живу в этих комнатах и так хорошо чувствую все их изгибы, что в абсолютной темноте иду на кухню, безошибочно беру сковородку, беру из ящика вилку и безошибочно уплетаю то, что на сковородке, не хуже, чем при свете. А то еще иду с этой сковородкой в гостиную и плюхаюсь в кресло. Ни вилки мимо рта не пронесу, ни мимо кресла задницу. Знакомые мне говорят: ты ж разбогател, купи шикарную квартиру! Я отвечаю: у меня нет в запасе лишних ста лет. Они не понимают, о чем это я, я же и не разъясняю, что в новой квартире мне понадобится целый век, чтоб приспособиться так вольно ходить по ней без света. Какой бы распрекрасной она ни была, если при выключенном свете в ней набиваешь синяки, увольте, я обойдусь...

С родиной то же самое. Я знаю все ее изгибы и закоулки, мне озираться нужды нет, все, что вокруг, я нутром чую. Мне на родине, таким образом, и темнота не страшна, а у нас ведь темно почти всегда, вспышки света редки и краткосрочны: пока щуришься, жмуришься, кривишься от рези в глазах, словом, пока к свету привыкаешь, он гаснет, — порой даже хочется сказать: слава Богу...

В общем, остался я на родине. Но живу большую часть времени не на ней. Где — не скажу. Да и многим ли это интересно?..

О большинстве разъехавшихся сведений я пока не имею. Где они? Каких островов накупили? Скучают ли по каторжному коллективному труду?.. Единственные, о ком у меня есть более или менее обширная информация, — это Пушкин, Дантес и, конечно, Вяземский. Последний — в Америке. Но не живет в ней, а частенько в нее наезжает. Сначала, несмотря на свой ум, а отчасти и благодаря ему, разорился: купил на все деньги каких-то хваленых акций, а потом оказалось, что за право их выкинуть надо еще доплатить. Некоторое время бедствовал, потом, чтоб выжить, открыл в Сан-Франциско годичную платную школу русского мата. Но учащимся объявил: чтоб понять русский мат во всех его тонкостях и на всю глубину, мало изучить русский язык. Необходимо овладеть также основами лингвистики, истории, психологии, математики, атомной физики и квантовой механики... Курс обучения постепенно увеличился до трех лет. Особо дотошные студенты накануне выпуска все ж спохватываются: а где ж мат? Им отвечают: не в мате русское счастье, но если вам так уж хочется этот позор России посмаковать, то, пожалуйста, можем ввести четвертый год обучения...

Словом, дело цветет. Умница Вяземский так хорошо его поставил, что выпускников расхватывают самые престижные фирмы, настолько высоко ценится диплом школы. Называется она: «Альма мат». Американцы любят короткие слова.

Дантес тоже уехал не на острова, а — этого можно было ожидать — в Италию. И первое, что сделал — подал в суд ходатайство о возвращении первоначальной фамилии. В архивах Венеции ему удалось найти убедительные документы — и переименование состоялось: он теперь *Данте*. Купил дворец семнадцатого века — нижняя ступенька центрального входа плещется в водах канала; придумал себе герб — отлитый из бронзы венецианскими мастерами, он красуется над парадной дверью его дворца. Там всего намешано: и венецианская гондола, и российский сугроб. А посреди — двуглавый орел, перерисованный с царского герба: одной головой он смотрит на гондолу, другой — на сугроб. А в лапах держит — в левой: винтик из гадолина с орихалком, в правой — самопал...

Самое интересное: в этом дворце у Дантеса живет Пушкин! Сначала Сашок уехал в Африку, где пробуждал добрые чувства у воюющих племен, но, получив сообщение, что Дантес теперь официально *Данте*, помчался к нему. Их теперь не разольешь водой, которой, кстати, в таком количестве, как в Венеции, нигде нет. Ночами, рассказывают, они катаются по каналу на турбовинтовой личной гондоле и, попивая кьянти, распевают песни — Пушкин неаполитанскую: «В легкой лодке на лагуне поплыву я в свете лунном...», а Данте: «Боже, царя храни...» Он ударился в религию, регулярно посещает церковь и жертвует большие деньги монахам, чтоб они упрасивали в своих молитвах Господа Бога принять, в виде исключения, в рай одного атеиста... Сашка...

Никуда не уехал и вовсю процветает толстячок. Покидая цех, мы подарили ему всех оставшихся черепаха, и он, заключив договор с главврачом, переселил их в психушку. И она теперь черепахами кишит. Толстячок с главврачом развернули мощное производство, выпускают черепаховую тушенку, черепаховую колбасу, пакетики с черепаховым супом; открыли в городе ресторан, где фирменное блюдо — шашлык из черепашины. А из панцирей делают оправы для очков, портсигары, мундштуки и даже дуршлаг. Вся их продукция украшена уже ставшим знаменитым фирменным знаком: на древнеегипетском блюде черп с пулей во лбу...

Разбогатели они сказочно. Кабинет устроили себе просто царский: весь в коврах и компьютерах. С потолка свисает люстра из горного хрусталя. А над их общим письменным столом мореного дуба — два портрета. Большой — Пушкина, снятый с заводской Доски почета, и маленький — Вяземского, с советского паспорта. Но оба — в золоченых рамах из красного дерева.

Однако важнее всего следующее: в нашей психушке теперь самый высокий по стране процент выздоравливаемости психов. Главврач больше не впрыскивает им в мозги отвары растительного происхождения, а просто заставляет вкалывать по двенадцать часов в сутки. Профсоюзы пытались подать на него в суд за нарушение конституции, по которой рабочий день в стране — восьмичасовой. Но он заявил судьям: у меня не рабочий день, а трудотерапия. Собираюсь прописать некоторым четырнадцатичасовой, кое-кому двенадцати мало...

Выходит, это все-таки действительно великолепная штука — каторжный коллективный труд. Мало того, что набивает карманы, так еще и лечит. Я это испытал на себе: первое время после нашего распада ничем не занимался и стал заболевать: то одним, то другим, то третьим. Но как только энергично взялся за дела — все болячки как рукой сняло.

А когда еще стал писать эти мемуары, так вообще взбодрился почти до неприличия. Например, не могу идти по улице, не насвистывая во всю глотку марш из Шестой симфонии Чайковского. А вчера для потехи погнался за чужой кошкой. Два квартала бежал, не отставая, пока она в чью-то форточку не выпрыгнула, — даже не запыхался...

Кстати, о нашей кошке — бывшей цеховой. Пятилетка, отведенная на испытание негой, истекает, и кошка, живущая теперь у толстячка с главврачом среди черепах и психов, по-моему, это чувствует. С позавчерашнего дня повадилась пробираться в кабинет и выть перед портретами. От ее воя у черепах падает рождаемость, а у психов — производительность труда, толстячок с главврачом бегают за кошкой буквально с метлой, гонят прочь, но она все равно прокрадывается и воет.

Наташка-крановщица говорит, что это к добру.



Шелковый путь

Базар

И здесь, среди этой грязи,
любовь моя прикрывает колени
и прячет грудь.
Где таинственные цветные краски?
Их съедают мечты и ночи.
А что остается дню?
Грубая татуировка
«Не забуду мать родную».
Ладно, пусть она умирает.
Тут, на этой культиянке,
ей уже стоит памятник,
как неизвестному солдату,
и горит в груди обреченного сына
невечный огонь
его больного сердца.

* * *

Моль мою надежду гложет,
все насытиться не может.
Я, похоже, тоже моль:
все вымаливаю радость,
все высматриваю Бога.

— Погляди,— кричу я небу,—
жизнь изъедена до дыр.
Но намылывает рожу
время мне, как Мойдодыр.

Все равно не быть мне чистой.
Не бывает, чтоб отчасти.
Кто-то плюнет и смешает
свою злобу с моим счастьем.
Жизнь изъедена до дыр,
жизнь низведена к нулю.
Бог мой, я ли не люблю?

Залатай мои прорехи,
золотой мой, для потехи
ты не выставляй меня.
Все же я тебе родня
дальняя. И пусть, и пусть,
я тебе еще сгожусь.

Жаль покусанную жизнь.
Ни за что ее не брошу,
вынянчу от сего дня,
потому что ты, хороший,
поплохеешь без меня.

* * *

Любите этот мир,
и он полюбит вас.
Отдайте ему жизнь —
он примет скромный дар.
Проглотит, как пирог,
и, вкус не ощутив,
с любовью отойдет
к соседнему столу.

* * *

Душа так увязла в теле,
точно муха в варенье.
Нужно ли мухе варенье?
Зачем эта сладкая смерть?
Только душа живая
в теле не застывает.
Только душа живая
рвется из сладких пут,
жаждет горькой свободы,
в черное небо стремится
и поджигает тело,
чтобы освободиться.
И взлетает со славою,
страх не беря в расчет,
и горячею лавою
дикое тело течет
и покрывает пеплом
мир без того пустой.
Вдруг... эта старая песня
и мотивчик простой.
Может быть, наважденье:
душевное ликование
и приближение
нового заточенья.

* * *

Белою быть — значит быть несвободной
от страха пред липкой смолою.
Белою быть, как актрисою быть крепостною.
Страстной в коробке хозяйского дома,
в своей оболочке.
Плавной, послушной, легко обходящей
ухабы и кочки.
Белою...
жить, опасаясь и дня, и луны.

Белою...
жить, не касаясь огня и войны.
Мягко ступать, а не бегать
галопом, рысцою,
лошадью, кошкой, вороной, овцою.
Лапкою белой играть
и, пух лебединый роняя,
мир устранять,
себя от него отстраняя.
Черной любви дожидаясь,
как пиковой масти.
Что говорить, даже Дафнис
не выдержал страсти.
Прыгнул в свободу,
а там ни любви, ни печали.
Черные волны его
белой пеной венчали.
Тихо качали,
бесстрастно и мирно сопели.
— Ты в колыбели,
ты в белой своей колыбели.

Отчаяние

Мой мир, составленный из мин,
и нет дорог, и нет равнин.
Неизворотливая я,
тяжеловесна для житья.
Не мина ли сама Земля —
планета — родина моя.
Она мое, а я ее
потенциальное сырье.
Взрываюсь, будоража ад,
взлетаю, как аэростат,
и разлетаюсь на куски
бездумья, скуки и тоски.
Затем из этого хламья
обратно складываюсь.
Как будто некий механизм,
бессмертный, словно атавизм,
внутри притерся и живет —
самоубиться не дает.
Кто там твердит: «Не умирай»?
А в лоно женское спираль
вошла, как склеп, и неспроста.
Не ждет потомства пустота.

* * *

Мир из людей не состоялся.
Не плачь, усталый демиург.
Найди себе другую глину,
которая не станет камнем
ни через год, ни через век.
Пусть даже и не человек...
Ты дашь ему другое имя.

Ведь главное не имя — суть.
Чтоб мог легко его ты гнуть,
бесстрастно исправляя вывих,
когда изделие захромает.
И, наблюдая за игрой,
ты был в ладах с самим
собой... и с миром.

Шелковый путь

Шел, шел, шел
по шелковому пути
император У-ди.
Цвета солнечного и кровавого
юркой гадюкойвилася
гладкая власть императора.
Нежность веселых расцветок
женские обтекала бедра.
Тиранов Европа рожала
на шелковых простынях.
И нарождались Луны,
и растворялись гунны.
Домой возвращалась слава
на Ферганских «небесных» конях.
Над шелковыми путями
желтое солнце не светит.
Каменными крепостями
обрастает свобода.
И не только шелками —
кровью, плотью, костями
обмениваются народы
до сих пор.



Шелест срубленных деревьев

НЕВЫМЫШЛЕННАЯ ПОВЕСТЬ

Eskadron zydovsky

Вся швейная мастерская на улице Доминиканцев состояла сплошь из евреев, если не считать ее заведующего пана Юзефа Глембоцкого.

Пан Юзеф, в двадцатых годах обучавший портновскому искусству в Варшаве, в Вильнюс перебрался неспроста — в один прекрасный день он решил открыть в этом городе, не столь избалованном классными мастерами, как столица Речи Посполитой, собственное ателье и стать из подневольного работника хозяином.

Ателье ему и в самом деле вскоре удалось открыть, правда, не в самом людном месте — в старом городе, в затишке. Небольшое, уютное, оно за короткий срок завоевало немалую и заслуженную известность — брало дешево, а шило здорово.

В сороковом году, когда большевики (как они на весь мир похвалялись) воплотили в явь давнюю мечту литовского народа, навеки передав Вильнюс Литве, заведение Глембоцкого было немедленно национализировано и передано в ведение какого-то неблагозвучного, наспех созданного треста, а «капиталиста» пана Юзефа по просьбе портных на улицу не выкинули, но все-таки разжаловали в рядовые.

В войну ателье закрылось. Бывших работников пана Юзефа, которые были евреями, в первые дни либо расстреляли за городом, в перелесках Понар, либо загнали, как скот на бойню, в гетто, а сам Глембоцкий, опальный частник, четыре года подряд вынужден был как кустарь-одиночка пробавляться случайными заработками у себя дома. Говорили, что при ликвидации мастерской он и сам едва унес ноги, когда осмелился какому-то белоповязочнику, разможившему ударом приклада закройщику Гутману череп, бросить в лицо:

— Портных убивать нельзя!

Так это было или нет, но неслыханная дерзость, ставшая после очередного освобождения Вильнюса «доблестной» Красной Армией чуть не легендарной, сослужила отважному пану Юзефу добрую службу.

Не без ведома новых властей вернувшийся в мастерскую на улицу Доминиканцев пан Глембоцкий снова возглавил, по его выражению «*eskadron zydovsky*» — «еврейский эскадрон». Но уже не как хозяин, а как временно исполняющий обязанности заведующего. «Врию» он оставался до самой своей кончины, которая день в день совпала с долгожданной и бесслезной для него кончиной Сталина.

Пан Юзеф был самый старший в ателье. Даже моего отца, перешагнувшего сорок пятую межу на пути к меже последней, он обгонял на добрых пять — семь лет и со снисходительным высокомерием называл не иначе, как «настоят-

ком» — «зеленым юнцом». Как и отец, пан «врио» в молодости служил в кавалерии, дослужился до хорунжего, но не пожелал связывать с армией свою судьбу и по трезвому размышлению поступил в ученики к варшавскому портному с редкой репутацией и еще более редкой для еврея фамилией — Кадило.

От службы в кавалерии пан Юзеф унаследовал военную выправку, любовь к лошадям и умение отдавать короткие и четкие, как цокот копыт, приказы, а от своего учителя — непреходящую благодарность и уважение к мастеровитым иудеям.

— Никто не шьет так, как вы, никто. Это у вас от Бога, — витийствовал он, бывало, за стаканом водки в празднично украшенном ателье на улице Доминиканцев, где после парада и торжественного шествия по главному проспекту весь «eskadron zydovsky» до самого вечера запирался в кабинете временно исполняющего обязанности, чтобы в узком кругу «достойно отметить годовщину Великого Октября» — распить бутылочку-другую. Хотя у пана Глембоцкого не было никакого основания любить разорившую его советскую власть, он тем не менее как человек законопослушный или, по его собственному выражению, как «недострелянный воробей» старался относиться к ней с прохладным почтением и выше всего на свете в любом деле ставил лояльность «к сегодняшнему строю». Раз, скажем, велено 7 ноября сплоченно и дружно пройти в колонне трудящихся Ленинского района мимо трибуны, воздвигнутой не где-нибудь, а рядом с «консерваторией имени Дзержинского» (так из-за соседства с консерваторией настоящей был наречен Наркомат госбезопасности), будь добр, явись в назначенный час на сборный пункт, бери в руки красный флажок или отпечатанный в тысячах экземпляров портрет какого-нибудь члена Политбюро и не вздумай, как на Калварийском рынке, торговаться и брюзжать, мол, почему я всякий раз должен нести того же самого Шверника или Микояна, дайте хотя бы для разнообразия Жданова или Маленкова... Что дают, то и бери, пока тебя за твою привередливость не забрали...

На всех демонстрациях трудящихся — первомайских и октябрьских — пан Глембоцкий неизменно, видно, как бывший хорунжий, нес портрет действовавшего на тот момент наркома обороны. Но за все время службы пана Юзефа в ателье на улице Доминиканцев не было такого случая, чтобы он изъявил желание водрузить над ликующей толпой изображение любимого вождя — великого Сталина, которого каждый год по заранее установленной очереди в такт браваурным маршам, гремевшим из громкоговорителей, покачивал кто-нибудь из подопечных «врио».

Когда брючник Хлойне, старый подпольщик, партиец с довоенным стажем, невзрачный, похожий скорее на корейца, чем на еврея, в глубине души рассчитывавший за свои подпольные заслуги на скорое производство в заведующие и готовый каждый Божий день вне всякой очереди, везде и всюду, в любом уголке планеты водружать пахнущего свежей типографской краской Иосифа-свет-Виссарионовича, пристрастно допытывался у пана Юзефа, почему тот предпочитает низших чинов высшим — наркома обороны главнокомандующему-генералиссимусу, Глембоцкий с обезоруживающей искренностью и сожалением отвечал:

— Пан Хлойне! Я этой чести не заслужил. Другое дело — вы... В подполье боролись.. Или Диниц... В партизанах был... Или Канович... Воевал на фронте. Или Цукерман, который из-за немцев должен был временно принять крещение.

Глембоцкий обо всем говорил с легкой насмешкой. Не было в его словах ни мстительной издевки, ни расчетливой лести, ни угодливости человека, не раз победителям раздавленного. Он всегда придерживался правила: никому не раскрывая своих объятий, но и не кричи благим матом: «Долой!» Слишком много было на его веку триумфаторов и проигравших, и слишком дорого стоили ему их победы и поражения.

В ателье пан Юзеф держался со всеми равно, никого не выделял и не унижал, не делил на любимчиков и отверженных. Даже откровенно подсиживавший его Хлойне не мог пожаловаться на предубежденность и нетерпимость

«врио». Глембоцкий не таил на него зла, не сомневался в его мнимых или подлинных подпольных заслугах. Никаким подпольем, кроме погребца, где он хранил припасенную на зиму картошку и сало, пан Юзеф всерьез не интересовался. Поэтому и ателье на улице Доминиканцев было для него мастерской не грядущей мировой революции, а качественного пошива мужской одежды, и ему, ее заведующему, пусть и временному, требовались не последователи Ленина, не сподвижники Снечука, не заслуженные борцы за справедливость, а опытные и толковые портные.

Таких — толковых — в ателье и было большинство.

Швейная мастерская пана Юзефа продержалась на улице Доминиканцев до конца сорок восьмого.

То были три прекрасных, незабываемых, невозвратимых года — несмотря на разруху, на торчавшие вокруг развалины, в которых бродили голодные кошки с выжженной шерстью и бездомные шелудивые собаки, вынюхивавшие падаль, может, даже догнивающую под обломками человека, на тени угнанных на смерть жильцов, витавшие над искореженными, повисшими, как скрижали, в воздухе половицами, на одиночные смертельные выстрелы, доносившиеся промозглыми вечерами из подъездов и подворотен.

Ателье пана Юзефа, расположенное под боком у доминиканского монастыря, постепенно и незаметно превратилось для каждого из них — для отца, только-только снявшего солдатскую шинель, для вечно настороженного, подпольного Хлойне, для степенного, рассудительного Диница, бежавшего из гетто в Рудницкую пушу в партизанский отряд «Смерть немецким оккупантам», для хромоногого, скрытного Цукермана, всю войну укрывавшегося где-то на хуторе в глиноземной Дзукии и перенявшего привычки и психологию крестьянина-литовца, — из заурядного места совместной работы во что-то большее: в сиротский приют, в убежище от грохота и крови, в благословенную маленькую, не отмеченную ни на одной карте — ни на русской, ни на литовской, ни на германской, — страну, где на гербе изображены не серп, которым ни одна полоска ржи в поле не сжата, не молот, которым ни одна конская подкова не подбита, а тоненькая стальная иголка с белой ниточкой, связующей души. Каждый, кто умело держал ее в руке, мог при желании стать полновластным хозяином и гражданином этой страны.

При всей разности характеров, при всем различии способностей ее граждане умудрялись жить в ладу и согласии, потому что пытались выпрямить свои изломанные, исковерканные, ущербные судьбы, а не ломать и разрушать их сызнова и сызнова.

Но и маленькую страну, как известно, не обходят стороной ни тучи, ни ветры.

Не обошли они и ателье на улице Доминиканцев.

В конце сорок восьмого высокое трестовское начальство неожиданно решило расширить «eskadron zydovsky», пополнить его новыми работниками из числа лиц коренной национальности и перевести в просторное помещение — во флигель одноэтажного купеческого дома на углу Троицкой и Завальной.

Переезд, кроме мелких и неизбежных неудобств, вроде бы ничего страшного не предвещал, хотя постоянные перемещения в пространстве, совершавшиеся по чужой воле за последние десять лет, порождали в «еврейском эскадроне» недобрые предчувствия и воспринимались всеми с тревогой, тупой и неодолимой, как зубная боль. Да в этом и не было ничего удивительного — ведь каждый из подопечных пана Юзефа наперемещался за тяжкие годы войны до одури. Сколько раз их, обреченных на неопределенность и бездомность, срывало с насиженных мест, бросало в разные безотрадные стороны. В мастерской не было ни одного человека, который в ту зачумленную пору не страдал бы получившей вдруг широкое хождение и не поддающейся быстрому лечению болезнью — неотвязной боязнью перемен, чаще дурных и непредсказуемых, чем радужных и спокойных. Никто точно не знал, какими они, эти перемены, будут, однако странное ощущение того, что обязательно случится что-то недоброе, крепло с

каждым днем. Даже брючник Хлойне, давно покинувший подполье, и тот был заражен этой хворью, но объяснял ее происками классовых врагов, сеющих из-за океана смуту, а к их невольным подпевалам причислял хромоногого Цукермана, у которого чутье на все дурные перемены было развито намного сильнее, чем у остальных.

Город все чаще и грозней будоражили слухи о державном гневe Сталина на евреев, которые якобы поголовно записались в шпионы и агенты империализма. В еврейских домах, далеких от театральных увлечений, скорбно шушукались о гибели в Минске Соломона Михоэлса...

— А вы, многоуважаемый Хлойне, абсолютно уверены, что это и вправду была авария? — наседали на подпольщика другой подпольщик — Цукерман.

— А что это, товарищ Цукерман, по-вашему, было? Вы что, некролога в «Правде» не читали?.. Левитана по радио не слышали?.. Если хотите знать, Михоэлса в Москве похоронили со всеми почестями... Траурные речи... гора венков... Даже от ЦК КП (б)...

— С каких пор, многоуважаемый Хлойне, речи и траурные венки считаются доказательством невинности тех, кто убивает? — кипятился Цукерман. — Знаем мы эти ваши аварии... Как бы нам самим вскоре под колеса не попасть...

— Что ты, дурак, мелешь! Если одного еврея — пусть и великого — задал грузовик, другим что, на улицу не выходить, в автобус не садиться?..

— Дай Бог, чтобы вы были правы... Но я в случае чего ждать не буду — снова уйду в подполье. Махну в Дзукию... Казис всегда меня примет... Хлев у него большой...

— Успокойтесь, товарищи... — мирил опасных спорщиков слухом не слышавший о Михоэлсе пан Юзеф. — Неужели в мастерской, кроме аварии, не о чем поговорить? Тем более что, если смотреть в корень, вся наша жизнь — авария...

Хотя пан Глембоцкий к евреям никакого отношения не имел (он вел свой род от мелких шляхтичей) и мог за себя не опасаться, он все же к каждому тревожному слуху о евреях относился серьезно: сегодня — слух, завтра — факт. В расширении мастерской и ее переводе на угол Троицкой и Завальной пан Юзеф тоже усмотрел — по крайней мере для себя — дурной знак: наверно, снимут с должности и назначат другого — русского или литовца. Еврея Хлойне, оказавшись слухи верными, начальником вряд ли поставят.

Насчет себя Глембоцкий ошибался: с должности его не сняли. Что же до евреев, то слухи об их преследовании множились, и пан Юзеф пребывал в растерянности. При всем своем почтении к этому шустрому племени он им, к сожалению, ничем помочь не сможет. Однажды уже пытался: «Портных убивать нельзя...» И чуть не поплатился... Господь Бог, и тот в войну им не помог. А ведь Отец небесный — не поляк, не мелкий шляхтич из-под Ченстохова, а их человек в горних высях.

Жизнь, как всегда, распорядилась по-своему и избавила «врио» от угрызений совести.

Накануне Рождества Глембоцкий захворал и лег в больницу. На следующий день Хлойне откуда-то принес на Троицкую известие, что у пана Юзефа обнаружили болезнь, при которой все время трясутся руки. Портной с трясущими коленками — это, мол, еще куда ни шло. Но с трясущимися руками!..

Пока Глембоцкий болел, его попеременно замещали партизан Диниц — он отвечал на звонки из треста и подписывал какие-то бумаги — и отец, договаривавшийся с клиентами о форме пошива, о сроках, показывавший им образцы материала, снимавший мерки.

Работы перед Рождеством было больше, чем обычно, и отец выюном вертелся то возле одного заказчика, то возле другого.

Вдруг в ателье вошли двое — дылда, подстриженный под тракториста — актера Крючкова, и одетый не по сезону в замшевую куртку, не сходящуюся на брюшке, благообразный толстяк с дряблым лицом священника.

— Садитесь, пожалуйста. Сейчас я вас обслужу, — сказал отец и задержал свой взгляд на расстегнутой замшевой куртке.

Незнакомцы сели и, дождавшись, когда в ателье, кроме портных, никого не осталось, быстро поднялись и обступили отца.

— Что будем шить? — почему-то волнуясь, тихо спросил он.

— Скажите, пожалуйста, — предпочел свой вопрос отцовскому толстяк в замшевой куртке, — у вас не найдется таблички «Закрото на переучет»?

И показал свое удостоверение.

«За кем они? — кольнуло у отца в висках. — За Диницем? За хуторянином Цукерманом? За несгибаемым большевиком Хлойне?»

Себя отец упорно и утешительно исключал из этого ряда, но уверенности в том, что его не тронут, от самоутешения и упорства нисколько не прибавлялось...

— Я не знаю, есть ли у нас такая табличка.

— Умеете писать по-русски? — спросил второй в замшевой куртке.

— Нет, — с облегчением сказал отец.

— Попросите того, кто умеет. Пусть напишет: «Переучет до 16 часов». Кто тут у вас самый грамотный?

— Цукерман.

— Вот и хорошо, — пробасил дылда. — И ключ от дверей прихватите.

Отец кивнул головой, вошел в большую комнату, где, ни о чем не ведая, спокойно работал «eskadron zydovsku», взял со стола лист, на котором перед кромом расчерчивали образцы одежды, и поднес к самому образованному из них — Цукерману.

— Иосиф, — сказал он, стараясь не выдать своего волнения, — напиши на листе: «Переучет до 16 часов». По-русски.

— Зачем? — спросил Цукерман.

— Надо. Потом объясню.

Хуторянин размашисто вывел химическим карандашом надпись, отец достал из своего рабочего шкафа запасной ключ от дверей и понес «табличку», как приговор, в приемную.

Дылда, подстриженный под тракториста, пробежал глазами надпись, похвалил: «Молодец! Ни одной ошибки», пришил ее с наружной стороны дверей, сами двери закрыл на ключ, ключ спрятал в карман, и в маленькой стране, еще недавно благословенной, не отмеченной ни на одной карте и никому не грозившей, среди бела дня начался обыск.

— Шейте, шейте, — не то посоветовал, не то приказал толстяк с лицом церковнослужителя. — Все должно быть как всегда. — И сам для вящей убедительности и отвода глаз заглядывавших в окна первого этажа прохожих обвинил свою пухлую шею портновским сантиметром и вооружился ножницами.

Они перерыли все, вплоть до замусоленных блокнотов, где записывались мерки — объем груди, талии, ширина плеч, длина штанины.

Отец смотрел на их неторопливые, хозяйские действия и, возясь у стола с чьим-то коверкотовым плащом, с отвращением думал о том, что немцев он так не боялся и не ненавидел, как этих, с их дьявольскими удостоверениями. От немцев можно было отбиться, отстреляться, зарыться с головой в землю — от этих же никакого спасения не было.

Казалось, ненависть и страх вытеснили из комнаты кислород, и дыхание у всех укорачивалось и ускользало.

Нитка в руке партизана Диница подрагивала так, как будто игольное ушко залепили воском.

Цукерман, как колдун, вызывающий над очистительным огнем духов добра, сосредоточенно простирает над раскаленным утюгом растопыренные пальцы.

Только подпольщик Хлойне, то ли уповая на свои прошлые заслуги, то ли проголодавшись, как и обычно в обеденный перерыв, храбро хрустел в могильной тишине бутербродом со свежей ветчиной.

Все ждали конца.

Нагрянувшая беда почему-то выкликнула хуторянина Цукермана.

— Слишком много болтал, — справившись с ветчиной, растерянно пробормотал Хлойне.

Арест Цукермана ошеломил отца, растравил душу горькими и небезгрешными подозрениями. Он и раньше знал, что живет в жестоком и безжалостном мире, где зла гораздо больше, чем добра; в мире, где нет страшнее и опаснее зверя, чем человек, когда он зверь. Разве волк донесет на волка? Разве лев станет попрекать льва за то, что он слишком часто рычит? То, чему он был свидетелем и невольным пособником, сломало, смяло все его привычные представления о людях, об их нравственном долге и вине, о мере их ответственности друг за друга. Приученный с детства презирать грубую силу, он уже не под вражеским огнем, а в тихой мастерской на углу Троицкой и Завальной еще раз убедился в безнаказанности насилия, даже в его привлекательности, ибо совершается оно якобы во имя добродетели и всеобщего благоденствия. Хороши добродетель и благоденствие, запятанные чужой кровью и залитые слезами!

Если раньше отец спешил в «eskadron zydovsky», как в молодости на свидание с Хеной, то сейчас его одолевало желание бежать с Троицкой куда глаза глядят. Какое удовольствие с утра до вечера лицезреть эту пропахшую свежей ветчиной и подпольной плесенью рожу? У отца сомнений не было, что к аресту хуторянина Цукермана приложил руку и Хлойне. Брючник, наверно, стукнул куда следует, вот и явились *оттуда* этот, в замшевой куртке, и этот, стриженный под Крючкова в фильме «Трактористы». Правда, в таких случаях можно и напраслину на человека возвести. Не пойман — не вор. Однако, как сказал один неглупый еврей о другом еврее: вор, но не пойман.

Отец собирался было спросить про Цукермана у свояка — чекиста Шмуле, но мать отсоветовала:

— Не связывайся с ним. Он тебе все равно ничего не скажет. Сам на волоске висит.

Шмуле действительно висел на волоске — ходил подавленный, хмурый. С задницы вдруг таинственным образом исчезла кобура с пистолетом, в отношениях с родными поубавилось спеси и бахвальства и прибавилось заискивающего тепла. В «наркомате госужаса», как тайком называла мама заведение, где служил ее брат, после разгона антифашистского еврейского комитета началась чистка — под разными предлогами увольняли сотрудников — «французов». Из их рук, еще вчера по-холопски преданных и небрезгливых, выбивали карающий меч революции. Уволенные тут же принялись вкладывать в освободившиеся от меча руки что угодно — кто занялся продажей сельскохозяйственной утвари в магазинах на Калварийском рынке; кто подрядился в администраторы местного русского театра и распространял билеты на спектакли; кто тихо приворовывал, подавшись в диспетчеры на вильнюсский мясохолодильник, снабжавший деликатесами колыбель революции — город-герой Ленинград.

Никакой жалости к ним, отхватившим теплые местечки, отец не испытывал. Кого и вправду жалел, так это беднягу Цукермана, и никак не мог взять в толк, чем он, четыре года проживший в глухой литовской деревне, на скотном дворе вместе с лошадьми и коровами, научившийся у них безропотному долготерпению, успел провиниться перед советской властью? Кого убивал, кого предавал гестапо? Сидел в хлеву и под коровье и конское ржание латал сермяги Казиса, обшивал его детей. За что же они его увели?

Тайну открыл тот же Хлойне, который был вхож в так называемый избранный круг подпольщиков, где хоть и не стряпали аресты, но знали или догадывались об их причинах. Оказывается, Цукерман дважды в гостинице «Бристоль» тайно встречался с заезжим израильским дипломатом и якобы просил содействия в переезде с улицы Доминиканцев не на угол Троицкой и Завальной, а в кибуц под Хайфой, где с тридцать третьего года, с прихода Гитлера к власти, на пустынной земле, как дзукиец Казис, трудился его, Иосифа, старший брат. Захотел, видишь ли, чтобы под боком мычали свои коровы и ржали свои — еврейские — лошади.

Господи, возмущался отец, за желание жить рядом с еврейскими коровами и лошадьми человека изымают из жизни, как лыко из строки!

Но больше всего напугал отца я, только-только перешагнувший порог *alma mater* — Вильнюсского университета.

— Что слышно? — по обыкновению осведомился он, когда я однажды пришел с лекций домой.

Я пожал плечами.

— Вижу по твоему лицу — новости неважные... — промолвил отец.

Мой выбор — русское отделение филологического факультета, на котором никакого конкурса для поступающих не было (принес документы и считай себя студентом), — вызвал у моих родителей глухое недовольство, хотя, по правде говоря, оба они никакого понятия не имели об избранной мной специальности. Умные еврейские дети, по их мнению, свое будущее ни с каким языком не связывают — ни с русским, ни с английским, ни с немецким. Языком умных еврейских детей, думающих не о прихотях своих родителей, а о своем безбедном будущем, должен быть только один язык — язык медицинских рецептов... В доктора, в доктора — вот куда обязаны направить свои стопы серьезные юноши и девушки из порядочных еврейских семей. Что за радость в том, что их Гиршке станет школьным учителем где-нибудь в Бальбершишке или даже писателем?

Еще задолго до того, как я подал в университет свои документы, отец, желая спасти меня от непоправимой ошибки, решил наглядно продемонстрировать ее бессмысленность, что называется, на местности. Не умеющий читать ни на каком языке, кроме идиша, он пригласил меня на прогулку по длинному, растянувшемуся версты на полторы проспекту Сталина, где была сосредоточена вся книжная и газетная торговля. У каждого книжного киоска и магазина, независимо от ассортимента товара, будь то политическая или художественная литература, занимательные биографии выдающихся спортсменов или популярные пособия по пчеловодству, он непременно останавливался, грозно тыкал указательным пальцем в полки и витрины и приговаривал:

— Смотри, Гиршке, смотри!

Я таращил глаза и не понимал, чего он от меня хочет.

В конце проспекта он по всем правилам строевой службы разворачивался, и шествие снова повторялось, но уже в обратном направлении.

— Смотри, Гиршке, смотри! — мучил он меня и свой указательный палец.

В какой-то момент мое терпение оборвалось, как портновская нитка, и я в сердцах воскликнул:

— Куда «смотри»? Чего «смотри»?

— Смотри, Гиршке, — спокойно погасил он мой пыл. — Столько уже написано! Разве можно к этому еще что-то добавить? Не лучше ли найти себе другое занятие?

Мама, та вразумляла меня, не выходя из дому и не утруждая своих пальцев:

— Запомни: больных на белом свете всегда больше, чем читателей...

Мое решение опечалило их. Но больше всего маму и папу тревожило, как бы я не влип в какое-нибудь дело, не связался с бунтарской компанией — от меня и моих товарищей родители время от времени узнавали, что на филологическом факультете благопристойного столичного университета часто случаются ЧП, гулко откликаются беды, которые аукаются в городе, во всей Литве и в Союзе: то кто-то залет чернилами портрет «вождя и учителя всех народов» Сталина в белоснежном кителе; то перочинным ножиком выколуют зоркие глаза бумажному Ленину; то в парты подбросят листовки, подстрекающие к бунту против русского засилия; то кого-то куда-то надолго или навсегда уведут; то выпроводят с волчьим билетом...

Опасения отца были не обосновательными. А вдруг и его пролетарское чадо в чем-нибудь обвинят? Хотя бы в том, что он и его дружки-евреи в конце мая собрались в пивной на Татарской и при всем честном народе распили бутылочку горькой за новое долгожданное государство — Израиль. Поди знай, кто рядом с ними потягивал в тот день в темном углу за казенный счет холодное «Жигулевское»?

— Что слышно? — пристрасно допытывался отец, борясь со страхами.— У вас еще никого не забрали?

— Евреев пока нет.

— Пока?

— В Москве, говорят, жарко... Среди еврейских писателей как будто бы аресты...

— Но ты ведь еще, слава Богу, не писатель...— произнес отец с благодарной мольбой в голосе и потер лоб.— Может, тебе на годик стоит бросить учиться и пойти работать?.. К нам в «eskadron zyдовsky». Лишняя профессия никогда не помешает. Я поговорю с Глембоцким...

— Но мама говорила, что и от вас уводят...

Отец не нашелся, что ответить. Он еще долго не оставлял своих попыток наставить меня на путь истинный и переманить из гильдии никчемных болтунов-филологов, всю жизнь балансирующих на тонкой проволоке, свитой из честолюбивых, лишенных всякой опоры слов, в стан умельцев и мастеровых, хоть в портные, хоть в штукатуры, хоть в парикмахеры, которые, забрось их строптивца-судьбина к черту на кулички, в королевский дворец или в острог, всегда своим умением добудут кусок хлеба.

Но все его попытки проваливались с треском.

С паном Глембоцким он встретился в больнице, но о сыне с ним не поговорил.

Пан Юзеф, бывший кавалерист-рубака, прятал в карманы поношенного больничного халата руки и почему-то виновато улыбался...

Выслушав рассказ о делах в ателье, Глембоцкий глубоко вздохнул в расползшиеся сороконожками усы.

— Прекрасный был работник! — сказал он о Цукермане как о покойнике.— Жаль, жаль... Теперь я знаю: все болезни, пан Канович, оттуда... От страха... А ведь, если пораскинуть мозгами, кто в жизни должен бояться? Кто? Я? Вы? Цукерман? Диниц?

Он помолчал, еще глубже засунул в карманы трясущиеся руки и продолжил:

— Нет, пан Канович. Не мы должны бояться, а те, кто убивает, арестовывает, ворует, замышляет зло. А что получается на самом деле? Бояться не жулики, не воры и не убийцы, а порядочные люди. Разве я должен был бояться? В армии выполнял все команды, честно работал, не заглядывался на чужое, никого не обижал... Почему же, пан Канович, руки трясутся у меня, а не у них? Лежу на койке, смотрю в потолок и спрашиваю Господа Бога о том же, о чем и вас: почему?.. Доколе, Отец небесный, нам, твоим рабам, бояться за свою невинность? У вас, пан Канович, нет ответа. Нет ответа и у Него. Но какой-то ответ должен быть!..

— Пан Юзеф, может, в этом и есть наше счастье? — вдруг сказал отец.

— В чем? В чем? — выкрикнул Глембоцкий.— В том, что нет ответа?

— В том, что мы боимся... Иначе как бы мы эту нашу невинность убе-регли?

— Да будет оно, это счастье, трижды проклято!.. Счастье с трясущимися руками... Пойдемте, пан Канович, в коридор, я сделаю затяжку... Вы меня своей широкой спиной от врачей прикроете.

— Прикрою, пан Юзеф.

Они вышли в коридор. Пан Глембоцкий достал пачку «Беломора», губами выудил последнюю папиросу, долго зажигал спичку и, наконец, закурил.

— Пан Канович, я и в гробу закурю,— сказал «врио».— Всем чертям назло...

Увидев в глубине коридора доктора, пан Глембоцкий быстро передал папиросу отцу. Папироса дымилась в отцовской руке; тонкая струйка дыма, завиваясь в колечки, поднималась к потолку и медленно таяла, оставляя след разве что в наболевшей душе.

Встать! Суд идет!

За всю свою долгую-предолгую жизнь он только один-единственный раз предстал перед судом.

До того, как отец впервые, в начале шестидесятых, переступил выщербленный порог тесной обители Фемиды Ленинского района на укромной улице Домашевичаус, которая одним своим концом безнаказанно утыкалась в подвальные, забранные в железные решетки окна «министерства госужаса», он о существовании суда знал только понаслышке да еще из рассказов своего давнишнего словоохотливого заказчика — адвоката Жюрайтиса, пользовавшегося в Вильнюсе репутацией лучшего специалиста по так называемым «мокрым делам» и групповым изнасилованиям.

Постоянный клиент отца, следивший за своим внешним видом с таким же подвижническим прилежанием, как следит за своей внешностью какой-нибудь прославленный актер, играющий роли героев-любовников, адвокат Жюрайтис не раз на примерках приглашал «господина Кановича» (иначе как по старинке — господином — он его не называл) в Верховный суд Литвы на те разбирательства, где он, Жюрайтис, блистал своим страстным высокооплачиваемым красноречием — благо здание суда было расположено почти рядом с нашим домом, недалеко от приговоренной к вечному, размеренному течению Вилии, но отец упорно отказывался, ссылаясь на занятость, на слабое знание литовского языка и — главное — на свой врожденный недостаток — отсутствие любопытства. Он и впрямь был не любопытен, и языки скверно знал, и работал без роздыху. Но главная причина была в другом: он не переносил чужого горя в любом его — судебном или не судебном — виде. И не потому, что был человеком слабонервным и сентиментальным, а потому, что наручники подсудимых натирали в кровь и его запястья.

— Спасибо... Спасибо за приглашение, — растроганно бормотал он. — Но что, скажите на милость, портному делать в суде? Он ведь там никого ни покарать, ни защитить не может.

— Как что делать? Это же так интересно! — дружелюбно отвечал Жюрайтис. — В кино ходить не надо... Сидишь, смотришь бесплатно серию за серией и гадаешь, какой будет развязка... Приходите!..

Отец в ответ кивал головой, нескладно улыбался, стараясь вымученной улыбкой сгладить свой отказ.

Улыбаясь и отказываясь от приглашения, он и представить себе не мог, что не пройдет и полгода, как сам попадет в переплет и будет вынужден не только держать совет с Жюрайтисом, поднаторевшим в судебных тяжбах и крючкотворстве, но и явиться в суд не на счастливых правах праздного зеваки или лейб-портного, который в любую минуту может подняться с места и беспрепятственно выйти из зала, а как ответчик.

Дело на первый взгляд было пустячное. Если бы не упрямство, унаследованное Шлейме от родителя — сапожника Довида, все кончилось бы не в суде, а тут же, в мастерской: стороны вяло пожали бы друг другу руки и разошлись с миром.

Но отец, защищая свою портновскую честь, заупрямился и наотрез отказался пойти на мировую с истцом. А истец в прямом и переносном смысле слова был не рядовой — полковник Советской Армии по фамилии Карныгин.

Как ни уговаривали отца сослуживцы, как ни просили, чтобы ради собственного спокойствия и во избежание неприятностей он усмирил гордыню и договорился со строптивым полковником, упрямец не послушался.

— Пойми, Шлейме, этот Карныгин не какой-нибудь брадобрей с Татарской или Садовой и не снабженец с чулочной фабрики «Спарта», — вразумлял его бывший партизан Диниц. — Это, пусть и отставной, полковник Советской Армии с тремя звездами на погонах и орденом Богдана Хмельницкого.

— А будь он хоть генералиссимус! Плевать мне на его чин!.. Перед иголкой, как и перед смертью, все равны. Я ему сказал это в лицо и то же самое го-

ворю вам: ничего переделывать не буду. Портить костюм своими руками?! Все пожелания этого Карныгина я выполнил. Он просил, чтобы я ему сшил костюм по последней моде, — я по последней моде и сшил. По-вашему, что — сшил плохо?

— Сшил хорошо, очень даже хорошо, кто спорит... — буркнул подпольщик Хлойне, всячески старавшийся своей угодливостью приглушить слухи о его причастности к аресту хуторянина Цукермана. — Но...

— Что «но»?

— Тут нельзя не учесть некоторые обстоятельства. Перед нами представитель...

— Представитель чего? — напустился на Хлойне отец. — Бога? Дьявола? Разве не при вас этот самый Карныгин мне чаевые сунул, по-отечески на прощание по плечу похлопал и, разглядывая себя в зеркале, даже от удовольствия дважды выматерился. «Молодец Канович! Тра-та-та-та... Ну точь-в-точь как с журнальной обложки. Тра-та-та-та...» И вдруг на следующий день поворот на сто восемьдесят градусов: «Караул! Испортили! Надеть стыдно, не то что носить!» Полковничиха, видите ли, на смех подняла: пижон, стилига, чучело огородное... Посмотришь — и от страха в обморок грохнешься... Может, это она и скомандовала: «Кру-гом! Шагом арш на Троцкую! К евреям на переделку!» — Отец натужно улыбнулся. — Единственное, что я и впрямь готов сейчас же сделать, так это вернуть ему его зас...анные чаевые.

— Не горячись, Шлейме. Зачем нам на неприятности нарываться? — вставил Диниц. — Перед кем ты свой норов показываешь? Ты лучше подумай, за что нам денежки платят? За что нас, евреев, на белом свете терпят? За «да» или за «нет»?.. Конечно, за «да»... На «нет» — ты меня слышишь? — никто из нас не имеет права... Не и-ме-ет. За «нет» можно и куска хлеба лишиться, и в каталажку на долгие годы загреметь. Понимаешь? А вдруг — ты только не кипятись, а спокойно выслушай, — вдруг он вовсе не отставной? Вдруг он *оттуда*... как те двое, что пришли и навсегда увели беднягу Цукермана... Тебя, Шлейме, за твое упрямство, будем надеяться, никуда не уведут... На дворе, как говорят, эта самая... ну как ее... оттепель... хрущевская слякоть... Но с дерьмом лучше не связываться. Дерьмо во все времена года дерьмо — что в палящий зной, что в оттепель, что в мороз. Он требует, чтобы ты расширил на два сантиметра брюки в шагу, — пойдй человеку навстречу, сядь и расширь хотя бы на один сантиметр. Он хочет, чтобы костюм был не однобортный, а двубортный, — подари ему лишний борт. Пойми, Шлейме: сильные не любят, когда слабые на рожон лезут, строят из себя Бог весть что и к тому же возражают. Не артачься! Товарищ полковник ждет от тебя «да», а не «нет», так не расстраивай же его, преподнеси ему, как гвоздики, в честь праздника — сорок второй годовщины Советской Армии — свои «да, да, да», черт бы его подрал с его орденом Хмельницкого. Мой дед говорил: не смейте дергать льва за ушица — от него даже за ласку лапой по физиономии схлопотать можно.

Отец слушал и ушам своим не верил: откуда у Диница, бежавшего в сорок втором из вильнюсского гетто и два с лишним года сражавшегося в партизанском отряде в дремучей белорусской пуще, такая робость перед всякими чинами, такая несовместимая с его партизанским прошлым уничижительность?

Он не осуждал Диница. Но уговоры бывшего партизана коробили душу. В лесу под Новогрудком, наверно, он таким не был, приказы выполнял не потому, что их отдавал командир, старший по званию, а потому, что они совпадали с его сокровенными мыслями и желаниями. Но все изменилось, когда он из Рудницкой пущи попал в другую, заваленную буреломом ежедневных доносов, слезек и подозрений чашу, где за каждым деревом их всех, как арестанта Цукермана, подстерегала беда. Диниц, конечно, желал отцу добра, старался уберечь от неприятностей, может, даже от увольнения. Но от добра, добытого ценой самоуничтожения и лакейства, что-то съезживалось внутри и застывало — отец всегда мучился и терзался, когда при нем кто-нибудь из близких или сослуживцев — того же добра ради — унижал свое достоинство, которое и без того было перемоло-

то жерновами ненасытного послевоенного времени, неблагодарного, неразборчиво-жесточкого, заставлявшего всех прятаться, как в вырытый в лесу бункер, в бесконечные, спасительные «да, да, да», когда горло разрывало обреченное на глухоту и непонимание «нет». Время, как и отставной полковник Карныгин, ощетинивалось и не щадило тех, кто скупился на утвердительные восклицания.

— Вы как хотите,— процедил отец,— но к этому костюму я больше не при-
тронусь.

Однако дальновидный Диниц не унимался.

— У тебя остался его адрес?

— Чей? — Отец сделал вид, что не понимает, о чем его спрашивают.

— Ты знаешь, где этот Карныгин живет?

— Не знаю. Когда снимал мерку, вроде бы и адрес в книжку записал. И квитанция где-то должна быть,— сказал отец.— А ты что, к товарищу полковнику в гости наладился? Решил своими медалями позвякать?

— Ты мои медали не трогай. Я их не за сбор грибов получил и не на базаре купил. Давай лучше подумаем, что делать.

— Что делать? Ничего.

— Может, нашего новичка к нему в гости на разведку послать?

— Рафаила? Зачем? — насторожился отец.

— Как зачем? Настроение прощупать... по-человечески поговорить... пока он ничего не затеял.

— Рафаил?

— Не прикидывайся дураком. Карныгин.

— А что, по-твоему, он может затеять?

— Мало ли что... Например, в суд подать.

— На кого?

— На ателье, на тебя, закройщика...— ехидно пояснил Диниц.— Накатает бумагу, напишет, какой вред его имуществу нанесен... Не забывай, Шлейме, костюм — это тебе не колхозная собственность, которую каждый волен растаскивать. И тогда...

— И что тогда? — нахмурившись, спросил отец.

— Я, Шлейме, не судья... не законник... Надо спросить Хлойне — он два года народным заседателем служил... вместе с судьями приговоры выносил...

— По-твоему, этот Карныгин может упечь меня за решетку? — выдохнул отец, не желая напрямую обращаться к Хлойне.

— Упечет, не упечет... Но к штрафу приговорить могут.

— Что ж. Штраф заплачу, но переделывать не буду! — упорствовал отец.

— Диниц прав... Не надо, Шлейме, горячиться. В кипятке хорошо яйца вкрутую варить,— умасливал его Хлойне, втягивая голову в ворот по-комиссарски распахнутой рубахи.— Если ты не хочешь переделывать, то я этим займусь.

— Так как, Шлейме? — наседали на отца Диниц, прозванный арестованным Цукерманом за его бесконечные «йе, йе» («да, да») — Йеницем.

— Я уже вам сказал: переделывать не буду! — выдавил отец.— И не хочу, чтобы мою работу переделывали другие.

Народный заседатель, старый подпольщик и, возможно, стукач, наклепавший на хуторянина Цукермана, Хлойне Левин еще глубже втянул в ворот голову, поросшую редкими волосами.

— Как знаешь...— Диниц откашлялся и продолжал: — Но смотри, как бы ты после не пожалел... Меня Цукерман наградил прозвищем «Йениц». Будь Иосиф сейчас с нами, а не с белыми медведями, он переименовал бы тебя из Кановича в НЕЙНовича (НЕТновича).

Он помолчал, смачно плюнул на раскаленный утюг, провел им по сукну, и облачко горячего пара повисло над его головой, как далекое и зыбкое воспоминание.

— Мой отец, светлый ему рай,— как ни в чем не бывало продолжил Диниц,— был в Укмерге пожарником, и я, как водится, сначала тоже об этом мечтал — вырасту и буду со шлангом в чешской каске по крышам лазить, вытаски-

вать людей из огня, тушить пламя... Бывало, выбегу во двор, зачерпну в колодце полведра воды, притащу в избу и, пока мамы нет, тренируюсь, на пожарника учусь: подойду к печке, открою заслонку и плюх всю воду на горящие угли... Ох, и влетало же мне от родителей за эти шалости! Вся задница, бывало, пузырится — сесть не мог. Но все же, видно, с тех пор во мне что-то от порки осталось... не зажило вместе с волдырями. К чему же это я тебе, Шлейме, сейчас говорю? А говорю я это тебе к тому, что не один ты такой...

— Какой? — встрепенулся отец.

— Любитель из ничего огонек высекать... Господи, что за время, что за мир? Куда ни глянь — задиры с горящей паклей в руке. Только и ищут, как бы что-то поджечь, где бы угли поскорей раздуть. Скоро, кажется, уже не дома, а души, как дранка, запылают... Страшно... Когда мы из лесу вышли, я думал: все, конец, огонь потушен, не будет больше на свете ни ненависти, ни злобы... Не будет никогда. Я думал: больше никто и никогда не потревожит сон мертвых. Ни слезами, ни стонами, ни грязными поклепами... Ошибся... Не успел я сдать оружие, как возле своего дома услышал: «Жид пархатый, убирайся в свою Палестину!», не успел остыть от страха, как на меня новые страхи навалились... похлеще лесных... Ты, Шлейме, понимаешь, о чем я?..

— Понимаю,— сказал отец и покосился на шмыгающего носом Хлойне.— Ты считаешь, что этими твоими «да, да, да» можно страхи отпугнуть, а не наклепать? Ты считаешь, что этими «да, да, да» можно накормить злобу и она оставит нас в покое?..

— Ничего я не считаю... Но горящие угли глупо гасить керосином. Я считаю, что не стоит ссориться и враждовать из-за пустяков. Я считаю, что тебе, Шлейме, надо каску надеть и потушить тлеющие угольки — разыскать этого Карныгина и сделать все, чтобы он остался доволен. Ведь сколько их, довольных, на свете? Кругом одни недовольные. Зачем же их множить?

— Ничего, Диниц, не поделаешь: человек рождается недовольным... и недовольным умирает...

— Ну что ты тут философствуешь? Отвечай прямо: разыщешь его или нет?

— Нет! — отрезал отец.

— Нет так нет,— выдохнул Диниц.— Как говорится, хозяин-барин. Но как бы тебе не пришлось пожалеть.

— А что если мы, как говорил Владимир Ильич Ленин своему брату, пойдем другим путем? — Из дальнего угла ателье внезапно донесся простуженный голос «новобранца» Рафаила Драпкина, перебравшегося из заштатного Молодечно в Вильнюс, чтобы у оставшихся в живых мастеров-соплеменников постичь тайны портновского ремесла.— А если взять и скопом выкупить костюм?

— Вряд ли от этого Карныгина откупишься. Он офицер, а офицеры принципами не торгуют,— сказал осмотрительный Диниц, косясь на притихшего в углу подпольщика Хлойне, при котором лучше и безопаснее было прослыть круглым дураком, чем клеветником и очернителем Советской Армии...

На том прения и кончились.

Все ждали грозы — вызова в трест или повестки в суд. Но на удивление ни того, ни другого не случилось.

Не появлялся в мастерской и полковник — то ли махнул на все рукой, повесил костюм до лучших времен в шкаф, то ли отнес его на переделку к другим, более покладистым евреям.

Только Хлойне призывал сослуживцев не терять бдительности и время от времени назидательно цитировал на память какого-то классика марксизма-ленинизма, который перед Октябрьской революцией якобы сказал, что внезапность выступления — залог победы, а промедление смерти подобно.

«Выступление» Карныгина и впрямь было неожиданным — он подал в суд не на все ателье, а только на отца.

— Что же ты, несчастный, натворил? — испуганно-сердито спросила мама, протягивая отцу повестку.— Кого убил? Кого зарезал? Тебе сразу засушить сухарей и сложить в узелок белье или еще до тюрьмы успеешь пообедать?

— Еще успею...

— Какое счастье! — поддела его мама. — Я бы себя загрызла, если бы отравила тебя на нары в Лукишки голодным. Холодный борщ с картошкой будешь?

— Буду.

— А телятину?

— Почему бы нет?

— Вчера почему-то не ел... Повестки, видно, очень повышают аппетит...

Она прошествовала на кухню, где сосед — книгоеч Гордон — с упоением, почти навзрыд, жаря на жужжащем примусе заветную глазунью, пел на голодный желудок свою любимую песню:

Вер вет мир баглейтн,
ин майн лецтн вег?..
(Кто меня проводит
в мой последний путь?)

— Что за удивительный день! — сказала мама, поставив на стол миску с холодным борщом и кастрюльку с картошкой. — Ко всем приходят повестки.

— А кто еще получил? — с напускным безразличием поинтересовался отец.

— Йосл. — Мама ткнула в дверь, за которой яростно шипел примус и набирало силу проникновенное, душераздирающее пение Гордона, каждый день читавшего перед сном на иврите одну и ту же книжку — «Преступление и наказание» Федора Достоевского. — Только не из суда, а из ОВИРа, в последний путь... к сестре в Израиль... Пел, пел и выпел себе разрешение на отъезд... Через месяц прощальный ужин... Расстаемся навеки... А с тобой?..

— Что — со мной?

— С тобой насколько?.. Может, как я когда-то связала Шмуле, сесть и связать тебе теплую кофту и шерстяные носки на зиму? Купить, как ему когда-то, на базаре шмат сала? В тюрьме холодно и голодно.

— Глупости! — сказал отец. — Мы никогда не расстанемся...

И, обжигаясь картофелинами, рассказал ей всю историю.

Мама слушала его рассказ рассеянно, отрешенно-пренебрежительно смотрела на стол, на пустую миску и кастрюльку, на тяжелые, непривычно неподвижные руки отца, потом подняла глаза и с какой-то укоризненной жалостью тихо промолвила:

— У тебя на подбородке кусочки свеклы.

Отец засуетился, поспешно и благодарно принялся смахивать их, потом подхватил миску и кастрюльку, вскочил с места и, не оглядываясь, зашагал к двери.

— Надо старика Гордона поздравить, — виновато бросил он на ходу. — Дождался все-таки!..

Она и не думала перечить — кивнула, но осталась молча стоять у стола, как у могильной плиты, и вдруг начала беззвучно плакать. Слезы поблескивали на ее щеках, как роса на осенних, изъязвленных дождями листьях, губы мелко подрагивали, и эта негаданная дрожь сливалась с мерцанием лучей заходящего солнца и возвращала ее в счастливое прошлое, туда, где много-много лет тому назад она, Хена Дудак, впервые вкусила от запретного древа, согрешила перед Всевышним, забыв Его ради обыкновенного портняжки, к которому прилеплась до хупы, без Божьего и родительского благословения.

Отец же нарочно не спешил (пусть Хена успокоится), тряс на кухне морщинистую, давно оскудевшую руку бывшего лавочника, который — чтобы не гневить Господа и сподобиться Его милости — все годы вместо кипы носил узбекскую тюбетейку с причудливым орнаментом и целовал прибитую к двери своей каморки мезузу. Прервав свое заунывное, чуть ли не погребальное пение и сняв с примуса раскаленную сковороду с глазуньей из пяти яиц, снесенных некошерными колхозными курами из-под Неменчине, растроганный Гордон поблагодарил отца за поздравление, пожелал ему такого же счастья — как можно скорее

подняться в землю обетованную — и твердо обещал оставить на память мне, начинающему писателю, замечательную книжку — «Преступление и наказание» Федора Достоевского на иврите, маме — огромную, как Синайская пустыня, сковороду, а ему, Шлейме, — целый набор новехоньких отверток и плоскогубцев (всегда пригодятся в хозяйстве), два стула и мягкую — без единого клопика — кушетку, чтобы какой-нибудь заказчик из Москвы или Молодечно мог при надобности переночевать.

— Я бы вам, Канович, и свою комнатку оставил, но, вы же знаете, я не председатель горисполкома... Я для них уже никто...

— Мы, Йосл, все для них никто, — думая о своем, о полковнике Карныгине, о предстоящем суде, промолвил отец, но Гордон был так поглощен красавицей глазуньей, что ничего не слышал. Он с таким же рвением и самоотверженностью, какой отличались пионеры-поселенцы, боровшиеся в тридцатых годах за каждый клочок песчаной земли где-нибудь в окрестностях арабского Яффо, отвоевывал у сковороды один лаковый желток за другим.

— Йосл оставляет нам кушетку и два стула, — некстати сказал отец, когда мама вышла на кухню. — И сковороду...

— А песню? — обратилась мама к наворачивавшему глазунью кладовщицу-книгочею.

— Какую песню? — Брови Гордона быстро и молодо взлетели под залысины на лбу. — «Первым делом, первым делом самолеты, ну а девушки, а девушки потом»?

— Другую... «Кто ж меня проводит в мой последний путь?» — пропела она и засмеялась.

И Гордон засмеялся, и отец засмеялся, и от этого странного, сиротского, почти судорожного смеха повеяло не весельем и радостью, а щемящей тоской и разлукой. Как-никак вместе прожито столько лет!..

Смех погас, как синий огонек на примусе. Они разошлись по своим норам, но еще долго не могли сомкнуть глаз. В комнатке Гордона свет горел до утра — старик то ли прощался с Федором Достоевским, то ли своим штурманским взглядом прокладывал по облупившейся стене, как по небосводу, трассу — свой последний путь, дарованный ему Господом Богом за пережитые в Каунасском гетто муки и страдания, за гибель жены Брахи и трех сыновей-наследников — Ицхака, Авраама и Менаше; путь в Эрец-Исраэль к сестре Хае и к Нему — Дарителю всех благ и несчастий на свете; отец же с мамой до рассвета ворочались с боку на бок и, ссорясь и мирясь, обсуждали, что надо предпринять, чтобы восторжествовала справедливость.

— Только никому не жалуйся. Не хватало еще, чтобы весь город узнал, что тебя собираются судить за портачество!.. Люди дорогу к тебе забудут, — причитала она, и кровать потрескивала от ее волнений.

— Все равно молва пойдет, — пророчил в темноте отец. — А молва, как пожар: в одном месте потушишь — в другом вспыхнет.

Мама требовала, чтобы он — немедленно! завтра же! с самого ранья! — сходил в юридическую консультацию и посоветовался с Жюрайтисом.

— Он все знает. Кому, как и сколько дать... У нас приговаривают не по закону, а по карману...

— Да, но Жюрайтис защищает не портных, а насильников и убийц. Я же, Хена, пока, слава Богу, никого не убил и не изнасиловал, — басил отец, и ночная тьма усиливала патетические нотки в его голосе и придавала им оттенок трагизма.

— А меня? Меня не убил? — возмутилась мама. — Не хочешь к Жюрайтису, сходи к нашим — к Невяжскому или к Гроднику. Ты же им столько раз шил! Когда еврею плохо, ему лучше пойти к раввину, чем к ксендзу.

— Хорошо, хорошо, — повторял искусанный, как блохами, ее советами отец. — Пойду к раввину, пойду к Фишеру... Только спи, спи...

Однако Невяжского в городе не было, Гродник болел, Фишер кутил в Сочи, и отцу пришлось сходить к Жюрайтису.

— Не волнуйтесь, господин Канович. В Сибирь вас не отправят, — поглаживая свои пепельные волосы, зачесанные на прямой пробор, произнес Жюрайтис на облегченном литовском. — Ваше дело выеденного яйца не стоит. В самом худшем случае костюм вернут в мастерскую на переделку.

— А в самом лучшем?

— В самом лучшем? — Специалист по убийствам и групповым изнасилованиям задумался, снова погладил свою шевелюру. — Как подсказывает мне мое чутье, когда судишься с полковниками, лучших случаев не бывает... Но вы не волнуйтесь. Я уверен: все обойдется. Только полковникам больше не шейте... Вон сколько у вас клиентов! — Жюрайтис холеной рукой обвел не только стены своего кабинета, но и как бы весь город. — Судья, — добавил он напоследок, — не портной. Он назначит экспертов... ваших коллег. И когда эксперты скажут свое слово, он и примет решение.

Разговор с Жюрайтисом воодушевил и вдохновил не столько отца, сколько маму. Целыми днями напролет, забросив домашние дела, она только и делала, что собирала у друзей и знакомых — на рынке, в магазинах, на парковых скамейках — разведанные о портных Вильнюса и его окрестностей, составляла их подробные списки, химическим карандашом подчеркивала фамилии тех, кто, по ее мнению, не подведет и представит суду благоприятные для ответчика выводы в этом паршивом деле об этом паршивом костюме этого паршивого полковника.

Для сбора сведений были мобилизованы все ближайшие родственники — мои дядя и тетки, свояки и свояченицы, двоюродные братья и сестры; вся Литва как бы была поделена и рассечена на районы поиска, и в каждом уголке, казалось, был мамин уполномоченный.

Поразительное старание выказывал здоровяк Лейзер-краснодеревщик, ловко нанизывавший на извилины в своей голове, как шашлык на шампур, не только имена кандидатов, но и места их работы. Правда, бывало, могучий Лейзер попадал впросак, допускал досадные промахи и ошибки, за которые мама сурово отчитывала его без оглядки на родство.

— Хаим Перельштейн? — хмурилась она. — Откуда ты его выкопал? Всех, ну всех спрашивала — никто о таком портном в Вильнюсе сроду не слышал. Есть Перельштейн мясник, есть Перельштейн музыкант, есть Перельштейн зубной врач... Но Перельштейна портного нет. И в Каунасе нет... И в Шяуляе...

Или:

— Дамских портных мне не подсовывай. Они разбираются в мужской одежде, как я в сыпном тифе.

Или:

— Гурвиц? Только через мой труп!

— Но он же...

— Что — он же?.. Такая же дворняга, как Хлойне... Завистник. Разве на суде дождешься от завистника доброго слова?

Она отшвыривала фамилии, как сортировщица овощи на оптовой базе: ядреные кочаны — в одну кучу, гнилые — в другую.

Когда я попытался умерить ее пыл — объяснить, что суд сам назначит экспертов и что она зря морочит себе и другим головы, мама застонала, как раненая, и, не поднимая на меня глаз, выпалила:

— Что ты, дурачок, понимаешь? Витаешь в своих стишках, как в облаках, и витай. — И через минуту, смягчившись, высокопарно добавила: — Человека надо спасать. Он этого не выдержит.

Отбор экспертов затянулся. Одни отказывались потому, что не желали ввязываться в драку, портить отношения с ответчиком, другие — потому, что побаивались истца: как-никак полковник. Поди знай, чем он оплатит за правду.

Судебное разбирательство несколько раз откладывалось, и мама уже в душе надеялась, что «процесс века», как его окрестил здоровяк Лейзер, вообще не состоится.

Но еврейские надежды если и сбываются, то, как правило, только через десятки, а порой и сотни лет...

Судейские двух экспертов все же нашли.

— Господи! — воскликнул отец, когда услышал первое имя. — Хлойне! Эта старая гнида, этот твердокаменный большевик, этот добровольный доносчик!

— Я поговорю с ним, — сказала мама, готовясь к рукопашному бою.

— Не смей!

— Я сверну ему голову, если он выступит против тебя! — пригрозила мама, но отец остудил ее пыл, сказав, что, может, это и к лучшему.

— Хлойне, наверно, хочет искупить свою вину.

— Перед тобой?

— Перед Цукерманом, на которого он донес и который недавно, отбухав срок, вернулся из пермского лагеря.

— А тебе-то от этого какой прок? — пытала его своими сомнениями мама. — Думаешь, у Хлойне совесть проснулась?

— Поживем — увидим, — уклончиво ответил отец. В душе он даже радовался назначению Хлойне, но привыкнуть к своей радости боялся — привыкнешь, а потом локти от обиды кусай.

Второго эксперта выписали из Паневежиса, из города, где, по слухам, был расквартирован полк Карныгина, в котором тот до отставки служил. Русская фамилия портного — Борисов — отцу ничего не говорила. Из староверов, наверно, решил он, но ошибся. Старовер оказался одесским евреем с большими черными глазами и с огромным носом, похожим на охотничий рог.

В Вильнюс он приехал перед самым открытием суда. Протиснувшись через толпу зевак, заполнивших маленький и душный зал, он пробрался к судейскому столу, что-то протрубил секретарю и, положив на колени пухлый портфель, опустился на первую скамью, отведенную для защитников, экспертов и для тех, кто возбудил тяжбу.

После того, как иск Карныгина был зачитан, судья, торопившийся куда-то с самого начала слушания — то ли в туалет, то ли на заседание бюро райкома, — обратился к «товарищам экспертам» с просьбой огласить свои основные выводы.

Первым на обшарпанную трибуну, пахнущую плесенью и окурками, поднялся подтянутый, выбритый Хлойне в сером выходном костюме, в начищенных ботинках, которые блестели, как боевая труба.

— Высокий суд! — по старинке начал он и понесся галопом через тома Маркса и Ленина, через решения ...надцатого съезда и последнего пленума ЦК КП Литвы.

— Товарищ Левин, если можно, покороче, — упавшим голосом взмолился судья.

— Можно и покороче, — согласился Хлойне. — Для чего, товарищи, мы с вами, собственно, живем? Для того, товарищи, чтобы все мы жили счастливо. Всё, что мы — портные и шахтеры, сталевары и сапожники, нефтяники и ученые — все без исключения делаем, мы делаем для всеобщего счастья.

В этом месте судья по-детски застонал.

Хлойне перевел дух, глянул на стонущего председателя и пустился рысью «от Москвы до самых до окраин...».

— Свою лепту в строительство счастливого общества вносит, товарищи, и дружный коллектив швейной мастерской номер шесть на углу Троицкой и бывшей Завальной...

— Покороче, покороче! — бесстыдно умолял судья.

— Не покладая рук, мы трудимся на благо наших замечательных современников. Наш труд удостоился множества почетных грамот и других поощрений и отличий...

— Вегн Шлейме рейд! Вегн Шлейме (О Шлейме говори, о Шлейме!)! — выкрикнул кто-то из зала не на государственном языке, а на идише.

— Прошу всех соблюдать тишину! — одернул крикуна судья, ерзая на стуле.

— Что я вам могу, товарищи, сказать о Шлейме Кановиче? Такие портные рождаются... рождаются... — Хлойне на мгновение задумался над тем, какой ци-

фирью выстрелить в судейских, и наконец выпалил: — Один раз за сорок, а может, и за пятьдесят лет. Солдат Шестнадцатой Литовской дивизии, храбро сражавшийся с фашистами, мастер экстра-класса.

— Товарищ Левин! — снова простонал председатель.

— Сокращаюсь, сокращаюсь, — поклонился судейскому столу и креслу Хлойне. — Свидетельством его мастерства может служить и костюм товарища Карныгина. Какая работа! Просто залобуешься. Она так и просится на выставку... В Москву... В Париж!.. Но в нашем деле, товарищи, главное — не одежда, а человек. — Старый подпольщик отвесил, как солистка хора имени Пятницкого, низкий поклон и в сторону полковника. — Однако, если многоуважаемый истец, товарищ Карныгин, хочет, чтобы в шагу было не двадцать четыре сантиметра, как у студента первого курса, а двадцать шесть, как у выпускника академии Генерального штаба, почему бы не пойти ему навстречу? Желания трудящихся... наших защитников-офицеров, всех советских людей — закон для портного...

— Вы кончили, товарищ Левин? — спросил судья и, не дожидаясь ответа, что-то себе пометил в блокноте, достал платок и предупредительно-громко высморкался.

— Да.

— Спасибо. Слово товарищу Борису.

Выступление второго эксперта отличалось завидной краткостью и решительностью.

— Меня учил шить один грек на Пересыпи по имени Одиссей... Аркаша, говорил он, тыкать иглой в сукно можно научить любого, а шить так, чтобы тебя вспоминали не только живые, но и мертвые, могут только отдельные особы. Пусть мне простит предыдущий оратор, но его вряд ли вспомнят... И меня не вспомнят... А того, кого вы сегодня судите, пожалуй, не забудут... что бы о своем костюме ни говорил товарищ полковник... Дай Бог, чтобы когда-нибудь и меня судили за такую работу.

Борисов взял портфель и неторопливо спустился с трибуны.

В зале тишина уплотнилась настолько, что казалась стеклянной.

Отец тяжело дышал. Он сидел, опустив голову, и смотрел себе под ноги, как будто вот-вот провалится.

Судья и его помощники удалились на совещание, и вскоре секретарь зачитал постановление:

«Удовлетворить... Вернуть на переделку...»

Мама нетерпеливо, два часа подряд ходила взад-вперед вдоль серого двухэтажного здания суда. Там, где улица Домашявичяус утыкалась в «министерство госушаса», она делала короткую остановку, против своей воли бросала взгляд на неприступные, зарешеченные подвалы, съезживалась и быстро возвращалась обратно.

Когда отец вышел, она не бросилась его расспрашивать — по его лицу все поняла.

— Но почему?.. Почему ты проиграл?.. Хлойне предал?

Он мотнул головой.

— Тот... Из Паневежиса?

— Нет.

— Так почему же?

— Если бы ты, Хена, видела, в каких брюках был судья...

Он взял ее, как в молодости, под руку, она прижалась к нему, и под шум теплого летнего дождика, как под звуки свадебной флейты, они зашагали домой.

Так кончился первый и последний суд в земной жизни моего отца — Шлейме Кановича.

Последний перед тем, как предстать перед Страшным судом, где каждый — ответчик и где Истец — не армейский полковник, а Судья — никуда не торопится.

Кремлевская обновка

Никогда еще комментаторский голос Нисона Кравчука, часовых дел мастера и добровольного осведомителя отца, не звенел так торжественно и строго, как в тот день, когда Горбачев объявил на всю страну о выборах народных депутатов СССР. Казалось, не было в жизни Нисона ни ссылки, ни каторжной работы в лесхозе в захолустном Канске.

— Начинается, Шлейме, новая эра, — волнуясь, выдыхал он в трубку, смакуя каждое слово и подробно излагая содержание откликов всех радиоголосов, вещавших из-за границы по-русски, на перемены в Кремле. — Перестройка! Горбачев берет быка за рога.

Отцу было абсолютно все равно, кого Горбачев берет за рога. Он понятия не имел, что такое новая эра. Наверно, что-то хорошее, может, даже очень хорошее, но как его довести из «столицы нашей Родины», из Москвы, сюда, в Вильнюс, на улицу имени расстрелянного в двадцать шестом году на Девятом Форте пекаря Рафаила Чарнаса? Не получится ли как всегда: пока хорошее доведут, пока расфасуют на порции, оно либо протухнет, либо ему, Шлейме Кановичу, положенной доли не достанется?..

Но к чему отец был совершенно равнодушен, так это к выборам. Судьбу, уверял он, выбирают человеку на небесах, а не на избирательном участке где-нибудь возле стадиона «Жальгирис» или автобусной станции.

— Все сейчас будет по-другому, — уверял его Нисон.

Сколько раз за свою долгую жизнь отец слышал, что с завтрашнего дня все будет по-другому. Наступало завтра, и все оставалось так, как было, — небо, люди, деревья, казармы и тюрьмы.

— Как по-другому? — спросил он Нисона. Не спросишь Кравчука, он совсем скуксится, замолкнет, как оброненные на булыжник часы.

— Честно, по-людски, — умерил свой восторг часовщик. — Радио, например, будет говорить только правду, газеты писать — только правду.

— А зачем тебе правда? Здоровее станешь? Моложе? Мы что, раньше правды не знали?

— Не всю, — не уступал Нисон. — Не всю.

— Всей правды даже Господь Бог не знает... Если бы знал, каким будет человек, он, может быть, и не сотворил бы его.

— Свободы, говорят, прибавится, — как ни в чем не бывало продолжал Кравчук. — За границу разрешат ездить.

— Подумаешь — за границу! А разве мы когда-нибудь жили у себя дома?

— Кто — «мы»? — опешил Нисон.

— Евреи... Приходим на свет за границей и помираем за границей. Тебе двух с половиной тысяч лет заграничной жизни мало?

Не желая признавать свое поражение, часовых дел мастер решил прибегнуть к главному козырю:

— Между прочим, по городу ходят слухи, что и твой Гиршке как будто бы в списках.

— В каких еще списках?

При упоминании о списках перед глазами отца всегда возникали одни и те же печальные картины — вереница вагонов на железнодорожной станции, битком набитых ни в чем не повинными людьми, подлежащими депортации из Литвы к белым медведям; солдаты в топорно сшитых полушубках на сторожевых вышках на Колыме и в Воркуте; писатель Борис Львович Гальперин в полосатой лагерной робе; тогда еще зрячий земляк Нисон на лесоповале под Канском не с волшебным пинцетом, а с пилкой.

— Будущих кремлевских депутатов, — успокоил его Нисон. — За что купил, за то и продаю.

Нисон ожидал, что весть обрадует земляка, что тот оживится, примется расспрашивать, по какому радио он слышал эту новость, но на другом конце провода было только слышно, как Шлейме тяжело дышит в трубку.

— Говорят, литовцам понадобился депутат-еврей в Москве, — пояснил часовщик, все еще пытаясь доставить хотя бы куцую радость своему старому другу.

— При всех больших заварушках нужен еврей. Либо как козел отпущения, либо как банщик.

— Банщик?

— Чтобы перед миром с хозяев грязь смывать. А бывало, что и кровь.

Нисон принялся горячо доказывать, что все в мире меняется, что и Советский Союз — не исключение, что как ни крути, а литовцы — молодцы, воспряли, как в пятьдесят шестом венгры, ринулись, безоружные, в бой с Советами, пошли ва-банк, и, чем черт не шутит, может, им на самом деле подфартит — удастся улизнуть из капкана, но отец не был склонен переубеждать его, в этих делах он не был силен; в добрые перемены не верил, а к слухам о сыне, скорее встревожившим его, чем обрадовавшим, предпочитал не прислоняться, как к спинке свежескрашенной садовой скамейки. Прислонись — и потом пятна никакими порошками не выведешь.

Лучше всего, конечно, положить трубку, но Нисон обидится, хотя, если подумать, чего, собственно, на него, на Шлейме, обижаться — ноги не слушаются, дыхание, как лампочка в коридоре — вот-вот перегорит, сердце словно подушечка, утыканная иголками. Добрый человек Нисон, очень даже добрый, но ужасный зануда. Как заладит, не остановишь. Все время подкручивает другого, как когда-то часы в часовой мастерской напротив Академического театра. И ведь не скажешь человеку, что никакой подкруткой ему, Шлейме, уже не поможешь, все винтики проржавели и рассыпались, и всласть резвившаяся стрелка вот-вот застынет навеки...

Тем не менее весть о выборах взбудоражила отца. Он нетерпеливо ждал от Нисона очередного обзора новостей и слухов, но Кравчук, как нарочно, не подавал голоса. Может, не приведи Всевышний, приложил ухо к своему довоенному «Филлипсу», тихо, под комментарии Би-би-си или под глуховатый «Голос Израиля», испустил дух и унес, счастливец, с собой на тот свет последние известия.

Когда Максимыч не звонил, отец маялся больше, чем обычно, хандрил, то скливо поглядывал на поблескивавшую в сумерках лягушку-телефон на столике в прихожей и, лежа на диване, предавался неспешным размышлениям о том, что, наверно, на земле нет большего счастья, чем вовремя, без задержки, хлопотной для других и унизительной для себя, уйти — вставными зубами, натирающими в кровь десны, перекусить по-портновски надвое истончившуюся нить, которая отматывалась изо дня в день восемь с лишним десятилетий и, не обрываясь, тянулась через чужие страны, города и судьбы.

Бывали дни, когда, тяготясь отсутствием звонков и вынужденным бездельем, он подходил к большому, для примерок, зеркалу, безжалостно разглядывал себя и громогласно поносил за малодушие, едва сдерживаясь, чтобы не плюнуть в свое отражение. Другой на его месте не стал бы тянуть вольнку, выслушивать — от одного сердечного приступа до другого — каждый день сводки ничемных Нисоновых новостей, дворцовые сплетни; клянуть у Всевышнего, чтобы резвая, палаческая стрелка со скрипом совершила еще один круг; другой на его месте давно нашел бы в себе мужество и свел счеты с осточертевшей жизнью, перестав за нее цепляться, как цыган за хвост краденой кобылы. Но другой на его месте на протяжении почти что целого века, увы, не было.

— Хаиму — восемьдесят пять, а он еще в самодеятельности играет. А Бенцион в свои восемьдесят в Дом офицеров свою Цилечку на танцы водит... — укоризненно-гунгливо сетовала матефа Дора на дурное настроение отца, осыпая его, как новогонными конфетти, фамилиями своих знакомых — образцовых мужей, которые не сдавались и даже на старости держались молодцами.

Жеманная, слезливая, недовольная всем на свете — ценами на рынке, замужеством, соседями по лестничной площадке, — она впивалась в него своим цепким взглядом, подозрительно осматривала, как диковинную вещь, купленную из-под полы у домушника на толкучке, и, что-то недовольно бормоча, подноси-

ла на блюдечке горькие, обрыдлие таблетки от сердечной недостаточности и для разжигания ленивой, сгустившейся крови, не отходя ни на шаг от стола до тех пор, пока Сламон Давидович, как она сокращенно, с излишней дикторской торжественностью его называла на людях, не отправлял своими высохшими, скрюченными пальцами лекарство в рот. Доре нравились ее многотрудные обязанности суровой и неподкупной надзирательницы за его здоровьем и мыслями. В отличие от Хены Дудак, которая, по мнению мачехи, развратила мужа своей добротой, потакая каждой его прихоти и развлекая всякими рассказными и анекдотами, Дора пичкала своего Сламона Давидовича не только лекарствами, но и назиданиями, настойчиво внедряла в его сознание, якобы развращенное другой женщиной, писанные и неписанные правила хорошего тона, которые бог весть в каком благородном пансионе постигла; покрикивала на него, как на ребенка-шалуна, и требовала не уважения, не любви, а беспрекословного послушания. Не было у нее, как у любвеобильной Хены Дудак, ни распаханности души, ни самоотверженности, ни постоянной готовности к прощению. Потеряв во время войны всех своих близких, натерпевшись в эвакуации не то в Пензе, не то в Казани голода и холода, Дора научилась экономить хлеб, правду и любовь, смешивая первый со жмыхом и отрубями, вторую — с подобострастием и лицемерием, а третью — с притворным сочувствием к другим и трогательной и жалостливой заботой о себе. Жалости она и впрямь была достойна, и отец, выкупанный в истинной, без всякой примеси притворства и расчетливости, любви Хены Дудак, по-рыцарски — пока мог — защищал свою, как он говорил, непоправимую ошибку от оговоров и клеветы и испытывал к Доре прощальную, пусть и не явную, а глубоко затаенную благодарность за помощь и ворчливую поддержку...

Глотая с нескрываемой гадливостью и не свойственной ему покорностью многочисленные лекарства, которые ему нисколько не помогали, он молча вспоминал своего тихого и интеллигентного соседа и клиента, моего собрата по перу — покойного Бориса Львовича Гальперина, писавшего на единственно-доступном отцу языке — на идише, на языке Рыжей Рохи и сапожника Довидо, на языке миллионов евреев, расстрелянных вместе с его шутками и прибаутками, здравицами и проклятиями, неповторимой мелодией, которая нет-нет да и пробивается сквозь толщу окровавленной земли.

— Вот бы и мне так, как он,— корил себя отец.

— Писать? — пошутил я.

— Хватит и одного писателя в нашей семье! — огрызнулся он. — Подумать только, как все просто: прячешь каждый вечер под подушку снотворное, а в один прекрасный день — буль-буль-буль — и проглатываешь всю недельную норму.

— Что ты, папа, придумываешь? Борис Львович скончался от двустороннего воспаления легких.

— Неправда! Он покончил с собой. Собрал все таблетки — и разом!..

Наитие не обманывало его. Но я скрывал от него правду. Правда для него была не лекарством, а ядовитым зельем.

— Из дому вроде не выходишь, а все знаешь... — помрачнел я.

— Знаю. На нашем острове все известно, ничего ни от кого не утаишь. И не старайся. Правду, как и беременность, скрыть невозможно. Чем упорнее скрываешь ее, тем она круглей становится.

Я догадывался, о каком острове он говорит, но считал за благо ни о чем его не расспрашивать.

— В последнее время, Гриша, я боюсь его оставлять одного, — призналась мне однажды мачеха. — Как бы он не сделал то же, что ваш знакомый писатель... Ведь я Сламону Давидовичу тоже каждый вечер снотворную пилюлю даю и каждое утро только и делаю, что под подушками роюсь и под простыней шарю... И ночной столик, где лампа, обыскиваю. А вдруг он где-нибудь припрятал... — подкармливала она меня своими тревогами. — А мне, Гриша, и в магазин надо, и на базар, и на лавочке возле дома посидеть охота — свежим воздухом подышать. Как бы не прозевать... Тем более что у Сламона Давидовича на-

строение хуже некуда, только о смерти и говорит. И еще об этом еврейском острове.

Я весь напрягся.

— Это ваш знакомый ему голову задурил...

— Борис Львович?

— Да. Это началось еще в позапрошлом году, когда ваш Львович был жив и принес Сламону Давидовичу отрез на костюм.

— Что началось? — нетерпеливо спросил я, зная, что мачеха может потратить на жалобы остаток лет.

— Пришел однажды этот Львович на примерку и говорит: кто себе, реб Шлейме, как ни в чем не бывало костюмы шьет; кто своего ближнего за глотку хватает, чтобы тыщонку лишнюю сунуть в чулок; кто за тридцать сребреников готов свою родную мать продать или целовать чью-то, простите, Гриша, задницу. Но никому, мол, из евреев не приходит в голову, что все мы обречены.

— Почему, Дора, обречены?

— Вот и я его спросила: почему? А потому, говорит, что наш остров водой заливают. И с каждым днем все больше и больше. Куда ни глянешь — вода, вода, вода. И на берегу ни одной лодки, ни одной шлюпки. Вы, Гриша, слушаете меня?

— Слушаю, слушаю...

— А если бы, говорит ваш Львович, даже пароходы были, то и на них спастись не удастся... все равно не уплывешь... Еще год, еще два, и нас всех смоем. Интересно, Гриша, кого он имел в виду: всех евреев или только нас, стариков?

— Не знаю. Право, не знаю, — смутился я.

— Сламон Давидович наслушался его ужасов, и теперь он ему каждую ночь снится.

— Борис Львович?

— Нет, этот остров... И вода. Проснется ни свет ни заря и пилит, и пилит меня: «Выбрось все эти лекарства. На кой черт они мне, когда уже вода по шею...» Господи, Господи, что за сны? Другим на старости лет что-то приятное снится — кому молодость, кому первая любовь, кому внуки и правнуки, а ему, надо же, эта вода, этот дурацкий остров.

Она замолчала, беспомощно и недобро глянула на меня, желая, видно, удостовериться, какое впечатление произвел ее рассказ.

Что и говорить, рассказ меня поразил.

— Прошу вас, Гриша, поговорите с папой, чтобы он глупостей не натворил. Я понимаю, человек вы занятой, разъезжаете да разъезжаете, на митингах выступаете, вас по телевизору показывают. Некогда вам, конечно, пустяками заниматься. Но отец же — не пустяк.

— Не пустяк, — выдохнул я.

— Может, с Кибарским посоветоваться или Нуделя позвать? Или, может, его к другому доктору отвезти? — не отпускала меня мачеха. — Вы только не сердитесь, но литовцы и без вас, наверно, управятся.

Я обомлел.

— Клара, ну та, которая из шяуляйского гетто, недавно встретила меня на Калварийском рынке и говорит: ах, Дорочка, если бы в войну, когда нас в Каунасе на смерть гнали, литовцы так заступались за евреев, как сейчас ваш Гриша заступает за них...

И испуганно осеклась...

Я не стал оправдываться. Честно говоря, крыть было нечем — в войну в Литве за евреев и впрямь мало кто заступался.

Ободренная мачеха решила до конца отпраздновать победу.

— Клара говорит, что вроде бы вас, Гриша, эти литовцы собираются в Москву депутатом послать. В больнице, где она когда-то регистраторшей работала, в четверг как будто была ваша встреча с избирателями. Но вы Клару не узнали... А она вас сразу узнала. Говорит, вы хорошо выглядели... О свободе рассказывали, о независимости... Но я Сламону Давидовичу ни слова не скажу...

Разволнуется, схватится за сердце. Он все время боится... как бы вас не забрали. Послушаешь его, так все писатели, кроме Шолом-Алейхема, в тюрьмах мыкались или, как Нисон Кравчук, в Канске пилой махали и на морозе мерзли... Ваш Львович тоже семнадцать лет на Севере откуковал... На кончике иголки, говорит Сламон Давидович,— хлеб да соль, а на кончике пера — голод, тюремные нары и пьянство...

Я поклялся, что обязательно поговорю с отцом и постараюсь его успокоить, но время шло, а я все не решался заговорить об этом острове, об этой злополучной воде, в которой евреи уже стоят по шею... Легко сказать — поговорить и успокоить. Ведь не подойдешь же к нему и не станешь убеждать, что бояться за меня не стоит, что в тюрьму не укутут (хотя в этом никто — даже ни в чем не повинный старый портной — не мог быть стопроцентно уверен); не станешь подсказывать, что и кто должны ему сниться (молодость и первая любовь, увы, ему уже давным-давно отоснились), говорить, что ни один человек не вправе брать на себя полномочия Бога и самовольно сокращать сроки своей жизни. Отец же сам меня учил, что там, наверху, у Главного распорядителя, имеется точное расписание — чья очередь и когда...

— Вся беда, Дора,— сказал я,— что без работы он, страшно вымолвить, как мертвец...

Она испуганно слушала меня, ломая руки и беспрестанно щелкая пальцами, и этот сухой и нестерпимый щелк костей в тишине, пахнувшей, как щелок, старческой немощью, обретал какое-то зловещее, почти роковое звучание.

Щелк, щелк, щелк...

— Вспомните: еще совсем недавно, когда папа для Львовича костюм мастерил, он был другим,— не столько ей, сколько самому себе сказал я, стараясь предотвратить очередной оползень ее манерных упреков и обидных обвинений.— А почему? Да потому, что работал. Ножницы в его руках стрекозами порхали, глаза горели молодо, и никакого острова и воды, в которой он стоит по шею, и в помине не было, а была работа — самый прекрасный и самый сладкий сон на свете. До того, Дора, прекрасный, что и просыпаться не хочется. По себе знаю.

Было муторно на душе, и я торопился заболтать свой страх, заглушить словами чувство вины, которая меня постоянно преследовала и которую я всегда испытывал при встрече с теми, кто за себя никогда не боялся, а всю жизнь боялся за других.

— Все это, Гриша, очень красиво, но сколько, скажите, можно гнуть спину?.. Вы же его сами в позапрошлом году из Риги поздравляли.

— Из Риги? С чем?

К моему стыду, память не удержала ни одного события, с которым я мог в позапрошлом году его поздравить.

Мачеха, конечно, имела в виду не день его рождения, а какую-то другую дату, но умышленно не спешила подсказывать, наслаждаясь моей растерянностью.

Я был посрамлен за свое беспамятство. Но, как ни шастала моя пристыженная мысль, как ни металась в поисках какого-нибудь семейного юбилея, ничего из этих шастаний и метаний не выгребла.

— Тогда семьдесят лет отмечали...

— Вы, Дора, не оговорились?

— Семьдесят лет трудовой деятельности.— На ее лице зазмеилась улыбка.— Даже ателье «Рамуне» поздравило... Целых два ведра цветов прислали... И красную папку с двумя благодарностями — по-русски и по-литовски... Показать?

— Ах, да! — виновато бросил я.— Я тогда действительно был на Рижском взморье...

Мачеха просто ликовала. Самая ничтожная победа над пасынком доставляла ей столько же радости, сколько выигранное сражение какому-нибудь боевому маршалу.

— Но вы же ему сами запретили брать иголку в руки,— пробормотал я, пытаясь отыграться.— Упрекали, что он вечно захламляет квартиру — лоскутами,

нитками, старыми пуговицами, ошметками ватина, что вы не успеваете за ним убирать — хоть домработницу нанимай... целыми днями метлой машете... безвылазно дома торчите... не ходите вместе, как Хаим с Цилечкой, ни в театр, ни на танцы.

— Не я, Гриша, запретила,— отразила Дора контратаку.— Доктора и старость. Я Сламону Давидовичу ничего не запрещаю, кроме как болеть.— Мачеха обиженно сложила гороховым стручком губы и засеменила на кухню.

Как ни оберегали домочадцы отца от лишних волнений, кто-то — не всезнайка ли Клара? — все-таки рассказал ему о моем участии во встречах и митингах и о выдвижении кандидатом в депутаты. Не дожидаясь, пока я сам соизволю явиться, он позвонил мне и попросил зайти.

В доме, кроме нас двоих, никого не было.

Он сидел за столом, опершись о дубовую палку, и молчал.

Молчал и я.

Было что-то угнетающее в этом наполненном взаимными обидами и любовью молчании. В какой-то момент мне показалось, что, утомленный ожиданием, отец уснул, и я украдкой метнул взгляд на старинные стенные часы, которые, как и еврейское счастье, вечно опаздывали.

— Выберут тебя туда, не выберут, неважно,— вдруг сказал он, оглядывая меня с головы до ног.— Но пригодиться тебе надо. Ходишь, как молодой оборванец, а не как писатель. Так вот, у меня тут отрез заваялся. Английская шерсть. Одно счастье, что моль его до сих пор не тронула — пожалела. Так я подумал и решил: сошьем тебе с Богусем из этого отреза новый костюм,— сказал он и снова замолчал.

Я попытался отговорить его — мол, зачем ему, больному, утруждаться, я из Турина как раз привез себе готовый, твидовый. Пусть, мол, лучше побережет здоровье.

Но он только криво усмехнулся:

— Твидовый-шмидовый. Сказал: сошью — значит, сошью...

Он по-прежнему сидел, опершись о палку, седой, небритый (бритва его не слушалась, каждое утро приходилось густо заклеивать порезы лейкопластырем и превращаться то ли в циркового клоуна, то ли в пугало огородное); облюбованные печалью глаза просительно смотрели из-под седых, но еще мятежных бровей.

— А тебе, папа, как хочется — чтобы меня выбрали или чтобы я продул?

Он ответил вымученной улыбкой.

— А тебе самому, Гиршке?

Я пожал плечами. Утвердительный ответ не устраивал его, а искреннего, нежного у меня не было.

К моему удивлению, на сей раз он не прибег к своей излюбленной портновской мерке, которой мерил все на свете, начиная с мачехи («Ее, видно, из рогажи сшили...») и кончая правителями («Пуговицу не могут без посторонней помощи пришить, а берутся перекраивать весь мир»); не стал мне втолковывать, что власть — это самое никудышное на свете ремесло, куда хуже, чем немилое ему писательство, ибо если из-за собственных писаний сам харкаешь кровью или в казенном доме своими костями нары греешь, то, забравшись на загаженный коварством и изменами насест власти, принимаешься сколачивать нары для других ради того, чтобы подольше удержаться на позолоченной жердочке и, не угрызаясь, из других вышибаешь душу, других казнишь, преследуешь, ссылаешь во всякие Кански.

Решив, что я согласен с его намерением шить мне обновку, он наконец задал мне вопрос, никакого касательства ни к выборам, ни к шитью не имевший.

— Гиршке,— спросил он,— скажи, пожалуйста, а что такое новая эра?

— Новое время,— облегченно вздохнул я.

— А-а-а,— протянул отец и снова замолк.

Помолчал и обронил в тишину:

— Но разве время новым когда-нибудь бывает? Проснулся, встал, открыл форточку, а оно уже старое... Оно всегда старое...

Он на минуту задумался, прислонил палку к столу, выпрямился:

— Мне, Гиршке, много-много лет, даже слишком много. Я новые пальто и пиджаки видел, новые винтовки и пушки, новые самолеты и дороги. Но нового времени не припомню. Только старое, одноглазое, глухое...

Вздыхнул, поскреб скрюченными пальцами щетину и, как махорку из табакерки, выколупал оттуда еще одну щепотку слов:

— До тебя у нас в роду люди только одного всем миром выбирали?

— Кого? — удивился я.

— Твоего прадеда Моше... Старостой местечковой синагоги. Но он служил не власти, а Богу... А ты, Гиршке, кому собираешься?

— Ну не дьяволу же! — попытался я обратить все в шутку.

Но отец, видно, не был настроен шутить.

Не проявил он и желания говорить о докторах и впускать меня в свои сновидения. Не успел я начать разговор о Кибарском и Нуделе, которые носили шитую им одежду, а в промежутках между заказами лечили его от всевозможных дорогостоящих хворей, как он тут же меня оборвал:

— Так я звоню Богусю. Мне без него не справиться.

Богуслав, молодой поляк из-под белорусского города Воронова, был его любимым (и последним) учеником, которого он терпеливо учил крою и ласково называл Богусем, хотя терпеть не мог ни сюсюкания, ни панибратства. Его привязанность к Богуславу объяснялась, наверно, тем, что тот своим упорством и прилежанием, безоглядной преданностью работе и неутомимостью напоминал его самого в далекой йонавской молодости.

— Пан Канович,— однажды огорошил его своим признанием Богуслав,— я полностью согласен с вашими словами. Не поверите, но я даже поделился ими со своей Региной.

— С какими словами?

— Про женку и иголку. Помните, как вы сказали: женка может изменить, а иголка — никогда.

К нему, к этому тихому, набожному человеку, отец, когда перестал шить, и стал переправлять всех бывших своих клиентов, а порой и сам обращался к нему за помощью и за советом.

Не отказал Богуслав в помощи своему учителю и на сей раз.

Осыпанный, как черемуховым цветом, нитками, с мелком в руке и замусоленным сантиметром на шее, отец сновал вокруг стола, забыв о своих болезнях. Он что-то аккуратно помечал и чертил на заначенном отрезе из английской шерсти, а Богусь, скрипя старыми, тронутыми ржавчиной ножницами, без всякой надобности пылившимися в картонной коробке из-под Дориной обуви, под его командованием что-то кроил. Не желая выпячивать перед учителем свою молодость и сноровку, хвастаться своей оснасткой, Богусь, который приходил к отцу только по пятницам и субботам, не кидался первым все делать, ничего с собой, кроме иголки, из дому не приносил — ни шустрых заграничных ножниц из нержавеющей стали, ни своего новехонького с крупными и четкими делениями сантиметра, ни ниток, ни даже наперстка. Он держался так, чтобы и тени сомнения не оставалось — костюм сыну ладит пан Канович, его добрый покровитель и учитель, а не он, его ученик, безусым пареньком подавшийся четверть века тому назад на заработки из нищей Белоруссии в буржуазный, не очень советский Вильнюс, где, еще не догадываясь о своей будущей профессии, случайно укрылся от проливного дождя в уютном швейном ателье на углу Троцкой и Завальной.

Отец, однако, быстро и заметно уставал, начинал надсадно кашлять и часто обьявлял перекур. Он грузно опускался на стул, клал под язык спасительную таблетку нитроглицерина, снимал с запотевшей переносицы очки с диоптриями Бог весть какой давности, подтягивал к себе край отреза и с печальным удовольствием принимался двумя пальцами разминать добротное, впрок прибереженное сукно, как когда-то перед глубокой затяжкой ароматную папироску.

Превозмогая усталость, унижительную слабость в ногах и не обращая внимания на колики в сердце, напоминавшие вечно опаздывающие настенные часы, отец тем не менее продолжал работать. Вода, в которой он стоял уже по шею, на время отливала от острова; взгляд не искал на рейде ни шлюпок, ни пароходов; нитка, вдетая в крохотную иголку, прочно удерживала его на плаву, и отцу было хорошо в этой маленькой обезлюдившей гавани, за этим грубо сколоченным, в прошлом хлебосольным столом, за которым по-прежнему сидела седоголовая смеющаяся толстушка по имени Хена, глядела на него, как на свадебном снимке, с насмешливой нежностью и изредка заговорщически подмигивала.

Работа встряхнула отца. В один прекрасный день он повесил в прихожей на вешалку палку, попросил сменить затупевшую бритву и купить новый флакон одеколона, чтобы к пятничным приходам верного Богуся соскрести со своих впалых щек, как он сам говорил, кустики покойницкой щетины.

Первыми перемену в его настроении заметили бдительная мачеха и чуткий к голосам Нисон Кравчук.

Если раньше Шейме молча выслушивал его реляции, но редко на них реагировал, то сейчас — кто бы мог поверить! — сам впадал в соблазн и задавал земляку всякие вопросы: когда выборы? кто соперники Гиршке и скоро ли вся эта катавасия закончится и наступит новая эра?

Нисон был просто счастлив и звонил десять раз на дню.

— Я отключу телефон! — грозила Дора.

— Только попробуй! — грозился отец.

Услышав от часовщика, что, кроме его Гиршке, еще шестеро борются за одно место в Кремле, и среди них городской голова — мэр Вильнюса Вилейкис, отец не обрадовался, но и не огорчился. У хорошего портного, уверял он, во все времена есть только один соперник — он сам. Как есть только один выбор — шить. Шить победительно и неудачнику. Но разумно ли правнуку синагогального старосты лезть в костельные служки?

Чем был все для Гиршке ни кончилось, рассуждал он, сукно уже закрыто, правая штанина на «Зингере» прострочена, утюг включен в розетку, и, значит, отступать некуда.

— Теперь Сламону Давидовичу ничего не снится, — осыпала меня шепотками мачеха, когда я прибежал на примерку. — Он даже от снотворного отказывается.

— И слава Богу!

— Просыпается ни свет ни заря и спрашивает: «Сегодня какой день?» «Понедельник». «Только понедельник?!» Ждет не дожидается пятницы, когда Богусь придет и они снова вместе за стол усядутся, когда снова застрочит «Зингер»...

Каждое появление молодого помощника и советчика вызывало у отца недолимую жажду жить.

Он не спешил, придумывал всякие ухищрения, чтобы продлить это горестное, это неравноправное, это похожее на попрошайничество шитье; истязал меня примерками, обмерял с головы до пят и обшаривал, как опытный сыщик, менял подкладку, без конца подбирал пуговицы — коричневые заменял на бежевые, бежевые — на кофейные; укорачивал брюки, перешивал карманы, снова и снова отглаживал борта, покрывал от усталости, но не сдавался.

Костюм получился просто загляденье.

Повезло мне и на выборах.

— Мой тебе совет, — напутствовал меня отец перед отъездом в Москву. — Как можно дольше и больше там, в этом Кремле, молчи. Кравчук говорит, что от трибуны Мавзолея до лагерного барака — один шаг. Наговоришься дома. Когда приедешь.

Глаза его сузились, из них вдруг брызнули слезы, и он замолк.

Когда я с первой сессии вернулся в бурлящий, помешанный на свободе и независимости Вильнюс и пришел на еще не переименованную улицу коммунара Чарнаса в обновке, отец как-то странно и отчужденно посмотрел на помятый в дороге пиджак из отменной английской шерсти, потом остановившимся взгля-

дом, как слепой, устался на блестящий значок депутата, прикрепленный к лацкану, глубоко вздохнул и сказал:

— Гиршке,ними, пожалуйста, эту бляху. Зачем хорошую вещь портить?..

Лицо у меня вспыхнуло, я стал поспешно отделять от костюма значок, а отец по-прежнему смотрел на меня с той же странной отчужденностью, как будто видел впервые.

Дора между тем бросилась угощать меня залежалым пирогом, звенела коньячными рюмками, которые по случаю моего возвращения из Москвы достала из чешского буфета, и с какой-то торжественностью протерла их фартуком.

Отец по-прежнему не сводил с меня глаз.

Его взгляд, орошенный невольными и необъяснимыми слезами, был устремлен уже не на меня, не на вопиющую вмятину на лацкане — старик, казалось, видел что-то другое, не связанное ни с его работой, ни с его чувствами: может, ему, как в сновидениях, опять примерещились тот остров и та вода, беспрестанно накатывающая на пустынный берег, на котором не было ни лодки, ни шлюпки, ни людей, а только валялись вразброс какие-то щепки и обвитые водорослями обломки; и он, Шлейме Канович, был уже не Шлейме Канович, а такой вот невесомой, безгласной щепкой, таким вот отколовшимся от одноглазого времени, как от мачты, обломком, уносимым Бог весть куда равнодушной волной.

Площадь висельников

В сорок пятом, когда отец вернулся из угоревшей от войны Восточной Пруссии в истерзанный, настороженный Вильнюс, улицы и площади города, освобожденного от немцев, еще носили свои прежние, восходившие к глубине веков названия, добротны и надолго сшитые, как одежда, равнодушная ко всяким прихотям времени и к переменчивым вкусам властей, сменявших друг друга: Мясницкая, Рудницкая, Стекольщиков, Завальная, Заречная, Немецкая, Татарская... По-старому называлась и площадь неподалеку от того дома, где стараниями Шмуле Дудака солдат-победитель Шлейме Канович получил казенные две комнаты, — Лукишкская. Никто — ни мои родители, пустившиеся во весь опор вдогонку за счастьем, улепетнувшим от них в войну; ни сосед-книгочей Йосл Гордон, работавший кладовщиком в типографии, которая размещалась на первом, уцелевшем этаже разбомбленного и в августе сорок четвертого прекратившего свое существование борделя для немецких солдат, оторванных от родного очага и соскучившихся по привычным, как баварское пиво, утехам; ни я, погружившийся всецело в дотошное изучение «Слова о полку Игореве» и древнерусских летописей; ни мои дядья и тетки, обосновавшиеся поблизости от нас и образовавшие в столице Литвы что-то наподобие миниатюрного еврейского местечка, — не ломал голову над тем, названа ли площадь в честь одноименной грозной тюрьмы, маячившей за окнами своими сторожевыми вышками, или тюрьма, со всех сторон огороженная колючей проволокой, удостоилась чести называться по печально знаменитой площади, где графом Муравьевым-вешателем были публично казнены герои польского восстания Сераковский и Калиновский.

Об их казни скромно свидетельствовал мемориальный камень с незатейливой надписью, на который мало кто обращал внимание и возле которого на деревянных некрашеных скамейках теплыми летними ночами отсыхались казенные сивухой бедолаги-пьяницы, иногда — спросонья, без всякого злого умысла — осквернявшие неровными желтыми струйками священную память о героях.

Мой отец, любивший в субботние дни прогуливаться вместе со свояком Лейзером или часовщиком Нисоном Кравчуком, в ту пору еще зрячим, по просторной, облюбованной вездесущими попрошайками-воробьями площади, обсаженной тенистыми деревьями, по старинке продолжал называть ее Лукишкской даже после того, как ей было торжественно присвоено имя Ленина.

— Тебя, Шлейме, все время тянет назад. Что ты как заведенный повторяешь: Лукишкская, Лукишкская? — ворчал бывший чекист Шмуле, изгнанный из органов после убийства Михоэлса и разгрома Еврейского антифашистского комитета и снова взявшийся за портновскую иголку. — Не пора ли, голубчик, привыкнуть к новым названиям и к новой власти?

— А при чем тут, Шмуле, власть? — защищался отец.

— Уже столько лет центральная площадь города называется не Лукишкской, а Ленина, а ты все долдонишь и долдонишь по старинке.

— Ведь и к собственной жене иногда обращаешься по ее девичьей фамилии, — отшучивался отец.

Шмуле, которого хотя и вышвырнули из гэбэ, к политическим шуткам относился по-прежнему с большой опаской. Кто-кто, а он-то хорошо знал, что советский строй шуток не понимает. Тут и за шутку можно по этапу пойти.

— Чушь! — кипятился Шмуле. — Нет у площадей девичьих имен. Кроме Жанны д'Арк.

— Кроме кого?

— Была такая... французская Зоя Космодемьянская... Ты, Шлейме, брось свои штучки-дрючки. Мой тебе совет: каждую вещь называй по утвержденному на данный момент имени.

— Да, но разве, Шмуле, вещь следует называть не по имени, которое ей дали Господь и наши предки, а так, как ее нарекают в горисполкоме, а не в небесной канцелярии?

— Ты что, с луны свалился? Какой Господь? Какая небесная канцелярия? Тебе кто жильё дал?

— Горисполком.

— Правильно! Он и есть наша небесная канцелярия. И наши предки тут ни при чем: все решает горисполкомовская комиссия по переименованиям. Она, поверь мне, знает, какое название надо вычеркнуть, какое оставить, какую табличку на доме повесить.

— Что же получается? — отказывался признавать свое поражение отец. — Если мне на грудь повесить табличку «Дудак», я, по-твоему, перестану быть Кановичем?

— Хитрый вопрос, — усмехнулся Шмуле. — Это, Шлейме, не от тебя зависит.

— А от кого?

— От тех, в чьих ты руках... Что тебе пришилият, тем ты — хочешь не хочешь — и будешь. Ясно?

— Нет.

— Никто, пойми, не потерпит такого идиотского положения, когда с правой стороны — комитет госбезопасности, который, сам знаешь, чем занимается, а с левой — площадь, которая называется, как и близлежащая тюрьма, Лукишкской. Другое дело, если на табличке значится «Площадь Ленина». Звучно, благородно, и никаких тебе намеков и двусмысленностей. Докумекал?

— А может, твой комитет в другое место...

— Понял. Можешь не продолжать! — перебил его свояк. — Я тебе все сказал, а ты поступай как знаешь.

Чтобы потрафить свояку, который по вечерам, как двадцать с лишним лет тому назад в довоенной Йонаве, принялся заново, с каким-то радостным прилежанием учиться шить брюки, отец в разговорах о близлежащей площади отсекал оба ее имени — и старое, и новое — и даже маму приучил на вопрос «Где ваш благоверный?» отвечать: «Пошел на площадь на свидание к Сераковскому и Калиновскому».

Отец и сам не мог уразуметь, откуда у него после войны взялась эта неодолимая тяга ко всему, что было в недалеком прошлом, с которым он свыкся и в котором ему не хотелось ничего менять — ни родительский дом, ни сонную, томную Йонаву, ни реку Вилию, в чистых водах которой, как прибрежные ракушки, отражались лик Господа Бога и невесомые крылья Его ангелов, ни назва-

ния улиц, ни скучные надписи на потрескавшихся от времени надгробных камнях. Может, эту тягу он перенял от своего первого работодателя — пана Юзефа Глембоцкого, который, пока был жив, с неистовой предвзятостью относился ко всем нововведениям и с неизменной последовательностью избегал употреблять резавшие его патриотический слух и сердце новые названия, новые указы и циркуляры, распоряжения и постановления.

— Советская... Коммунар... Красной Армии... Дзержинского... Капсукаса... Комсомольская... Я в Вильне таких улиц не знаю... Я никогда по ним не ходил и ходить не буду... Я хожу по Стефановской... по Завальной... по Калварийской... — частенько говорил он отцу, когда расфранченный, надушенный, с бабочкой-летуньей на шее, с нафабранными усами приходил к нам в дом на субботний обед.

После трапезы, во время которой пан Юзеф, как истый шляхтич, осыпал пани Хену похвалами и комплиментами, он отправлялся с паном Кановичем, как он выражался, «на моцион», на ту самую площадь, где когда-то граф Муравьев-вешатель намыленной веревкой пытался задушить не только двух мятежников, но и на все времена польский гонор и польское достоинство.

Извинившись перед паном Кановичем, командир «еврейского эскадрона» в задумчивости отходил в сторонку, застывал в скорбной позе у мемориального камня, снимал выцветшую фетровую шляпу, кланялся Сераковскому и Калиновскому, вытирал шляхетской рукой пыль с надписи, высеченной на чужом, пусть и славянском, языке и, брезгливо зажав породистый нос, басил:

— Нехорошо, пан Канович, нехорошо.

— Что нехорошо, пан Юзеф?

— Нехорошо, когда от памятников героям-висельникам пахнет мочой. Надеюсь, на пана Владзимиежа никто мочиться не посмеет.

— Но пану Владзимиежу пока еще памятник не поставили...

— Не беспокойтесь, пан Канович. Поставят, поставят... Вильно не будет исключением. Во всех городах Восточной Европы он уже стоит — встанет и у нас. Может, даже тут, на Лукишкской площади. Всяких ...овских уберут, а ему, не сомневайтесь, воздвигнут из мрамора или бронзы. Бьюсь с вами об заклад.

Обычно пан Юзеф ни с кем так не откровенничал, но в разговорах с отцом позволял себе разные вольности. Ему нравились замкнутость и собранность демобилизованного солдата-портного, умение слушать, не задавать лишних вопросов, не лезть в душу.

Дружба с паном Глембоцким отцу льстила. Особенно он ценил поразительную верность пана Юзефа прошлому. Казалось, «врио» весь был там — в довоенной Польше: корпел, как прежде, в швейном ателье своего первого учителя Пинхаса Кадило на углу Аллей Уяздовских в Варшаве; вскакивал в извозчичью пролетку в Вильне и с привокзальной Липовки мчался на свидание к своей возлюбленной Малгожате к ресторану «Зеленый луч», который славился французской кузней и французскими винами. Прошлое пьянило его, как легкий «шартрез» или солнечное «Клико»; оно было его единственным утешением и спасением от настоящего — от ненавистой действительности с ее ежедневными страхами, очередями, с переименованными названиями улиц, наспех поставленными памятниками и введенными навсегда (навсегда ли?) новыми законами и правилами.

— Пан Канович, не помню, у кого я вычитал одну великолепную мысль, — бывало, говорил он, когда они оставались наедине, на всякий случай приписывая свою крамолу какому-нибудь вымышленному автору, жившему сто или двести лет назад. — Только воспоминания... слышите... только воспоминания никакой захватчик не в силах оккупировать. Ни немцы, ни эти... В воспоминаниях ты всегда свободен... никого не боишься... При желании можешь впускать туда кого угодно и кого угодно изгонять. Вы себе не представляете, пан Канович, скольких я уже оттуда изгнал. Но, к нашему с вами несчастью, туда еще много, очень много нечисти проникает... Лезут и лезут, как тараканы из щелей... Чтобы полностью очистить от этой мрази наши головы... наши души... нашу землю, одной

жизни не хватает. Но, покуда мы живы, надо сопротивляться, чтобы настоящее не захватило наше прошлое.

— У нас, у евреев, пан Юзеф, все наоборот: настоящее давно и бесповоротно оккупировано прошлым, — возражал отец.

Но пан Глембоцкий гнул свое: то, что прошло, всегда лучше того, что выросло и вырастает на слезах и крови.

Он не был провидцем, но в одном оказался прав — Вильнюс не стал исключением из правил: на старой Лукишкской площади строители в спешном порядке приступили к сооружению памятника Ленину.

Стройка длилась год. Памятник вождю отлили далеко от Литвы и, как уверял свояк Шмуле, шесть суток везли через всю страну в специальном вагоне, как еще совсем недавно возили приговоренных к каторге.

Ленин же был приговорен к вечной и нетленной славе.

Незадолго до открытия памятника, приуроченного, как водится, к очередной славной годовщине советской власти в Литве, пан Юзеф Глембоцкий скончался.

Он не дожил до всенародного торжества всего лишь полгода.

Из-за похорон генералиссимуса Сталина, умершего в тот же день, что и бывший хорунжий Войска Польского, погребение пана Юзефа отложили на два дня.

Хоронили его на кладбище Росу, где покоилось сердце его великого тезки — маршала Пилсудского.

На похоронах — несмотря на мартовскую метель и гололед — собрался весь «*eskadron zydovsky*», кроме Цукермана, приговоренного за «связь с израильской разведкой» к десяти годам лагерей строгого режима и конфискации всего имущества.

Подпольщик Хлойне, потративший все свои слезы на усопшего Сталина, от имени профкома и парткома треста, глотая, как таблетки, залетававшие в рот снежинки, произнес над открытой могилой прочувствованную речь:

— Прощайте, дорогой пан Глембоцкий! Вы не были поляком, вы не были евреем. Вы были, как сказал Горький, Человеком с большой буквы. Бог оделил вас милостью при жизни, пусть Он исправит свою ошибку после вашей смерти. Память о вас останется в наших сердцах навеки. Прощайте и простите.

Он нагнулся, набрал горсть свежей глины, шагнул к краю могилы, поскользнулся и в тяжелом пальто, без шапки грохнулся в вырытую яму прямо на заснеженный гроб.

Могильщики долго вытаскивали его — измазанного, заплаканного, подавленного нелепым падением, не сулившим бывшему подпольщику ничего хорошего. Отделавшийся только ушибами, он виновато улыбался, как будто просил прощения у всех — и у покойника; и у Цукермана, угодившего не без его помощи на десять лет в лагерь; и у Господа Бога, которого он за долгие годы подпольной жизни напрочь забыл и только сейчас мимолетно вспомнил.

Хлойне смахнул с бровей сосульки, громко и горестно высморкался, лицо его вдруг утратило угрюмость, посветлело, словно умылось раскаянием и страданием, и всем сослуживцам стало жалко товарища Левина, а отцу — неловко за свои подозрения; захотелось сказать Хлойне что-то доброе, но он не находил слов, только пялился на озябшую ворону, косившую с сосновой ветки потусторонним немигающим взглядом на могилу. Подпольщик Хлойне и ворона были, как ни странно, неуловимо похожи, и, казалось, при первых размашистых скрипучих гребках лопаты по смерзшейся глине оба взмоют в небо — сперва крыльями взмахнет птица, потом фалдами зимнего пальто на ватине — Хлойне — и скроются за тучами, лениво плывущими над посверкивающими кладбищенскими молниями — железными крестами.

Смерть пана Глембоцкого совпала с началом строительства памятника Ленину, и в этом совпадении для моего отца был какой-то горестно-предостерегающий знак, умещалось какое-то невнятное, но тревожное наизидание. И не потому, что тихая площадь заполнилась грохотом грузовиков и землеройных машин,

и не потому, что над ней денно и ночью, засты солнечный свет, висела густая пыль, а на щитах, там и сям, по-русски и по-литовски чернели угрожающие надписи: «Стой! Прохода нет!», а совсем по другой причине, может, им и не осознанной до конца: настоящее, то самое ненавистное пану Юзефу настоящее, легко и упоенно побеждало воспоминания, отвоёвывая у них все новые территории и засеяла их теми, кого так хочется оттуда изгнать.

Отец понимал, что площадь преобразится, станет красивей, что со всего города сюда хлынут толпы. Но это будет уже не *его* площадь. И не пана Глембоцкого в фетровой шляпе и с розой в шляхетской руке; и не двух несчастных висельников — Сераковского и Калиновского; и не пьяниц-забудлыг, безнаказанно спросонья писающих на мемориальный камень; и не тех неказистых деревьев, которые пока еще безмятежно росли по краям площади и которые обязательно выкорчуют и заменят молодыми.

Он по-прежнему совершал свои субботние прогулки, но теперь выбирал для них другие места, подальше от дома и от изуродованной кранами и суетой площади, — прогуливался по набережной, пахнувшей речной прохладой, или по горе Таурас, с которой открывался вид на город, утыканный, как огромными иглами, шпильями костелов. Иногда, не дождавшись Нисона или не уговорив свояка Лейзера, он брал с собой на прогулки меня и своим молчанием и частыми остановками испытывал мое терпение. Идет, бывало, вперит взгляд в прохожего и, пока тот не скроется из виду, смотрит ему вслед.

— Папа! — говорил я. — Неудобно так пялиться... Люди бог весть что подумают...

— А что они обо мне могут подумать?

— Что ты оттуда, откуда дядю Шмуле выгнали... или из отдела борьбы с хищением социалистической собственности — ОБХСС... И потом — что за странность: смотришь только на мужчин, а на женщин — ноль внимания?

— Женщины — это не по моей части. На них пусть дядя Мотл смотрит. Он дамский портной. А я, Гиршке, на мужчинах учусь.

— Интересно!

— Смотрю, что носят, как сшито, гадаю, кем сшито... И время быстрее бежит, и, может, в работе пригодится... А на что, сынок, смотрите вы?

— Кто?

— Писатели? — поддел он меня.

— На все, — обиженно ответил я.

— М-да! — хмыкнул отец. — Кто, Гиршке, смотрит на все, тот обычно ничего не видит.

У него и впрямь было странное, избирательное зрение.

— Глаза, — уверял он, — никогда сытыми не бывают. Но их нельзя кормить чем попало или перекармливать.

Отец их и не перекармливал. Он чурался массовых празднеств и массового траура, неуверенно чувствовал себя на людях, избегал компаний, ему хватало двух-трех друзей, верных и нельстивых. Может, потому он и смерть Сталина «пересидел» дома, сказавшись больным, и на шумное открытие памятника Ленину с громом духовых оркестров, фейерверками и литовскими народными танцами на Лукишкской площади не пошел, и к речам у постамента из дорогого, привезенного невесть откуда гранита остался глух — завел старый граммофон, купленный у поляка-реэмигранта, и вместе с утесовскими Костей и рыбацкой Соней в Одессе-маме коротал время.

Ему не было никакого дела до этой обобщественной радости, до этого послушного, прирученного ликования.

Назавтра гул праздника затих и площадь опустела.

Отец встал до восхода солнца, наспех побрился, оделся, стараясь не скрипеть дверями, спустился вниз и чинно зашагал мимо новых, выкрашенных в ядовито-зеленый цвет скамеек, по утрамбованной, влажной от утренней росы дорожке к памятнику.

Пан Владзимиеж, как его называл Глембоцкий, стоял под розовеющим небом в своем историческом, тысячекратно воссозданном — в дереве, камне и металле — пальто, с непокрытой, не защищенной от прибалтийских ветров и ненастья лысой головой, в тяжелых альпинистских ботинках; его пудовая правая рука призывно и властно была устремлена вперед, в воображаемую даль, которая по замыслу скульптора олицетворяла светлое коммунистическое будущее, и почему-то скоро и резко обрывалась в целомудренно зашторенных окнах на верхних этажах Комитета государственной безопасности Литвы; туда же — только в подвалы — был направлен и уверенный ленинский шаг.

От венков и от живых цветов еще пахло вчерашней панихидой.

На пустой площади бодрствовали неугомонные воробьи. Они прыгали вокруг памятника и выклевали из гравия крохи, оставшиеся от всеобщего ликования. Иногда птицы в надежде поживиться залетали на гранитный пьедестал, но вождь мирового пролетариата никакого внимания на них, голодранцев, не обращал. Он неотрывно глядел на серое казенное здание напротив, и непостижимая гордость сияла в его застывшем бронзовом взгляде.

Взошло солнце, и его лучи в утреннем мареве высветили памятник во всем его топорном угнетающем величии и подробностях.

Отец собирался было уйти, но что-то неожиданно заставило его застыть перед памятником и посмотреть на него по-портновски.

Сначала ему показалось, что это наваждение, оптический обман, но чем внимательней он вглядывался в сиятельную бронзу, тем больше росло его удивление.

«Не может быть,— повторял он, оглядываясь по сторонам.— Не может быть...»

Отец несколько раз обошел порозовевшего в лучах солнца пана Владзимиежа и, совершенно сбитый с толку, решил подняться на пьедестал, чтобы убедиться, что он не ошибся, что ему не померещилось.

Нет, никакой ошибки нет. Он прав. Любой портной, даже новичок, подтвердит его правоту. Пусть придет сюда весь «eskadron zyдовsky» — Хлойне, Диниц, новобранец Рафаил... кто угодно. Можно созвать портновский консилиум — вывод будет тот же...

Господи, как жаль, что Глембоцкий не дожил до этого дня! Уж он бы прыгал от радости! Еще бы — такая оплеуха. И кому — не самому пану Владзимиежу, а всем его лакеям!.. Как жаль, что этого не увидел бедняга Цукерман, — Иосиф лопнул бы от смеха!..

Под дружное чириканье воробьев отец сломя голову бросился к автобусной остановке.

— Что слышно, Шлейме? — заученно спросил его напарник Диниц.

— Ничего,— ответил отец.

Он не спешил делиться с сослуживцами ошеломляющей новостью и вообще не был уверен в том, что об этом надо рассказывать посторонним. Расскажешь — и накличешь на себя беду. По городу пойдут гулять слухи. Может, все-таки попридержать язык? Не дай Бог дойдет до кого-нибудь из Шмулиного комитета. Вызовут и начнут щелкать, как грецкий орех. Мол, чего это вы, товарищ Канович, на нашего любимого вождя клеветеете, народ памятник принял, а вы что-то выискиваете, к пустякам придираетесь.

Но и молчать было невмоготу.

— Кто-нибудь из вас был на открытии памятника? — спросил он у своих сослуживцев.

— А что? — поинтересовался Диниц.

— Ничего. Просто спрашиваю,— сказал отец.— Говорят, полгорода собралось.

— Я ездил на дачу. Смородины прорва! — признался Диниц.— Но все видел по телевизору. Памятник как памятник.

— А я на «Римские каникулы» ходил. Последний день показывали... Классный фильм... Одри Хепберн... — повинился новобранец Рафаил Драпкин из Молодечно.— Но я обязательно на Ленина схожу... Обязательно.

— А я был,— перебил его подпольщик Хлойне.— И возложил от имени ветеранов букет... Гвоздики... Каждая, как красный флаг. С друзьями-сокамерниками на скамейке водочки выпили, вспомнили лагерь в Димитраве... Между прочим, там и Шмуле Дудак был, твой свояк. Мы с ним вместе в лагере сидели. Отличный мужик... Компанейский...

Отец не сомневался, что Хлойне не пропустит такое мероприятие: его хлебом не корми — только дай речь произнести, цветочки на могилу возложить, плечами о коверкот первых и вторых секретарей потереться, под красным знаменем постоять...

— И ничего не заметил? — полюбопытствовал отец.

— А что я, Шлейме, должен был заметить?

Шлейме на вопрос не ответил.

— Ленин как вылитый! Абрам Десятник, охранявший в семнадцатом Зимний, говорит, что наш памятник намного лучше московского.

— И чем же он лучше? — вонзил в него свой фальцет Рафаил Драпкин, ни о каком Десятнике и слыхом не слыхавший.

— Десятник Ленина своими глазами видел. Как я вижу тебя, Рафаил. Он говорит, что на всех других он похож на актера Щукина, а на нашем — точь-в-точь такой, каким был.

— А как тебе пальто? — отряхнул с себя робость отец.

— Пальто навеки,— улыбнулся Хлойне.— Сносу ему не будет. Ни дождя, ни снега не боится. А что?

— А пуговицы?

— Что пуговицы? Из чистой бронзы.

— По-твоему, они правильно пришиты? — выпалил отец.

Опешил не только Хлойне — на сослуживца уставились и Диниц, и Рафаил из Молодечно, страстный поклонник Одри Хепберн, и все остальные.

— Правильно и крепко. Не оторвешь,— удивленно глядя на закройщика, промолвил подпольщик Хлойне.— Конечно,— съязвил он,— будь Ленин жив и закажи он пальто тебе, ты бы все гораздо лучше сделал. Ты же у нас мастак по части местной и приезжей знати.

— Во всяком случае, я на мужском пальто пуговицы, как на женском, не пришил бы.

— А кто пришил?

— Тот, кто сшил памятник,— ответил торжествующий отец.— Понятное дело, ты же не смотрел, а восхищался и водочку на скамейке пил. Восхищающиеся и пьющие никаких изъянов не видят. То, что можно простить красногвардейцу Абраму Десятнику-Зимнему, нельзя простить портному Левину. Говоришь, был на открытии, возложил к памятнику цветы, а главного не заметил?

— Что ты порешь?

— Товарищ Ленин стоит в женском пальто,— мстительно отчеканил отец.

— Не может быть! — воскликнул Хлойне.— Не может быть!..

— И я поначалу себе сказал: не может быть. Но что есть, то есть.

— Вот это да! — Восторг распирал впалую грудь Рафаила Драпкина.— Вот это да! В женском пальто!.. Вождь мирового пролетариата...— И он зажал рот, чтобы не прыснуть.

— Веселенькое дело,— заметил Диниц и, откусив нитку, не без удовольствия сплюнул.

Только Хлойне и принятый в ученики ополченный белорус Богуслав хранили верноподданное молчание.

— Я глазам своим не поверил. Представляете — пуговицы застегиваются не слева направо, а справа налево, как будто он и не мужчина вовсе, а женщина...

— Это же безобразие! — горестно вздохнул Хлойне и, все больше распаляясь, повторил: — Форменное безобразие! Если бы такое случилось во времена Сталина, виновным не снести бы головы. Как же я не заметил, как же я не заметил? — запричитал Хлойне.— Когда я сидел в лагере, в Димитраве, то запоем Антона Чехова читал. В человеке все должно быть прекрасно, говорит он,— и лицо, и пальто... Надо что-то делать, надо что-то делать...

Диниц в литовских лагерях не сидел, Антона Чехова не читал и потому ни на какие авторитеты опираться не мог. Он поскреб в затылке и без всякой помощи русского классика выскреб оттуда свое глубокомысленное суждение:

— Что — запретить мастерскую, бежать на площадь и «перешивать» пуговицы? Какая нам, евреям, разница, в чем Ленин стоит на площади — в мужском пальто или в женском? Стоит — ну и пусть себе на здоровье стоит! Главное, чтобы нас никто не трогал, по судам не таскал, как полковник Карныгин.

— Но я как коммунист... как человек не могу оставаться равнодушным, — обличал самого себя бывший подпольщик. — Не имею права. Нельзя допустить, чтобы люди, которые подмечают все наши недостатки, потешались над святым, над Владимиром Ильичом...

— Еще, Хлойне, неизвестно, что для человека полезней, — рассудительно заметил осторожный Диниц, — памятники воздвигать или смеяться...

— Взять Узбекистан. Или Китай. Там же над Лениным никто не смеется, — вставил кинолюбитель Рафаил Драпкин. — Хотя...

— Хотя что? — окатил его презрением подпольщик.

— Хотя могли бы. Очень даже могли бы.

И новобранец принялся рассказывать Хлойне, что где-то в Средней Азии бронзовый Ленин стоит с двумя легендарными кепками, одна — в руке, другая — на голове, и к тому же национальным поясом перепоясанный; а в какой-то китайской провинции с мраморного постамента косит глазами, как чистокровный китаец. И борода у него не русская, а китайская — пучок укропа.

Хлойне слушал его снисходительно-брезгливо.

— Если то, о чем ты, Шлейме, нам рассказал, правда, о ней надо немедленно уведомить наш Центральный Комитет партии... товарища Снечкус... Я с ним тоже вместе сидел... Это же прямое надругательство над вождем!

Отец уже жалел, что рассказал им про эти злосчастные пуговицы, но умерить прыть Хлойне, обуздать его верноподданнический порыв он не мог.

— Никого, Хлойне, уведомлять не надо, — посоветовал отец. — Они же там не портные.

— Как это — не надо? Пусть хоть накажут разгильдяев! — хорохорился подпольщик.

— Самих себя, что ли? — поддел его Диниц. — Они же памятник принимали. В комиссии, наверное, нет ни одного портного...

— Предлагаю обратиться туда с письмом. Так, мол, и так. «Дорогие товарищи, мы, портные города Вильнюса, беспартийные и коммунисты, обсудив создавшееся положение с памятником нашему вождю, считаем своим долгом...»

Он говорил гладко, чиновно-благозвучно, как будто свои округлые, вылученные слова только что выписал из непогрешимой московской «Правды» или местной «Советской Литвы».

— Не выдумывай! — оборвал его Диниц. — Наше дело — иголкой тыкать, а не пером строчить. Ты бы еще предложил черкнуть в Кремль...

— А что, могу и в Кремль, — не растерялся Хлойне. — И подписи мигом организую. Сто подписей. А если поднатужусь, и полтыщи.

Отец от такой Хлойниной прыти совсем сник. Ведь вовсе не затем он им эту историю с пуговицами рассказал, чтобы старый подпольщик, верный ленинец, носился по городу и собирал подписи, не затем, чтобы жаловаться «нашему ЦК» и снискать благосклонность чиновников, которые в портновском деле ни бельмеса не понимают. Он рассказал им эту историю для того, чтобы как-то скрасить будни и чтобы — хоть на день, хоть на час — стало веселее жить.

Он, конечно, никакого письма не подпишет. Это Хлойне Левину на свою подпись наплевать, а он ни за что не подпишет. Надо было бегать по городу и собирать подписи, когда из ателье на Троцкой на каторгу уводили хуторянина-хромоножку Цукермана. А сейчас он и пальцем не пошевелит — пан Владзимиеж, как сказал бы покойный Глембоцкий, «в защите беззащитных» не нуждается.

Весь день в мастерской спорили до изнурения, но к единому мнению не пришли. Единственное, на чем спорщики сошлись, так это на том, что в первый же

выходной встретятся на Лукишкской площади, осмотрят на месте бронзовое пальто и решат, что им делать дальше.

— На всякий случай я набросаю текстик письма, — не унимался Хлойне.

— Если тебе делать нечего, набрасывай, грамотей, — ехидно сказал Диниц.

В воскресенье в условленный час на площади собрался не только весь «eskadron zydovsky», но и портные из других вильнюсских ателье.

Был среди них и брат отца — дамский портной Мотл, который привел с собой почти весь самодеятельный еврейский театр — драматическую труппу, танцевальный ансамбль и оркестр, — хорошо еще, музыканты явились без инструментов.

— Твоя работа? — подойдя к Хлойне, хмуро спросил отец.

— Чем больше людей, тем лучше. — Подпольщик понурил голову, уклонившись от прямого ответа.

— Я спрашиваю: твоя работа? — наступал отец.

— Я позвонил только барабанщику Файвушу из оркестра... моему земляку.

— Он и «разбарабанил» на весь город? А ты не подумал, что наша шайка может показаться подозрительной, — сказал отец и через плечо ткнул пальцем в серое здание Комитета госбезопасности.

— Шайка? — скуксился Хлойне.

— Кое для кого три еврея, собравшиеся вместе, — уже шайка. Митинг.

— Ты, Шлейме, любишь преувеличивать. Какой митинг? Какая шайка?.. Мы же на баламутов... на тех, кто на плакатиках малюет «Отпусти мой народ!», не похожи, — выдохнул Хлойне и расстегнул ворот рубахи. — Мы же от чистого сердца. И ты, и твой брат, и Диниц, и Эльяшев с Большой, и Лившиц с Садовой, и Грин с проспекта Красной Армии, и барабанщик Файвуш... Все, все...

— От чистого, не от чистого — нечего скопом глаза мозолить!

— Кому?

— Не строй из себя дурачка! Как будто не знаешь...

— Так что, расходиться?

Хлойне не хотелось уходить. Он готовился действовать, витийствовать, обсуждать, убеждать, требовать, предлагать, отстаивать, добиваться, наводить порядок, бороться. Тут, на площади, он чувствовал себя, как в молодости, борцом, воителем с мировой несправедливостью, а не заурядным портняжкой, корпящим над чьими-то галифе и жилетками. Уход с площади не солоно хлебавши лишил его возможности напомнить о себе, о своих прошлых, недооцененных заслугах. Не затеряться в ателье на углу Троцкой и Завальной и хотя бы ненадолго ощутить полузабытую сладость борьбы, за которую он когда-то жертвовал своей свободой, расплачивался долгими годами тюрьмы! Хлойне из последних сил цеплялся за последнюю возможность — за фалды ленинского пальто, за нелепо, по-женски пришитые пуговицы...

Глядя на него, съездившегося, как кладбищенская ворона на морозе, отец смягчился и примирительно бросил:

— Диниц прав. Пусть пока стоит в таком виде, в каком его поставили.

— Пока? Что ты этим хочешь сказать?

— А что ты хочешь от меня услышать? Разве я неясно выразился?

Хлойне ничего не ответил.

Кино с Лениным в женском пальто кончилось.

Люди покачали головами и смиренно разошлись.

Только Хлойне не двигался, как будто сам был памятником своему далекому, оставшемуся за железной решеткой прошлому. В глазах у подпольщика сверкали слезы обиды и укора. Огромная тень бронзового вождя падала на его плечи, на его мысли...

Пан Владзимиеж в своем подпорченном пальто простоял долго, пока время — лучший портной в мире — все не перелицевало...

— Это, Гиршке, правда? — спросил меня перед самой смертью отец.

— Что?

— Дора по телевизору слышала, что литовцы собираются убрать пана Владзимиежа с площади.

— Да, собираются...— подтвердил я.

Отец облокотился на подушки, почмокал высохшими губами, провел рукой по седым густым, как в юности, волосам, взглядом попросил, чтобы я придвинулся поближе к нему, и негромко, как бы стесняясь своих мыслей, сказал:

— Но, наверно, Гиршке, не из-за того, что пуговицы на пальто не так пришиты...

И улыбка прытким солнечным зайчиком скользнула по его бескровному лицу. Скользнула и через миг исчезла.

Больше я его улыбающимся никогда не видел.

Порог надежды

— Что, Гиршке, слышно? Как там наш Ной? — буднично допытывался он, глядя на меня своими печальными, выжженными трахомой глазами.

— Ничего,— ответил я с деланной бодростью и на всякий случай отвел в сторону взгляд, чтобы не выдать себя.

— Подрос, наверно?

— Подрос,— ответил я.

На пороге прихожей стояла съезжившаяся Дора Александровна и, как военный цензор, ловила каждое мое слово, боясь, как бы я случайно не проговорился. Время от времени она за спиной отца делала мне какие-то предупредительные знаки, многозначительно и обиженно вскидывала голову: мол, Сламон Давидович ничего не должен знать. Живые, и те, мол, не всегда должны всё знать, а уж умирающие и мертвые вообще ничего знать не должны. Ни хорошего, ни дурного.

— Неужели так трудно его сюда привезти? Ведь у Сережи машина...

— Они, папа, заняты, как и все молодые...— пробормотал я и снова отвел взгляд. Не скажешь же ему — чем заняты. Пусть он сойдет в могилу спокойно, ничего не узнав. Хватит с него собственных несчастий. Если Ноя удастся спасти, я среди ночи прибегу. Хорошие новости ни от кого не утаишь. Хорошие новости сами о себе напоминают. На каждом углу на разные лады кричат...

— Заняты,— прохрипел отец.— Все заняты... Даже костлявая... К брату Мотлу пришла, к часовщику Нисону пришла, к гиганту Лейзеру пришла, а ко мне не приходит и не приходит...

— И радуйся... Она не лучшая гостья,— сказал я и глянул на часы.

— Спешешь?

— Не очень,— неопределенно протянул я.

— Я тебя понимаю: противно смотреть на умирающего... даже на родного отца. Но ты и меня, Гиршке, пойми... Лежу один и маюсь... На кладбище, по-моему, и то веселей. Столько знакомых!

Мачеха поморщилась, фыркнула от обиды. Один, видишь ли, лежит и мается... А она где? Целыми днями из кожи вон лезет, на части разрывается, чтобы помочь ему, но все равно — какая неблагодарность! — для него она вроде бы и не существует. Все другие существуют: и невестка, и сын, и внук Сергей с женой Юргой, и правнук Ной, и живущий в Канаде старший внук Дима, и сестра Лея, уехавшая сто лет тому назад в Америку, и умершие брат Мотл, свояки Шмуле Дудак и Лейзер Глезер, и болтун Нисон Кравчук, звонивший десять раз на дню, и, конечно, Хена. А ее, Доры, нет. Он лежит на диване и назло ей с утра до вечера пялится на фотографию своей первой жены.

— Поймите, Гриша, я не против, чтобы Сламон Давидович на вашу маму смотрел,— как-то сказала она.— Смотрит — ну и пусть смотрит. Меня другое беспокоит.

— Что? — из вежливости поинтересовался я.

— Он их громко зовет. И не во сне, а с открытыми глазами. И вашу покойную маму, и вашу тетю Лею, уже, наверно, тоже покойную... В комнате тихо-тихо, и вдруг голос: «Лея!» или «Хена!». А через минуту он начинает что-то бормотать под нос. Бу-бу-бу, бу-бу-бу — и трет платочком глаза.

— И о чем же он с ними говорит?

— Сразу и не разберешь. Слух у меня, простите, немолодой... могу и недо слышать. Но в последний раз Сламон Давидович у Леи вроде бы полотенце просил, — смутилась Дора.

— Полотенце?

— Сил, говорит, моих больше нет. Принеси, говорит, Леечка, из кухни полотенце, сядь рядом и отгоняй их всех от меня. Кого отгоняй, от кого отгоняй, я так толком и не поняла. То ли мух имел в виду, то ли что-то другое. Я подошла к нему и спрашиваю: «Может, Шлейме, тебе чем-нибудь помочь?» А он как цыкнет на меня: «Кто тебя звал?» Господи, лечу его, кормлю, мою, как дитя, а он слова ласкового не скажет. Только с ними... с мертвыми и якшается... Населил ими весь дом. Хожу и натыкаюсь на них — то на Лею, то на повитуху Мину, то, уж вы не сердитесь, на вашу маму, — пожаловалась мачеха.

— А о чем он с ней говорил?

— Просил прощения, что она на двадцать лет умерла раньше. Передо мной за те два десятка лет ни разу ни за что не извинился.

В последнее время я и сам нередко замечал за ним странную и болезненную привычку — шевелить губами, как шевелит жабрами выброшенная на берег рыба, и что-то невнятное кому-то шептать. Это было как бы преддверием речи, косноязычием, которое таит в себе что-то недосказанное и нерастраченное. Сначала я думал, что это обрывки, клочки затверженной в хедере молитвы, что отец перед смертью решил исповедаться и о чем-то стыдливо попросить Бога, но сквозь невнятицу нет-нет да прорывались чьи-то имена, названия, возникавшие в его мелеющем сознании.

Чем хуже он себя чувствовал, тем настойчивей и злей требовал, чтобы к нему привезли — хоть на полчаса, хоть на десять минут — правнука. Он обещал, что из суеверия не притронется к нему, не погладит по головке, чтобы не заразить его своей немощью, — только издали глянет и отпустит.

— Я хотел бы попрощаться с Ноем, — как-то сказал он мне, не понимая рокового смысла своих слов и не допуская никакого другого их толкования, кроме того, которое относилось к его собственному состоянию.

Ему и в голову не приходило, что нагрянула беда, и они оба — он, девяностолетний старец, доживший до патриаршего возраста, и двухлетний несмышлениш Ной — почти одновременно оказались на одной черте, которая отделяет жизнь от смерти и которую — если верить диагнозу — каждый из них мог перейти раньше другого.

Я, как заводная, механическая кукла, кивал головой; свято обещал, что Сергей, как только освободится от всех своих дел, обязательно привезет Ноя; всякий раз придумывал разные скороспелые и не очень убедительные причины, а отец никак не мог уразуметь, почему я своих обещаний не выполняю.

Прощаясь до следующего раза, отец долго задерживал мою руку в своей, словно старался взвесить, не умалилась ли наша близость, не убавилось ли тепла, и убедиться еще в чем-то для себя необычайно важном, чему он сам не находил названия.

— Отдыхай, — бросал я с какой-то отчаянной лихостью, направляясь к выходу. — Отдых — тоже лекарство. Вижу, тебе и говорить тяжело.

— Посиди еще немного. После моих похорон у тебя свободного времени станет больше! — отрезал отец. — А когда мне становится невмоготу, я от всех сам убегаю.

— Как убегаешь? Куда убегаешь?

— Отсюда не видно... Туда, где ты, Гиршке, никогда не был... Когда к сестре Лее... когда к братьям Моше-Янкелю и Айзику, а когда и к своему учителю Шае Рабинеру...

Он замолчал, облизал пересохшие губы, согнул в коленях одеревеневшие ноги и продолжал:

— Вчера, например, как говорят, со смертного одра на собственную свадьбу сбежал... на Заячью поляну.

Подобие улыбки оживило его небритое лицо, в глазах сверкнули искры.

— Мама была в белом платье... С сережками... круглые такие, лучистые.— И он взглядом показал на выцветшую фотографию на стене.

Я не осмеливался его перебивать, а он медленно, отхаркивая мокроту, продолжал рассказывать о Заячьей поляне; о рабби Йехезкеле; о терпком свадебном вине, вкус которого до сих пор на устах; о мажорном стрекоте кузнечиков; о страстном любителе мацы — полицейском Гедрайтисе, говорившем на идише лучше, чем иной еврей в Йонаве.

Всякий раз его обступали всё новые тени, и я ловил себя на мысли, что когда он полностью и безраздельно сольется с ними, то счастливо испустит дух, потому что вернется туда, на Заячью поляну, где птицы и кузнечики, деревья и травы, люди и звери помнят его не трухлявым старцем, не рассыпающимся во прах инвалидом, пропахшим лекарствами, а статным голубоглазым женихом под разукрашенным балдахинном хупы со стаканом терпкого вина в руке, рядом с невестой в белом платье и с дешевыми сережками в ушах.

Может, потому он, молчун, и спешил выговориться, может, потому каждое дававшееся ему с трудом слово было как бы мостком, перекинутым к истокам, к тому ручейку, который даже смерть не в силах осушить. Частенько в середине рассказа отец засыпал, и тогда обступавшие его тени исчезали, замолкали кузнечики, сережки невесты теряли свой блеск, а его, Шлейме, лицо, покрытое наждаком щетины, каменело, и только густая жесткая седина свежо и молодо сияла, как нетающий снег на недоступной горной вершине.

Я всячески поощрял эти воспоминания, стараясь оградить его от тревожных, особенно от тех, которые были связаны с неожиданной и страшной болезнью правнука. Чтобы обеспечить его покой, я даже вошел в сговор с мачехой, к которой по вечерам приходили товарки-всезнайки, скрашивавшие повседневную скуку базарными слухами и сплетнями и в любую минуту готовые поделиться ими с кем угодно...

— Пусть рассказывают старые анекдоты, пусть крутят свои бесконечные сериалы о своей молодости, о любви, о своих лагерных переживаниях, но пусть не смеют заикаться о Ное. Ни на минуту не оставляйте наедине с папой ни Клару, ни Шифру, ни Марию Венеаминовну... Если он, Дора Александровна,— мачеха любила, когда ее называли по имени и русифицированному отчеству,— узнает, чем болен Ной, это убьет его,— предупредил я.— Может, еще все обойдется, может, его в Израиле вылечат.

Обязанности надзирательницы Дора Александровна всегда исполняла образцово и с удовольствием.

— А что же, Гриша, будет после того, как они все уедут? — спросила она, и неподдельная печаль обогородила ее лицо, пометив искренним состраданием.

— Что-нибудь придумаем,— сказал я и добавил: — Сейчас главное, чтобы дети получили разрешение долететь до Варшавы на санитарном самолете. Дорога каждая минута. Дай Бог довести Ноя до Бен Гуриона живым.

— Санитарный самолет? — удивилась мачеха.

— Ноя до Тель-Авива сопровождает лечащий врач. Доктор Рагелене... с капельницей...

— Господи, Господи! — застонала мачеха.— За что ему такие муки?

— Чернобыль,— выдохнул я, чтобы не пускаться в объяснения, дырявящие сердце.

— А визы в Израиль уже есть?

— Да. Если на границе все пройдет гладко, то завтра в Варшаве они с санитарного самолета переседают на обыкновенный и на рассвете будут в Тель-Авиве.

— Господи, Господи, что я скажу Сламону Давидовичу, когда он меня спросит, где Сережа, где Юрга? Что я скажу? — приговаривала она и щелкала пальцами.— Он же их всех так любил.

Мне очень хотелось отчитать ее за погребальные настроения, но я изо всех сил сдерживался ради хрупкого и столь необходимого согласия.

— А разве вы, Дора Александровна, их не любили? — поддел я ее.

— Любила. Но что я Сламону Давидовичу скажу?

— Скажите: Сергей в Израиль на Маккабаду полетел. В мини-футбол играть.

— Я, Гриша, не выговорю...

— Скажите: на соревнования. Если, мол, там ему понравится, он, может, останется навсегда, а когда устроится, вызовет Юргу и Ноя...

На том и порешили.

Перед отлетом сбившийся с ног Сергей забежал к деду, не давая ему опомниться, чмокнул в наждак щетины и, попеняв, что тот лежнем лежит, не седлат своего вороного — «Зингера», стал прощаться.

— Береги там ноги, — промолвил дед.

— Хорошо, деда... Но еврею больше нужны руки и голова, — отшучивался внук.

— Еврею всё нужно, кроме болезней, — напутствовал его старик.

Он и не подозревал, в какой «футбол» и на каком «скользком» поле, сузившемся до размеров палаты для раковых больных в городе под щемящим и судьбоносным названием Петах Тиква — Порог Надежды, отправляется играть его младший внук; и долго не знал, пустила ли надежда мученика-правнука на свой крутой порог, открыла ли перед ним свои вожделенные двери или на веки вечные захлопнула их.

— Ты хочешь, чтобы он там осел навсегда? — через некоторое время спросил у меня отец.

— Да, — сказал я.

— А кто тут... в Литве останется?

— Мы.

— Ну меня ты можешь смело вычеркнуть.

— Нет у меня, папа, такого карандаша. И ручки нет... И никогда не будет.

— Спасибо, — сказал он и прослезился.

— Перестань. Сейчас же перестань! — повысил я голос.

— Текут, черт побери! Текут, как сопли. Помочиться трудно, а это легко...

Всё на свете стареет... кроме слез.

Он покачал головой, задумался, впился в меня набрякшим предсмертной усталостью взглядом, набрал в прохуdivшиеся, закопченные дымом выкуренных папирос и отпылавших пожариц легкие августовский воздух и, с усилием выталкивая откуда-то из чрева каждое слово, сказал:

— У меня, Гиршке, просьба к тебе.

— Слушаю.

— Когда умру...

— Мы же с тобой, кажется, условились: как только о смерти заговоришь, я поднимаюсь и ухожу...

— Когда умру, — не испугался он угрозы, — будь добр, не забудь приколоть к савану иголку и вложить мне в руку наперсток.

То и дело нарушая наш уговор, он с каким-то странным упорством продолжал говорить о смерти и о мертвых, повергая в ужас мачеху и терзая своих близких. Как ни тяжело было выслушивать эти его панихидные речи и просьбы, которые можно было объяснить разве только тем, что он давно обитал в другом мире, созданном в его воображении, в мире ушедших, где все уговоры и клятвы теряли свое значение, я пытался, несмотря ни на что, поддержать его интерес к жизни, пусть и уходящей, пусть и невыносимой.

Но мои усилия были тщетными. Отец был целиком занят нездешними, неземными заботами, о которых говорил с таким же спокойствием и деловитостью, как десять лет тому назад о новом фасоне мужской одежды, и от которых у домочадцев обморочно темнело в глазах. Тема смерти заслонила всё. Порой, правда, отец спохватывался и с боязливой любопытством принимался расспра-

шивать о правнучке, о внучке, ни с того ни с сего решившем удивить Израиль не своими талантами, а игрой в мини-футбол.

— Ну как там наш Пеле? — Отец в молодости был страстным болельщиком — не пропускал ни одного футбольного матча. — Хоть один гол забил?

— Забил, — отвечал я. — Аргентине.

— О, Аргентина! — оживлялся отец, забыв на время о мертвых, о своих болячках и о своем завещании — саване, к которому после его смерти я почему-то должен приколоть иголку. — Когда-то там был и твой дядя — Шмуле. На улицах их столицы... как ее там?..

— Буэнос-Айрес.

— Вот, вот — в той самой. В солдатском берете пончиками торговал...

— Дядя Шмуле — пончиками?

— Да. Когда его туда французы выслали. В тридцать восьмом... После Испании...

— Он что, за республику воевал? — намеренно затягивал я беседу, хотя знал, что опальный чекист сражался в интербригаде где-то под Мадридом.

— За кого, точно не знаю. Шмуле в жизни за многое воевал, а получил за все рак и дырку от бублика...

Все разговоры отец вольно или невольно сводил к мертвым. Среди них он себя чувствовал лучше и уверенней, чем на этом продавленном, скрипучем диване, на этих мягких подушках, обтянутых застиранными наволочками, пропахшими потом, микстурами и перьями ошипанных гусей. Запах перьев возвращал его в Йонаву, в родительский двор, к братьям и сестрам, к тому двухлетнему Шлейме, которого, как гусенка хворостинкой, пасла погонщица мух Лея. Ах, этот запах, этот запах! Вдыхаешь, и все у тебя, оскубанного, внутри дрожит и переворачивается, и нет сил, чтобы совладать с этой жуткой, этой изнуряющей дрожью, которая не уймется даже в могиле, ибо это дрожат не старые руки, не одеревеневшие ноги, не седая косматая голова, а память. Как совладать с памятью?

Он убегал от живых к мертвым, которые всегда тебя ждут и никогда не покинут — не уедут, как Лея в Америку, как Дима в Канаду, не останутся, как Сережа, в Израиле, куда тебе самому дорога заказана. Мертвые всегда с тобой. Всегда рядом.

В те короткие промежутки, оставшиеся между прожитой жизнью и грядущей, уже близкой смертью, когда отцу не удавалось убежать к мертвым, он стремился прожить остаток дней в сновидениях.

Никогда ему столько не снилось, как в том предпоследнем августе девяносто первого года.

— Мне, Гиршке, Бог снился, — с простодушной гордостью объявил он, когда после третьего инфаркта его выписали из больницы и привезли домой.

— Ого!

Мое изумление придало ему сил.

— Представляешь себе: открывается дверь, и в ателье на Доминиканской входит Он в сопровождении ангелов, оглядывает весь «eskadron zydovsky» и, обращаясь к «врио» — пану Глембоцкому, спрашивает: «Кто тут будет Шломо Канович?» Ты, Гиршке, слушаешь?

— Слушаю, слушаю.

— Минуточку... Только возьму таблетку. Подай мне, пожалуйста, со стола ту белую коробочку с синей полоской.

Я подошел к столу, нашел коробочку, протянул ему, и он дрожащими пальцами медленно выколупал из пластинки желтый шарик и сунул в рот.

— Я, конечно, удивился, — продолжал отец. — Бог — наш всевидящий, наш вездесущий Владыка, а не может отличить, где Диниц, а где Канович... Ладно... Раз уж вежливо спрашивает, надо вежливо и отвечать. «Это, Господи, — говорю, — я». А Он мне: «Очень приятно, очень приятно, слышал о тебе много хорошего». «Спасибо, спасибо, — отвечаю, — я о Вас тоже только хорошее слышал...» — Отец вытер пот со лба, пристально глянул на меня, не смеюсь ли украдкой над ним, боевито взъерошил седину. — «Можешь ли ты, — говорит Он, —

на зиму, на Хануку шубу мне шить? Старая изнасилась». «Могу,— говорю.— На Хануку так на Хануку». И тут слышу шепоток. Диниц. Мол, как бы Господь Бог нашего НЕТновича, то есть меня, как тот полковник, потом за эту шубу по судам не затаскал... Но я и бровью не повел. Ведь Всевышний, что бы кто ни делал, нас все равно все время судит. «Хорошо»,— говорит Господь Бог и велит ангелам меховой воротник и материю принести — портному показать... Материя плотная... цвета зимних облаков... Ангелы мне показывают, а Он, довольный, бороду поглаживает и говорит: «Ну что ты стоишь как вкопанный? Снимай мерку!» Я — за сантиметр и к Нему. Только стал обмеривать талию — и проснулся. По нужде приспичило... Пока Дора принесла судно, пока я помочился, Он и исчез. А жаль...

— Жаль,— согласился я.

— Сшил бы я из той материи шубу, набрался бы храбрости и попросил бы Его, нахал, о милости... Не для себя, конечно, самому мне уже ничего не надо — для вас... для тебя, для внуков.— Он помолчал, перевел дух и, когда пауза подействовала, как таблетка, спросил:— Как ты, Гиршке, думаешь, к чему бы это?

— Ума не приложу. Наверно, к добру. Не к каждому же Он да еще с ангелами приходит. Видно, без нас обойтись не может. Как пораскинешь мозгами, кто Он без нас, грешных? Холостяк бездетный... Кому Он, кроме нас, нужен?

— А кто мы без него? Сироты. Кому мы нужны?

Утомившись от долгого рассказа, отец замолк, отвернулся к стене и ногтем принялся что-то царапать на стене, и от этого настойчивого и размеренного царапания тишина наполнилась какими-то непривычными, недомашними звуками, которые обесмысливали не только слова, но и вздохи.

Снились ему и сны попроще — о том, как он бродит по какому-то незнакомому, расположенному в горах немецкому городу и ищет почту, чтобы отправить домой телеграмму, что он жив, а почты нигде нет; и о том, как он в Йонаве залез на самое высокое дерево возле костела и, превратившись в большую птицу, на глазах у родителей взмахнул крыльями и улетел в какую-то диковинную безлюдную страну, где ни днем, ни ночью не заходит солнце и где все круглый год ходят голыми не потому, что жарко, а потому, что ни одного портного нет.

Меня так и подмывало узнать, снится ли ему еще тот пустынный остров, на котором застряли последние евреи, и та накатывающая на берег вода, в которой они стоят по шею, но я не решался спросить, а сам отец больше ни разу об этом не обмолвился.

Все его внимание, казалось, переключилось на призраков, которые, как и бригада городской «Скорой помощи», в любое время суток по первому зову являлись к нему на улицу, отрекшуюся в одночасье от расстрелянного пекаря-революционера Рафаила Чарнаса и принявшую другое, несоветское название — Тускулену, и делили с ним его нестерпимое одиночество. Порой закрадывалось подозрение, что отныне он на каждого смотрит как на привидение, возникшее в снах или в зыбкой черноте ночи,— и на Дору Александровну с ее болтливими подружками, и на вечно заспанных фельдшеров в белых халатах, и на собственного сына.

Бывали дни, когда он, как в далеком детстве, не говорил ни слова, лежал, накупившись, и хмуро глядел на всех, и я не в силах был разобраться, чего в этом взгляде больше — прощения или укора. Складывалось впечатление, будто он все-таки догадался о том, что произошло что-то непоправимое, и молча сетовал на то, что из жалости это от него скрыли.

В такие дни чувство одиночества и скорого ухода угнетало его больше, чем когда-либо. Он замыкался в себе: время для него как бы сплющивалось, теряло свои измерения, на дворе стояли не лето и не зима, не полдень и не вечер, а был канун смерти, которую он ждал, как ждал когда-то праздника, с трепетом и нетерпением.

Может, потому меня удивил и насторожил его вопрос:

— Сегодня, Гиршке, какое число?

— Первое сентября.

— Так что, Сережа там целый год подряд в футбол играет?

Я сразу не нашелся, что ответить.

Зажмуриваясь от лжи, как от яркого света, струившегося в окно, отец выдал:

— Только не ври.

— Сережа решил остаться в Израиле.

Он не выказал ни радости, ни недовольства.

— Дима с правнучкой в Канаду уехал, Сережа — в Израиль. И ты, Гиршке, наверняка уедешь. Все уедут, кроме меня... Кто-то же должен с родителями остаться... с твоей бабушкой и твоим дедушкой — Рохой и Довидом. Мертвым тоже бывает скучно... Не возражай, не возражай... И не волнуйся — я не замешкаюсь... я скоро... Давно собирался, но Всевышний велел лишний десяток помучиться...

— Что ты, папа, говоришь?!

— Поставишь памятник... сейчас это делают быстро... И — зайт гезунт! (Будьте здоровы!) Только просьбу мою не забудь... И ее не забудь.— Он повернул голову в сторону кухни, где возилась мачеха.— Забери ее с собой... мне на том свете спокойнее будет...

Он засопел, повернулся на другой бок и уставился в окно, за которым росла старая разлапистая липа, касавшаяся своей густой листвой засиженного мухами стекла.

— Странно,— сказал отец.— Почему им никогда не хочется никуда уезжать?

— Кому? — опешил я.

— Деревьям. Ведь им приходится несладко. Дожди, снег, ветры... Странно... Ты, конечно, будешь смеяться, но я им завидую... Хорошо, когда тебя спиливают там, где ты вырос и родился.

— Не вижу в этом ничего хорошего,— сделал я попытку направить разговор в другое русло.

— Хорошо, Гиршке, хорошо. На родине и от срубленного дерева шелест остается... Не поверишь, я всегда мечтал умереть в Йонаве... И чтобы похоронили меня там, где все Кановичи лежат и где птички на ветках по каждому из них уже двести лет поминки справляют и кадиш говорят.

— Ладно. Чем философствовать, давай лучше выйдем с тобой на балкон, я тебе помогу, с липой поздороваемся, птичкам рукой помашем, свежим воздухом подышим.

— Знаю, Гиршке, я до чертиков тебе надоел... и Доре надоел, и самому себе... Но ты потерпи немножечко... еще чуть-чуть... Ведь этот шелест уже слышен...

Звук пилы был слышен куда явственней, чем шелест,— здоровье отца ухудшалось, и развязки можно было ждать каждый день.

К осени, когда ночи стали такими же долгими, как сама его жизнь, он стал мучиться бессонницей. Прописанное врачами лекарство помогало ненадолго забиться, погрузиться в глухую спячку без сновидений, еще совсем недавно возвращавших ему видимость осмысленного существования, даривших хоть и иллюзорное, но сладостное чувство причастности ко всему живому. Он вставал поутру с тяжелой головой и, как ни тщился, никак не мог найти в ней ни одного утешительного образа или картины.

Первыми ему изменили сны.

Вслед за снами улетучились воспоминания, которые еще полгода назад ро-ем слетались к нему, как пчелы со взятком в улей.

Глядя в потолок или на липу за окном, он изо всех сил старался эти воспоминания вернуть, но они крошились, рассыпались, таяли, словно перистые облака, которым не суждено пролиться благодатным дождем.

Когда человек уже не в силах вспоминать, и жить ему на свете нечего, думал он, отказываясь от пищи и выплевывая таблетки, которыми его целыми днями пичкала бдительная Дора Александровна. Но его желание приблизить конец было сильнее ее бдительности.

Вокруг могильной ямой зияла пустота, и нечем было ее наполнить. Чем дальше, тем меньше он противился этому неотвратимому опустошению, этой унижительной борьбе, исход которой уже ни у кого — ни у докторов, ни у домоладцев и даже ни у липы, столько лет заглядывавшей в окно, — не вызывал сомнения.

Ненавязчивое любопытство, отличавшее его все годы, вдруг иссякло — вопросы стали резкими, судорожными, нетерпеливыми. Он выплевывал их, как и ненавистные таблетки, чтобы и тут покончить с тем, что его мучило, — с недосказанностью и неправдой.

— Почему вы прячете от меня Ноя? — обрушился он на меня. — Вы что, только на мою могилу его приведете?

— Ной болен, — изворачивался я.

— Сколько можно болеть?.. Он уже целый год болеет, — не унимался он.

— Целый год, — соглашался я. — Его еще долго будут лечить.

— Что с ним? Вы что-то от меня скрываете? Скрываете? Только не ври...

— Сейчас, папа, Ноя уже лучше... намного лучше...

И я рассказал отцу правду.

— Господи! — только и воскликнул он и после паузы добавил: — В два годика — и рак крови...

Дора Александровна смотрела на меня с ужасом.

Отец лежал, приложив руку к груди, где билось его изношенное сердце, как будто давал клятву. А может, он и впрямь клятву давал. Может, клялся Предвечному в том, что он, неверующий Шлейме Канович, когда предстанет перед Ним на небесах, обязательно сошьет Господу на Хануку шубу — пусть только немного подождет, не торопится отдавать другому портному и пусть только — в награду за работу — поможет его правнуку Ноя — сделает ниже хотя бы на пять ступенек, на пять ступенечек неприступный Порог Надежды.

Отец скончался, как праведник, в сентябре накануне Рош Хашана.

За окном шелестела липа.

В пустой, пропахшей тленом квартире над скрипучим, продавленным диваном тихо шелестел отлетевший дух моего отца, и от этого шелеста рушились стены, воскресали мертвые и смыкались времена.

1997—1999



Цветок маренго

РАССКАЗ

Старуха оказалась и глупа, и подслеповата. Мое природоохранное удостоверение — я чиркнул им перед самым ее носом — она с почтением приняла за эфэсбэшное. После чего я протиснул виски в щель над цепочкой и шепотом процедил то страшное, от чего она обязана была содрогнуться: «В доме напротив устроена явка для передачи совсекретных материалов агенту американской разведки, вы меня хорошо слышите, Елизавета Петровна?» Звук собственного имени — мне подсказала его миг назад ее же подружка по лавочке — сломал старухины морщины в гримасу почтительного умиления.

Наши окна смотрели друг в друга больше шести лет, и это была чистейшей воды авантюра. Тем не менее баба Лиза не только меня не узнала, но через десять минут уже охотно повествовала мне о моей жизни с Ириной, между прочим, весьма подозрительной: поначалу у них вроде был какой-то ребенок, а потом куда-то пропал... Я же тем временем вынимал из рюкзака колбасу, крупы, чай, кофе: «Это все вам! Нам положено — на представительские расходы, так сказать». На самом деле я просто не знал, сколько времени: вечер или, может быть, все выходные — мне придется торчать в этой плесенью и корвалолом пропахшей «засидке». И бинокль я принес с собой тот же самый, в который еще на преддипломной практике вел наблюдения за пернатыми. Правда, на брачные игры я тогда не поспел. Кто мог подумать, что подобное удовольствие судьба предоставит мне спустя почти четверть века?

Окно бабы Лизы я выбрал еще и за избыточную растительность, оно представляло собой то, что в репортажах из Чечни называют «зеленкой», то есть взглядом практически не простреливалось. Мне осталось закамуфлировать лишь несколько пустот, а кадок и горшочков по углам и сусекам обнаружилось, как я и предполагал, немерено.

До Иркиного возвращения с работы оставалось не меньше часа. Солнце пока что лепило в самые линзы. Поставив старушку с биноклем у окна, я вышел на улицу. В этом был некий риск. И он приятно бодрил. Снизу казалось, что из джунглей на вас пялится тигр. Впрочем, через час солнце должно было, оно обязано было закатиться.

Год назад без всякого сожаления мы похоронили единственного нашего соседа по коммуналке, дядю Вову, алкаша, каких мало, он и погиб-то по этому самому делу — угодил под микроавтобус. И вот спустя десять месяцев у него вдруг обнаружился сын, пришел из армии и вступил, что называется, в право владения. Но не в право же пялиться на мою жену, когда она шлепает по коридору из ванной. Впрочем, и его папаша, когда еще хоть чуть-чуть центровался, этим правом отнюдь не брезговал. Однако тогда Иру это почему-то бесило, а теперь нет. Теперь она только и думает, что бы еще сделать такого для несчастного сироты.

«А «Анну Каренину» хочешь?» — Ира при этом стоит на лесенке, руки тянутся к полке, халатик открывает колени. «Хочу!» — отвечает сиротка, покрываясь красными пятнами, а потом начинает корежиться от неловкого смеха.

И тогда уже Ирка отзывается своим фыркающим хохотком — так беззастенчиво и нежно чихают младенцы.

У старухино звонка была провалена кнопка, и на этот раз я с трудом заставил его прохрипеть. Открыв мне дверь, баба Лиза по-военному четко доложила, что за время моего отсутствия в соседнем окне появился ихний новый сосед, паренек по совокупности положительный, непьющий, негулящий... Я прервал ее несколько резче, чем мне бы хотелось, и, втянув сухие губки, она побежала на кухню, от испуга забавно подпрыгивая.

В комнате царили прохлада и полумрак. Зелень в окне стояла мощной стеной, и, прильнув к ней, я увидел Вадима. Он торчал в окне нашей кухни, очевидно, высматривая Ирину, и жрал парниковый, непомерных размеров огурец. Внизу, в переулочке, мальчишки играли в футбол, гоняли тучи тополиного пуха, смешно чихали, а потом стали драться, не умея решить иначе, был гол или не было. И тогда наш сосед высунул в квадратную форточку свою прыщавую, узколобую физиономию и что-то им крикнул. Отчего мальчишки сразу послушно забегали, распугивая белый пух, напичканный семенами. Ими в этот вечер, казалось, было напичкано все вокруг, и душно пахнувшие стручки какого-то мне не ведомого, пущенного старухой под самый карниз вьюнка грозили вот-вот рассыпаться фейерверком.

Все лабиринты возможных Ирининых мотивов за эти два месяца я проплутал, я выстучал собственным лбом, я ощупал их содранной кожей, и теперь мне было уже все равно, жаждет ли она моей ревности, с женщинами под сорок это часто случается, ищет ли повод сравнить меня с этим накачанным недоумком до мордобоя, просто ли хочет по-солдатски грубого секса... Я даже не исключал возможности ее мести, она вряд ли могла знать о Витасе, но что-то почувствовать шестым, сорок шестым чувством, конечно, могла. Ничего эфемерней, чем история с этой девочкой из-под Винницы, а теперь из ларька от Черкизовского мясокомбината, у меня в жизни не было, ничего необязательней, нелепей и, пожалуй, забавней. Больше всего мне нравилось смотреть сквозь стекло, как эта маленькая, конопатая обезьянка хватается целлофаном куски говядины, как укладывает их на весы и вытирает под носом тылом жесткой ладонки и, вдруг увидев меня, чуть не визжит от восторга... И как даже в постели продолжает гундосо растягивать: «Та не-е, тью-у на вас!» А главное, все это кончилось еще в конце апреля. Да, и наиглавнейшее: я не смог бы одевать ее в Ирины вещи, я даже в мыслях не мог бы допустить такого вандализма.

Вадим же вышел вчера в кухню — я глазам не поверил! — в самом моем когда-то любимом английском цвета маренго костюме:

— Алексей Николаевич, смотрите, присел как родной, да?

Я поперхнулся. Ира с фальшивым задором пояснила:

— Его пригласили на свадьбу, за сутки буквально! Так только на похороны зовут!

В ответ я попросил передать мне солонку. А когда он убрался, сказал ей, что настоятельно прошу моих вещей ему не одалживать, тем более без спроса. Ира ответила, что я из этих вещей давно «вырос» и фиг ли ими прикармливать моль? Мягко, но не без нажима я объяснил, что вещи как оперение, у каждого самца свое, и, стало быть, нечего присваивать мои перья, тем более самые яркие! А уже перед сном она неожиданно весело фыркнула: «Если бы ты был не орнитологом, а олениводом... ты бы что, сказал: и нечего присваивать мои рога?!»

Это было, пожалуй, уже слишком. Я отбросил газету и выключил торшер. А спустя несколько часов, где-то около трех ночи, будто нож для резки бумаги, под дверь комнаты ворвался свет. Тишину вспорола возня, а потом — голоса:

— Ой, как мы слабы! Ой, как мы перебрали! — ласковый, Ирин.

И грубый, казарменный, стесывающий побелку:

— Ирочка, вы нечеловеческая женщина... Опоньки! И вам письмо!

— Мне? Без конверта?

— Берите, не пожалеете! Стопудово!

Я нашел ее в кухне. Она так увлеченно вчитывалась в какой-то неаккуратный, вырванный из тетради листок, что я мог еще долго оставаться в коридоре незамеченным. Шевелила губами, горячо кивала, спешно убирала волосы со лба, а они все падали — рука ее так и ходила волной. Нельзя смотреть на собственную жену глазами другого, она делается от этого и красивей, и недоступней, и куда как доступней... И потом ты вдруг видишь перед собой незнакомую женщину. К ней я и шагнул из коридорного мрака. Она подняла испуганное лицо, и слезы, которые так бы и остались стоять, ломая строчки, вздрогнули и покатились. Их-то она испугалась еще больше.

— Пора спать! — притворно зевнула.

— Дай мне записку!

— Она не тебе!

— Но ведь она о любви... Да?

— Да! — сказала вдруг с вызовом, вздернув остренький подбородок. —

О сумасшедшей любви!

— Ира, опомнись! Он всего лишь похотливый подросток. Он часами мастурбирует в ванной. Ты же не думаешь, что он там стирает, правда?

— Ты совсем идиот? Ты просто двинулся на своей живой природе! — И оттолкнула меня с такой силой, ну просто хирург, даже и не заподозришь, что педиатр.

И тогда я ей крикнул:

— Пусть он сейчас же отдает мой костюм!

И споткнулся о чьи-то ноги... Вадим сидел на полу ванной в нем, моем когда-то парадном, когда-то единственном... И храпел. Я приподнял его за лацканы, резко встряхнул. В нос ударило перегаром и конским потом. И еще треснул шов под правой рукой. И тогда вдруг я вспомнил, как в этом самом костюме разводился с первой женой, он тогда уже был мне чуть-чуть тесноват, но тогда-то казалось: как и вся моя прежняя жизнь! — этот шов в зале суда впервые и треснул. Судья уговаривала ради ребенка отложить мое, возможно, весьма опрометчивое решение, я же бурно жестикулировал: «Что отложить — мои чувства? Или рождение моего будущего ребенка?!» Надо сказать, что Вера все это вынесла с редким достоинством и потом в прокуренном коридоре, уже формально со мной разведенная, вынула из сумочки нитку с иглой и аккуратно рукав пришила. И вот теперь он расползся опять! Как еще одна часть моей жизни? А поначалу ведь, Господи, сколько с ним было связано тихих домашних восторгов: английские вещи продавались в то время только в «Березках», а я его высмотрел в подмосковном сельпо! — и Дашка, все наши ахи и охи вобрав, по дороге из детского сада вдруг придумала сказку про чудесный Цветок Маренго, который не купишь ни за какие деньги и который приносит людям красоту и богатство.

Я заехал Вадиму по роже в первый раз за Ирину, а во второй — за Дашкин поруганный восторг... И тогда-то он наконец очнулся, встал на четвереньки и, стирая побелку стопроцентной, изумительной выделки шерстью, то ли побрел, то ли пополз к своей двери...

Следом за легким щелчком в мою «засидку» вдруг хлынул свет.

— Выключите! Немедленно! Светомаскировка! — крикнул я бедной старухе.

Она же виновато залепетала:

— Извините, не знаю вашего звания, гражданин э-э... товарищ полковник.

Вас к телефону! Нет, этот не работает, извините! Я уж сколько зятя стыдила!

В коридоре я выхватил трубку из ее трясущихся рук:

— Говорите!

— Кинотеатр «Новороссийск»?

— Нет, квартира.

Услышав такое, Елизавета Петровна чуть не заплакала:

— Вы простите дуру старую, я подумала: а вдруг это у вас пароль?

Я похлопал ее по плечу:

— Вы все сделали с государственной мудростью!

Она охнула, зарделась и побежала на кухню, наверное, ставить чайник.

Я же ни с того ни с сего набрал номер своего прежнего дома. Да и что значит прежнего, если мои тапочки все еще стояли в тумбочке у двери? Обе, и Дашка и Вера, взяли трубки. Их голоса умел различить только я. И я знал, как каждая из них этим гордится.

— У синего аппарата лейтенант Дашкарев, у красного майор Верчук!

— Высший пилотаж! — просияла Дашуня.

— Проверяю боеготовность! — вдруг выпалил я и почти испугался того, что услышал.

— Боеготовность номер один! — крикнули обе. Значит, решили, что я скоро приду.

Когда Ира надолго уезжала в Кострому к своему вполне половозрелому сыну — ну для чего еще тринадцатилетнему парню таскать в кармане презервативы? Ира же мне со своим младенческим получиханием-полусмешком объясняла: для того чтобы их надувать и шокировать девочек! — и вот когда она ни с того ни с сего вдруг мчалась к Даниле, которого бросила на родителей якобы ради меня, я шел к своей дочке, которую, между прочим, покинул уж точно ради Ирины, и оставался там на ночь... Однажды утром Дашуня, ей было тогда лет двенадцать, застала нас с матерью в койке: «Ты вернулся? — и отлепила сонную кудряшку, припечатавшуюся к щеке. — Ты совсем-совсем вернулся?» На что Вера с улыбкой ответила: «Твой отец — гражданин мира. Ему повсюду дом!»

Омытый и х теплыми голосами, я какое-то время постоял в коридоре. «Курсистка», вырезанная еще из советского «Огонька», была пришпилена к стене проржавевшими кнопками, чем-то она напоминала Ирину, то ли уверенно-робкой походкой, то ли глупой, распалившей глаза надеждой на спасительность просвещения.

Мы познакомились с Ирой в больнице, она выхаживала Дашку после перитонита, выхаживала так самозабвенно, что цветы и конфеты я носил ей, сначала не вкладывая в это ничего, кроме «большое вам спасибо за все, что вы для нас с женой сделали». А она сияла, когда я приходил, и каждый раз смотрела все доверчивей. В Ирины двадцать девять ей давали семнадцать. Она была в самом деле очень светлой и, уж конечно, недопустимо открытой даже по тем, еще вполне бархатным временам. Вплоть до того, что подруге Светке был выдан наш ключ, чтобы днем та могла встречаться со своим другом или, кто знает, друзьями... А чего мне стоило поломать эту ее привычку всем без разбора одалживать деньги, даже алкашу дяде Вове?! Но ведь в конечном итоге мне всегда удавалось настоять на своем!

Я взглянул на часы и поспешил обратно в свою «засидку». Ира должна была вернуться за минуты на минуту, прочесть мою записку, в которой, во-первых, я извещал ее о том, что вынужден отбыть в срочную командировку с инспекцией одного подмосковного заказчика, и, во-вторых, объяснял, почему снял и замочил наши шторы в ванне: какая-то сволочь, представь, зашвырнула с улицы гнилой помидор, да, девочка, я всегда тебе говорил, что, уходя, форточку надо обязательно закрывать!

Разрешение у моего цейсовского бинокля было сумасшедшее. Я нашел на стене фото трехлетней Дашуни... Яркий Ирин халат, брошенный на стул... И на стуле же — записку, неаккуратную, с рваным краем... Наверняка ту самую, ко-

торую ночью Ира читала, которая выпала теперь из кармашка халата! В голове пронеслось: снабдить бабу Лизу ключами и отправить на спецзадание за «шифровкой», родина вас не забудет!..

Уронив головку на плоскую грудь, старуха спала в углу дивана, увенчанного мутным зеркалом. В крапчатой тьме зазеркалья вдруг возникли, исчезли и снова вспыхнули чьи-то желтые глаза. Я вздрогнул и обернулся — прежде мною не обнаруженная серая кошка горбилась на выступе буфета. Баба Лиза же, словно услышав мой зов, вдруг вскрикнула и проснулась. Проснулась — и вскрикнула еще испуганней. Мне далеко не сразу удалось напомнить ей, кто я такой. Пришлось приоткрыть дверь в коридор и долго отпаивать ее какими-то тошнотворно мятными каплями.

И потому, когда я наконец вернулся к окну, Ира не только уже была в комнате, она даже успела надеть шорты и майку, отчего обычно ее трогательная женственность делалась худосочной... Сейчас же мне показалось, что и волнующей. В следующее мгновение я почему-то решил, что без стука в комнату влетел Вадим, он тоже был в шортах, и больше на нем не было ничего. Они стали оживленно беседовать. Поднеся к глазам бинокль, я увидел... Мне опять показалось, услышал ее фыркающий хохоток.

А записка, между прочим, по-прежнему лежала на стуле.

В следующем кадре — если смотришь в бинокль, жизнь разрезается на отдельные, практически немонтируемые планы — Вадим уже куда-то тащил ее за руку. В нашей кухне было темно. Жиденький, как помой, свет вспыхнул в его комнате! А еще через мгновение он подошел к окну и стал задерживать шторы.

Вот и все. Что-что, а силки я ставить умею! Чтобы птицу окольцевать... Или дуру-бабу раскольцевать...

С замками чужой двери я провозился ровно столько, сколько Ире обычно надобилось, чтобы принять душ. Про замоченные в ванне шторы я в тот момент совершенно забыл. Я вообще очень плохо понимал, куда бегу, что стану делать, добежав и ворвавшись.

Лестница в нашем подъезде шла спиралью. Говорили, что незадолго до революции в ее колодец бросился сын владельца этого когда-то доходного дома и что якобы из-за неразделенной любви... Но я-то не стану швырять сюда нашего гамадрила. Да и очень большой вопрос: кто кого?

Открыв наружную дверь, я замер. Подождал, пока уgomонится дыхание. Заодно убедился, что меня не услышали, и на цыпочках подошел к их... к его двери! За ней сладеньким ядом разливалась заунывная музыка — Ира ее называла психоделической. Вот почему они не слышали, как я вошел. И поэтому не услышат. Я на цыпочках побежал в нашу комнату, взял со стула вчетверо сложенную записку, развернул: «Моя женщина! — И чуть ниже не почерком даже, клинописью уток на песке: — Плоть от плоти! Единственная моя! Никогда ни с одной...» — и тогда уже как ошпаренный бросился к ним. Дверь, точно в каком-нибудь пошлом боевике, пнул ногой. Ира сидела возле торшера с моим английским пиджаком на коленях и зашивала рукав. Вадика почему-то в комнате не было. У ее ног лежала гора еще каких-то шмоток. Я различил в ней свой старый свитер, но это уже не имело никакого значения! Я потряс перед ней запиской:

— «Моя женщина... никогда ни с одной!» Да у него других-то, наверно, и не было!

— Ты прочел? — спросила с вызывающим спокойствием.

— Как воспитанный человек, решил спросить твоего разрешения!

— Ради Бога! — И воткнула иглу с таким старанием, будто колола в вену.

— «Моя женщина!» — Я слотнул спазм, нечаянно подкативший к горлу, и увидел Вадима. Квадратная рожа лоснилась прыщами и восторгом. Свои шорты

он держал в руках, а сам был в моих английских брюках и моем же синем джемпере, кое-где уж съеденном молью.

— Итак! «Моя женщина! Никогда и ни одной я не писал так. Потому что никогда ни с одной я не был просто Мужчиной, нашедшим свою единственную половину!»

— Может быть, остальное ты дочитаешь про себя? — Ирин голос все-таки дрогнул.

— Про себя? Но про меня здесь ничего нет! — Я сел на край тахты и закинул ногу на ногу. — «То, что у нас с тобой может быть продолжение, то, что эту абсолютную полноту можно еще чем-то дополнить, мне всегда казалось невероятным».

— Она внутри, в этом кармашке, лежала, — осторожно вставил Вадим. — А мне Ира, ну... Ирина Владимировна туда еще платок сунула, ну это... на свадьбу, я раз за ним...

То, что я не узнал собственного почерка, то, что я смотрел и по-прежнему его не узнавал, объяснялось просто. В декабре восемьдесят восьмого Ира выкинула нашего пятимесячного ребенка, мальчика, а сама чудом осталась жива, и это письмо, стало быть, я писал ей в больницу, в реанимацию, надравшись в стельку. Кстати, может быть, в этой же комнате — по зашуршавшим вдруг за спиной обоям я вспомнил почти наверняка: да, в этой! Сначала мы пили с дядей Вовой вдвоем, а потом набились еще какие-то маргиналы... И все, не стовариваясь, утешали меня чужим, армянским горем: вон люди в Спитаке всех детей потеряли... Видел, по ящику показывали, один мужик вообще повесился тут же, на руинах? А твоя-то тебе еще столько наплодит, подтирать задолбаешься...

Но неужели я был с ними в английском костюме?

«Я пью тебя как из целительного источника — (мы наладились тогда какого-то невозможного пойла, и меня, конечно, изводили изжога и жажда). — И даже сейчас, когда тебя нет со мною рядом, я не живу, я только отражаюсь в твоей прозрачной глубине» (и принять ванну меня, конечно, тоже тянуло).

Ира откусила зубами нитку, как клюнула, и тихо сказала:

— Я хочу забрать Данилку сюда... Насовсем! Я больше так... я больше без него не могу!

Вера же, например, всегда аккуратно отрезала нитку ножницами. И готовила, между прочим, не раз в неделю, а практически каждый день. И не валялась вечер напролет, загородившись от меня психоделической музыкой и каким-нибудь медицинским журналом. И не грузила себя ночными дежурствами до полного изнеможения, чтобы потом ни с того ни с сего вдруг броситься в Кострому.

— Ладно! Пока, я поехал. — Мой голос прозвучал не очень-то твердо, я попробовал взять тоном ниже: — Представляешь?! Забыл все документы!

И вышел. И выбежал. Заскочил к бабе Лизе забрать рюкзак и бинокль. Пожал, а потом вдруг и поцеловал ее шершавую руку с узелками коротких подагрических пальцев. От неожиданности она заплакала и спросила, не собираются ли им, старикам, ветеранам тыла, хоть немного повысить пенсию. Я ответил, что лично о ней перед начальством похлопочу, потому что операция удалась на ять... И тот человек, которого мы, собственно, и подозревали, — одним словом, может статься, что вы его больше там уже не увидите.

У меня это часто бывает: пошучу, просто брякну какую-нибудь ахинею, а потом только осознаю, что попал пальцем не в небо, а в самый свой запущенный нарыв. И, значит, его наконец прорвало, и дело, стало быть, вот-вот пойдет к выздоровлению. Из коридора я еще раз позвонил Вере с Дашкой, сказал, что буду дома приблизительно через час... И Дашка взвизгнула от нетерпения точно так, как повизгивала, залезая ко мне в машину, Витася.

Зайдя за биноклем, я увидел в нашей комнате свет. Ира стояла перед шифоньером и странно взмахивала руками. Я не сразу понял, что она танцевала, разглядывая себя в зеркале. Ей всегда не хватало не то что уверенности в себе, а именно женской победительности, без которой ей будет теперь еще сложнее. И эту-то победительность она миг за мигом нарабатывала, взбивая волосы, передергивая плечами, вясь узкой змейкой... А может быть, просто праздновала скорую встречу с сыном, с его сатанинским упрямством, заиканием, вздорностью, обидчивостью, чего я, например, более часа выдержать никогда не мог. А может быть, и врожала, призывая близость с Вадимом, вот уж кому скоро будет не занимать мужской победительности... В нашей стае произошла смена лидера — не по праву, просто по логике жизни — и оперение цвета маренго в самом деле будет ему под стать.

Волосы падали Ире на лицо, но она убирала их не тем, своим единственным жестом, а резкими, раздражавшими меня взмахами головы. Танец без музыки — это, должно быть, и есть чужая жизнь. Но сам я в это поверить еще не мог и в дверях вдруг брякнул старухе, что внешнее наблюдение вскоре обязательно будет продолжено.

— Приходи, сынок, а я пока что бумажки для пенсии подберу! — И заискивающе улыбнулась, подвесивая на место цепочку.



Сергей СОЛОУХ

Новые картинки

АРХИЕРЕЙ

Ты слышишь эту ложечку стыков в стакане железнодорожной ночи? Что размешивает она? Шершавый сахар или же липкий мед? А может быть, желе из переживших зиму в стеклянном сосуде ягод?

Я думаю, просто гоняет без цели и смысла рыбки чайнок. Черных мальков индийских морей. Зануда в синей елочке двубортного шевиота.

Это кримплен, Сашенька, на нем душно синтетическое фуфло с пошлой текстурой оперной сумочки или гриппозных обоев. Да и в руке не тусклый металл алюминий, а все та же позорная пластмасса с марким шариком в клювике. Утром он соберет весь вагон под главным стоп-краном красного уголка и примется делать политинформацию.

Хрык! Хрык! Капуста газетной бумаги не выдерживает восклицательных знаков полного одобрения и двойного подчеркивания абсолютного несогласия.

Что ты делаешь с этой пуговицей?

Расстегиваю. Она мне мешает заняться замочком-молнией, этой мелкозубой зверюшкой, глупой защитницей нежного, розового. Хватит ходить с искусанными руками, как ты считаешь?

Конечно, но что будет потом, когда ты приручишь ее и собачонка перестанет царапать вездесущие пальцы, молча впиваться в твое запястье?

Будут закрытые глаза и перепутанные губы. То же, что и всегда.

Всегда пахнет земляникой и белыми бабочками бесконечного уединения. Еще никогда серый лоб соглядастая не качался так близко отражением мертвой луны в кислом омуте плацкартного купе.

Какие «апрельские тезисы» готовит он, без усталости калеча бумагу волнистыми линиями особого мнения?

А почему ты решила, что он парторг, может быть, педагог-новатор, ведущий страстный творческий спор с молодым единомышленником-максималистом, или сельский, и это возможно, ухо-горло-нос, взволнованный перспективами безболезненного выдиранья гланд, жертва лихого пера столичного спецкора медицинской газеты?

И потом, подумай, там, где друг о друга трутся бутылки и перешептываются сапоги, внизу, на германской клеенке полки, что он может увидеть, воюя с буквами, пытая предложения и приговаривая абзацы?

Он слышит. Слышит редкой шерстью волос, совком носа и сырниками щек. Резина воздуха попискивает и поскрипывает от патологического напряжения его слуховых рецепторов. Ты разве не чувствуешь затылком, спиной, всем телом?

Спиной я чувствую твою руку, ладошку-путешественницу, которой неведомы страхи маленькой хорошистки с пропеллером симметричных косичек. Учись у собственных пальцев, теплых и вездесущих, самостоятельности и независимости. Просто сконцентрируйся вся в круглых костяшках и мягких подушечках.

Глупыш, это всего лишь инстинкт гнусной собственницы, лягухи, что на верхней полке черноту ночи бодающего пассажирского поезда затаилась в об-

нимку со стрелой из княжеского колчана. Или, быть может, ты хочешь упасть, оказаться внизу, где через холстину баулов незнакомых людей тяжело дышат несвежие, спрессованные спешкой вещи?

Конечно, хочу! Я просто мечтаю измять, неказистой гармошкой морщин лишить актуальности пыльный крахмал «Известий», «литературки» или «За рубежом», пусть прибор самопишущий выпадет наконец из рук умножающего горе бессонницы скорбью познания.

— Товарищ доцент, — скажу я ему, сползая с пластикового стола, — я вам сочувствую, но усы подрисовывать в полночь героям труда, вешать очки на знатных доярок и пионеркам лепить биологически неоправданные рога вредно и глупо. Вы можете испытать тот же душевный подъем, но без ущерба для глаз, обыграв в шахматы проводника, например. Слышите, он, вам подобно, лишенный тепла и любви, мается, бедолага, в служебном отсеке, механически, без вдохновения, даровой кипяток возмущает бесплатной казенной ложкой.

Чик, чик, чик.

Шелест и хруст, ветряная мельница толстых полос, быстрый промельк мелкого, едкого шрифта, ага, передовицу наконец пропахал, проработал, разложил по полочкам, тесемочки завязал, подписал, ура, переходит теперь к сообщениям с мест.

Это не кончится никогда. Сашенька, милый, давай не будем больше мучить друг друга, покорены все пуговицы и крючки, все тайны этой безбрежной равнины железнодорожной ночи открыты, узнаны нами, все, кроме одной, главной, но она вечна и изведенное сегодня станет неизведанным завтра.

Лучше уснем. Тисков и клещей не размыкая, отвалим. Пусть столбик спятившей ртути на волнах рессорного сна градус за градусом скатится к общепринятым для дальней дороги тридцати шести и шести.

Но я не хочу, не хочу, не хочу...

А ты захоти, мой мальчик хороший, назло пропагандисту и агитатору, извергу, мучителю безвредных буковок-паучков и общеполезных червячков — больших и малых знаков препинания.

Это так просто, надо лишь представить себе город, в котором мы завтра в полдень сойдем на перрон, желудевый, вишневый, совсем не похожий на наши с тобой картофельные и кедровые. Там все гнило и пьяно, но птицы дозором не на трубах и лестницах-клетках бездушных опор линий высоковольтных, а на шпильках и маковках, башнях и стенах.

Вороны, бе-е-е, нашла кого вспоминать.

Ладно тебе, ведь мы же уже плывем на белой посудине с квадратными окнами палуб-веранд, и беспокойный гнус водяной — пузыри, гребешки, пена и брызги — роятся, играют за круглой кормой, собираются на шорох винтов и светятся, светятся, светятся ночью и днем, ночью и днем, ночью и днем.

Прохлада и чистота утреннего пустого купе, голые полки, блестящий пластик вагонных стен — и никого. Ночного монаха, четками петита, непарелью молитвы отгонявшего дьявольский образ греха, пуще смерти боявшегося тебя и меня, нас, обнявшихся бестий, приняла в свое лоно праведная, непорочная станция зари.

Лишь сизый почтовый голубь смятой газеты, весь в перышках фиолетовых линий, зигзагов, крестиков и кружков, остался лежать на непомерно длинном белом столе.

Олечка, Оля, ау, просыпайся скорей. Телеграмма!

ДАМА С СОБАЧКОЙ

Сибирские горки хороши в море зеленого. Среди скромных, неброских осиновых платочков и наивного, нежного простоволосья берез синяя удаль гордо стоящих елей, молодцевато пасущих листовенные бабьи стада, гвардейцем делает любого путешественника мужского пола.

— Она сказала, что это очень древний славянский корень, который восходит к слову «хвоя», колючка, игла, понимаешь? — быстро шепчет мальчишка, в такт с неровностями заезженного тракта то растягивая, то сжимая гармошку гласных.

— Это в университете проходят? — подхватывает ритм сосед.

— Нет, ты что... — С легкостью, свойственной бесхребетным, задорно по-свистывавший спуск становится астматоидным подъемом, в хвосте «Икаруса» звереет, порвать ремни, перекусить болты пытается в очередной раз несвободный механизм. Закончить фразу уже положительно невозможно.

— Она в ...ниге ...чла ...

— ...акой?

— Немецкой. — За перегибом дороги открывается нестираная лента полотна, полого огибающего шапку рощи. После поворота мальчишки встанут и, как юнги от бизани к фоку, начнут пробираться вдоль сидений, ширясь и искажаясь в капитанских зеркалах водителя. — Остановите, пожалуйста, у столбов.

Направо от шоссе в направлении, указанном железобетоном стрелки «Кедрач», утекает вверх по холму под вечнозеленые кроны слюдяной ручеек выгоревшего асфальта. На мелких камешках обочины ждут каблуков стрекозы неодошвенной пыли.

Если двинуться по прямой, подняться, спуститься, обогнуть безнадежно лежащий рельс шлагбаума, слиться с кособокой тенью котельной, а затем бежать по бетонным ступенькам, можно увидеть за стеклом столовским экспонаты этого сезона, вооруженные казенным алюминием.

Мимо зубов ужинающего общества проплыть и за углом показать ему язык. Но это глупо, а мальчишки настроены серьезно, по-военному, и потому сразу за воротами уходят боковой тропкой по лестнице корней под смолистые ветви.

Первым шагает блондин в короткой курточке и тряпичных джинсах, его мама работает в этом самом доме отдыха «Кедрач» врачом, и он, конечно, рискует куда больше второго, довольно крепкого на вид, чернявого, с редкими ниточками нагловатых усиков, шевелиющихся над губой.

— У нее, знаешь, такая собачонка желтенькая, нос внутрь...

— Пекинес, что ли?

— Ага, ага, — продолжает белобрысый Женя не оборачиваясь, — она говорит, что в прошлом веке европейцы предлагали контрабандистам меру золота, равную весу животного, за эту пимпочку...

Если притаившуюся под прошлогодней хвоей шишечку поддеть носком, то кругленькая дурой-пулькой прошьет ленивую мелочь лягушачьей листвы хищных придорожных кустов.

— Она специалист по шампиньонам.

— Псина эта?

— Ну да...

— Шутишь? — Круглоплечий черныш Алексей останавливается, он впервые в кедровом бору, и воздух ему кажется каким-то медицинским, не предназначенным для ежедневного употребления.

— Какие шутки, если мы так и познакомились. На весь лес скотина гавкала, звала хозяйку и за руки пыталась укусить, ну вроде как бы первая нашла...

Они на вершине, среди костяшек сведенного тысячелетней судорогой кулака лесного холма. Синие звездочки железяки пруда уже поблескивают внизу сквозь вечернюю прозрачность озона между стволов.

— Может быть, здесь?

— Давай.

Женя и Алеша садятся на рыжий муравейник длинных иголок. В прорехах крон не унижаемых сезонной наготой деревьев едва видны пупы проплывающих облачков.

У мальчиков с собой две емкости с полупрозрачным содержимым. На одинаковых бледно-розовых этикетках «раскрась сам» какой-то смысленный мол-

давский малыш красным заполнил контуры ягод, синим — листочки и стебли, а в сложном слове «портвейн» ни одной не сделал ошибки.

У одной бутылки пластик горской папахи, венчавшей горлышко, превращен в плоский берет. Это в кафе у автовокзала Женя и Леша, как два лихих дизелиста, тайком подкрашивали компот и заедали черемуху рыбьими плавниками холодных чебурек. Остатки добывают теперь не стесняясь, быстро, словно средство от кашля, большими глотками, без удовольствия, по очереди деликатно обтирая ладошкой горлышко.

Второй «огнетушитель», тяжеленький, полновесный, даже не вынимают из холщовой сумки. Это гостинец, завернутый во вчерашние новости местного значения.

— Она говорит, что, выезжая из Финляндии, папашины инженеры засунули в коробку с документами кучу журналов, карт и всякого такого. Потом его вызвали и все показали.

— Ну и что дальше?

— Ничего, поделили между начальством.

— А к ней-то как это попало? — Алексей лежит на несуровом ковре таежных йогов. Один глаз прищурен, второй не отрывается от толстой, несуровой ручки-телевизора, каждые пол-оборота новая композиция.

— Взяла — и все. Что, думаешь, он помнит?..

Обожравшаяся пивка возвращается хозяину. Леша закуривает «Плиску», ему хочется ветку шиповника сибирского обручить с балканским табаком, только вместо радужных колечек молочные колочки выкатываются изо рта, обрастают ушами, расцветают носами, лихими чубами и тут же вянут в вечернем холодке, не достигая цели.

«Еще чуть-чуть стемнеет — и пойдем». — Мысль плавает в кисельных водах дашевой бурдамаги.

На самом деле градус синевы в пахучем воздухе особого значения не имеет. Будильник реагирует на запах, и это хорошо известно следопыту Жене. Там, за зеленым мясом папоротников у подошвы горки, глаз жожака угадывает тропку, что выела сороконожка отдыхающих в зарослях пижмы и мышиноного горошка. Узкая огибают пруд, зигзагом поднимается на горку и в лесу раздваивается, точнее, уходит влево к спальным корпусам, а вправо лишь шелестом проходки намечает в кошачьих неводах травы. Там, на отшибе, среди близнецов-кедров и переростков-елей, стоят коттеджи, сумевшие, как — неизвестно, отпочковаться от банных изразцов оздоровительных хорбм. Опрятные, пузатенькие гномики под колпачками новогодних крыш. В одном из них проводит лето мопс тибетский, похожий удивительно на щетку рыжую без ручки. С ним ходит по грибы, чащ не страшась, девица — дочь хозяина всех этих заводов, лесов, полей, трубопроводов, теплостанций, отвалов, складов и лабиринтов изувеченного камня, мертвых уступов известного на весь Союз разреза угольного. Хорошенькая барышня в коротком летнем сарафане в деревню сослана за то, что имела смелость пару раз в зачетной ведомости сымитировать тот вялый хвостик, в который вырождается обычно от бесконечности повторов росчерк педагога.

На лужайке за игрушечными домиками снегирь мангала, и мальчику кажется, что паровозные дымки уже плывут из-под медленно и несогласованно вращающихся колесиков шашлыков, нитями сладковатой паутины расплозаются по лесу и, шевелясь, ложатся ему на лицо. Ага, значит, скоро-скоро желтые кепочки, выполняя налево-равняйся, начнут слетать со стеклянных шей. Ударит в ноздри желудочный дух антисептика, и девушка в простеньком ситце скривит полные губки:

— У меня болит голова.

— Поешь.

— Не хочу.

— Выпей.

— Не хочу.

— Будешь портить всем настроение?

— Пойду спать.

— Попутного ветра.

Теплая лестница ведет на второй этаж, прохладная щеколда обещает не подвести, за балконной дверью мир зеленых бровей и ежей, ногу нужно ставить на крест перекладки, чтобы беззвучно спланировать в одуванчики.

— И что, ее теперь выгонят из университета?

— Не знаю,— отвечает Женя носом, стараясь не уронить осоки сочную метелку, выросшую между его передними зубами,— отец, я думаю, как-то заступится...

За ниточку шар солнца уже уводят с неба уральские баловники.

— Пошли.

К пруду, по склону, снова по морским узлам корней-канатов мачтового леса. На дальнем острове серпа кривого у плотины есть в дебрях тальника забытая хибарка, когда-то бывшая насосной станцией. Теперь за стенами, дырявыми от выпавших сучков, прибежище этнографа-любителя — пещера со сталагмитами оплывших свечей на рыжих сгнивших агрегатах, свободный от железа угол пола укрыт потертой шкурой неизвестного двуногого — широким драповым пальто. Здесь, среди шелеста и плеска, лазутчики-саперы сегодня скоротают ночь.

«Ужасно глупо,— думает студентка бывшая, остановившись на склоне под лапами огромных, к земле и к небу перпендикулярных деревьев,— с таким дурацким нетерпением ждать десятиклассника, мальчишку».

Робеющего до ямочек смущения детского на щечках, но верного и ловкого во тьме, как взрослый пес с шершавым, мокрым носом.

— Послушай, Женька, а у тебя товарищ есть?

— Какой?

— Ну такой, что не болтает лишнего.

— Есть, Лешка — одноклассник.

— А ты бы не хотел приехать с ним?

В сумерках мутнеет водоем, но начинает блестеть тропинка вдоль него. Обрывком нитки бус две головы, жемчуг и агат, всплывают, исчезают за влажными кустами, вновь появляются и катятся, катятся под ноги девушке, сейчас их примет в темноту свою паучья сырость тальника. Спичка улыбки освещает губы, ладони и розовую землянику на тоненьких стебельках. Белые яблоки сарафана срываются с травяного гребешка, увлекшая вниз дочь генерала. Лес молчалив и неподвижен под присмотром матросов-елей, увенчанных рогатыми самурайскими шлемами.

Еще пара минут — и в синем растворе ночи останется одна лишь глухая луна, никогда не открывающая глаза.

ЛОШАДИНАЯ ФАМИЛИЯ

Откуда у необрезанного такой дедушка? Каждое утро, положив кору древних щек на грудь, глаза прикрыв рябью столетних конопушек, он пересказывает благосклонно внимающему востоку сегодняшний урок. Курлычет, раскладывая слесарный набор буковок, да ойкает иногда, наткнувшись на обойный гвоздик огласовки.

Неутомимая стариковская носоглотка, благолепное журчание и бульканье на соседской мансарде будят Михаила. Очень удобно: как горн пионерский — вперед и с песней на зарядку становись! Надо, надо откидывать мягкий, прохладный лен в розовых мушках мелких цветочков и подниматься.

Пора, пора, давно пора, определенно пора, время... Белый утренний свет, отфильтрованный закрытыми веками, сочится через бесконечный тюль полудремы. Очертаний лишенный молочко-кисельный мир прирастает звуками, в родниковые переливы зоотехнических фиоритур влетается растениеводческий шепот берез за домом, где-то в смородиновом решете садов пустое бормотание воды, рассыпаемой над капустными грядками, а совсем рядом слышно, как колеблются на сквознячке любознательные ушки машинописных страничек.

Раз, два, три...

Ласковые зверьки — немывтые половицы — радостно попискивают, провозжая до увечного вымени дачного домохозяйки. Кусок батона, не убранный вчера со стола, пытаются экспроприировать пролетарии-муравьи. На чугунной сковородке замирает глаз невзлюбившегося цыпленка, он огромен и желт. Первая чашка кофе имеет металлический вкус поводков печатной машинки «Юнис», этим летом, перезрев от обилия солнца и света, усики югославского членистоногого рвутся и лопаются, обрывая Мишкины мысли на полуслове.

— Может быть, не надо так зверски стучать?

— Стучи не стучи, — с плоскогубцами в нагрудном кармане халата мастер похож на усталого стоматолога, — но только перекаленные они вам попались, пропащее дело.

Старое черно-белое фото Натки между вторым и третьим рядом адриатических коренных, измученных вечным кариесом кириллицы. Вчера карточка беззаботной рыбкой плавала по бумажному мелководью стола, позавчера весь день закладкой отсыпалась в сером тонике Бронштейна и Семендяева. Ната постоянно и вездесуща. Вся ее семья — ньютонова данность физических величин, констант, входящих во все уравнения, объективная реальность, осязаемая и обоняемая.

Дедушка, молча запускаящий в стену котлетные тарелки, оскверненные укропными брызгами салата, — свистящее «фи» акустических сфер. Синие, синие розочки с золотым ободком терпят сметану из сосцов питающих, а зеленые рассыпаются, острыми лепестками царапая пол.

Брат Дима — рогатое «пси» летней оптики, назойливый, как ничейный кошак, его розовый нос в пыли постоянного приноживания, лапы черны от чердачных засад, а хвост едва поспевает за эбонитом натертой башкой.

— Все стишки строчишь, Грунфельд?

Двуногому нравится такой фельдфебельский способ тыканья, его рыжие патлы и парабола между глаз ваялись по эскизам цэка гитлерюгенда, но Наткин отчим расщедрился на галуном расшитую фамилию Буденнов, и потому нехорошесть Мишкиной чрезвычайно приятна.

— Строчу, строчу. Плыла себе селедка в коробке из-под мыла, ловили ее дети, как важный витамин.

— Плохо, Грунфельд, плохо, нет рифмы.

— Зато какой размер.

Утром они никогда не смотрят друг другу в глаза, что-то вроде общения двух профилей в кошелке.

Сбанкой теплой малины Мишка возвращается в свою ветерком перелопаченную комнату. Старый дом любит молодого хозяина, ленивец и соя не вгоняет под кожу злущие гвозди, не травит едкой кровельной краской, поэтому балки и косяки хрюкают, завидев его, а двери сладко повизгивают от простого прикосновения.

Итак, на чем мы остановились? ... как показывает анализ частотного спектра... ага, ага, а также кала, мочи и мокроты. Что ж, прав, прав Дима Буденнов — змейкой чубчик: рифмы нет, ни изящества, ни красоты, бесконечные составы придаточных предложений, грузенных мертвяками в пробирках зачатых слов. И хорошо. Больше, больше, вали, не жалей, накопи их с запасом, беззубых, безглазых, — старательных любят. Зимой в белой рубашке и черных ботинках, с летней банкой червей под носом, с коротким удищем желтой указки в руках будешь стоять перед ученым советом, подсекая главную рыбу текущего периода жизни.

— В связи с вопросом Ефима Зальмановича хотел бы вернуться к схеме на третьем листе...

— С замечанием Алексея Петровича согласен полностью и надеюсь учесть его в дальнейшей работе.

Сегодня день разменов и рокировок. Первым в полдень с доски исчезнет дедушка, пятница законом определена для хорового полоскания зубов и горла, три

шага вперед, три шага назад с приседаниями и поклонами, эх, Мишка, Мишка, не приучили тебя папа и мама к регулярной гимнастике, не петь тебе в преклонном возрасте, не радоваться солнцу, подобно кузнечiku и трясогузке.

Шестичасовой электричкой приедет мать. В выходные звуковую нишу чужих водопроводных труб утренней побудки занимает семейная одышка вечернего ворчания.

— Грунфельд, хоть пасуй, хоть не пасуй, все равно получишь шило.— В проеме окна возникают угловатые ходики буденновской физиономии, сейчас прокукуют конец первой смены.— Шуба с клином или в покерок?

Дима, Дмитрий Олегович, элемент системы, не изменяющий своего положения в пространстве, напакостил, натворил что-то гадкое в городе — прокаленной кухне — и вот уже третью неделю сидит безвылазно здесь, в кустах, роет от скуки песок и точит когти.

— Нет, брат, нет, сегодня никак, надо срочно добить этот кусок.

Вразнобой недовольные стрелки пробегают полный круг по циферблату, всё заметил, всё запомнил, и в том числе Наткино фото, успешнее лишь наполовину заползти под зеленые ласты миллиметровки. Ладно, косоглазие, неизвестное насекомым и рыбам, признак человека, ищущего свое «я».

— Зануда ты, Грунфельд, и поэт никудышный, и товарищ дрянной. Ни одна собака в разведку с тобой не пойдет.

Это точно. Для сравнительно крупного, носатого млекопитающего он появляется и исчезает поразительно беззвучно... значит, что... таким образом, на основе экспериментально полученных зависимостей мы можем, можем... да, да на нам такая способность, провидческий дар, чего там скрывать, к черту ложную скромность.

Вписывание формул — миг гражданской, дембельской безалаберности после нудной серятины шагающих в ногу машинописных полков, батальонов и рот. У Мишки особенно хороши длинные дробы, полутакты, затакты, обрывки маршей и походных запевок. Голые ножки интегралов по-солдатски похабны и вызывающи.

С инспекцией из сада влетает шмель, весь в желтых шевронах, нашивках, лампасах. Здравия желаю, товарищ генерал. Улетел недовольный, всё, теперь задержат следующее звание, урежут довольствие. А может быть, и обойдется, все же семь страниц сегодня с полной выкладкой и есть еще порох на восьмью.

— Миша, Миша, помоги-ка мне.

Раздутые щеки вечернего солнца сияют самоварным самодовольством повелительного наклонения. Две холщовые сумки, оставленные у калитки, бесформенны, но не тяжелы. Быстрый материнский поцелуй обещает лекцию о положении женщины в постиндустриальном обществе и скорый ужин.

— Миша, ты же мне клялся разобрать эту свалку!

— Но ведь я работаю, ма.

— И у тебя что, нет ни одной свободной минуты?

Посмотрим на вещи трезво, страница так и останется торчать белым, анемичным языком в красной каретке, ну если только попытаться доковылять до ближайшей точки, достроить фразу, законная гордость определенно полезна и без глубокого удовлетворения. Ну-с...

Железо кончается удивительно буднично. Вместо упругости действия, равного противодействию,— глухая безответственность, эмоциональной окраски лишенный щелчок, и палец просто вязнет в ставшей внезапно щербатой акульей пасте. Дырка на месте буквы «е». Сплюнешь?

Селетка без коробки внезапно утонула, погода была гадкой, чума, холера, штиль.

Ни черта ты, слесарь, холодный сапожник, не смыслишь ни в любви, ни в металловедении. Понимаешь, я не хотел тебе говорить, думал, профессионал, вооруженный клещами зубного техника, может и сам справиться с орешком несложной загадки, дойти, допереть до сути явления, видишь ли, рвутся эти жал-

кие перекаленные нити неизменно под выходные, тогда, когда всё заряжено одной-единственной мыслью: «Вот-вот приедет Ната».

Уж извини...

Пойти, что ли, грядки полить? Конечно, двадцать минут смирения эффективно удаляют клеймо лодыря и эгоиста на срок до двенадцати часов, мама, сегодня тебе гарантировано хорошее настроение.

Вечерний воздух пахнет покосом. Над поселком дети бумажными змеями раздраконили большое хорошее облако на мелкие бестолковые кусочки. Коптит труба соседской бани, Олег Игнатьевич Буденнов искусственным теплом вознамерился растопить, рассеять и эти жалкие остатки.

Белая, еще живая от недавнего быстрого движения крыша его «Волги» мерцает за норвящими штaketник проглотить кустами Мишкиной малины и буденновской смородины.

— Начало шестого сигнала соответствует... — информирует вмонтированный в приборную доску электроприбор.

— Мама, я на станцию.

— А как же ужин, Миша?

Дима Буденнов, хвост пистолетом, пасется на ромашковом углу улочки.

— Слушай, Грунфельд,— начинает он беседу носом, руками и животом,— ты не хочешь мне должок вернуть?

— Какой?

— Смотри, ведь ты сегодня струсил, не стал играть, а день был мой, за жульничество же штраф полагается, правильно?

— А если я откажусь?

— Тогда я пойду с тобой... Сам подумай, как я могу позволить моей сестре встречаться один на один с бессовестным типом, который не уважает законы чести.

От предвкушения выигрыша щеки котейки драного цветут керосиновой радугой.

— Сколько?

— Чирик.— Наконец-то ясная артикуляция губами и языком.

— У меня только семь рублей.

— Моя доброта погубит всю нашу семью,— сообщает рожа, глотая бумажки.

Крот электрички вырыл нору в зеленом шорохе кленов. Счастливая Натка легка, как праздничный шарик.

— На карьер?

— Ага.

Первый поцелуй всегда подобен рекордному погружению.

— А этот-то здесь?

— Здесь, сегодня продал тебя за семь.

— Уценил? Всегда же была по десять!

Без привала до бережка еще не добирались ни разу.

— И не стыдно тебе с такой-то дешевкой?

— Мне вообще ничего не стыдно.

Над Мишкиным лицом одни лишь Наткины глаза да кроны простодушных деревьев, наученные старым хрычом, они мямлят, гундосят, лопочут, твердят какую-то чушь и тарабарщину:

— Мазел тов, симан тов...

АННА НА ШЕЕ

На завтрак у электрика лишь молочный десерт. Антре и компот заменяет накачка мышечной массы — смертельная подковерная схватка мышей и удавов. Двадцать выходов силой: дрожащие кроличьи спинки трапециевидной, двадцать подъемов переворотом — жадно глотающая все и вся неразборчивая гадина широчайшей. Каждое утро в любую погоду он на большой пионерской виселице школьного турника под окном. Хоть крестись.

И как практиканта разбитое сердце выдерживает такие нагрузки?

Сорока в черно-белом облачении судьи международного класса, баллов не выкатив, протокол не подписав, шумно покидает полосатую штангу березы. И правильно, лучше воробьиной трескотней дирижировать на аллее непричесанных яблонь.

Шалун август теплыми ладонями своих ночей уже натер еще недавно желтые, бескровные щечки крупных ранеток.

«Хорошо быть мальчишкой в штанах с деревянным ружьем за спиной, — думает Нина, всякий раз по пути в контору проходя под иголками в облачка превратившихся ежиков. Можно жить на дереве и румяные плоды природы поглощать без помощи рук».

Слышно, как за дверью в коридоре кого-то шагающего упруго осуждают охрой крашенные плахи. Наверняка культурист, сверкая морской росой пота, проследовал в душевую. Главный чистюля скромного дома приезжих обогатительной фабрики. Два раза в день, на рассвете и на закате, как заботливый конох, он купает свое премиальное тело.

— И чем он тебе не нравится? — все спрашивала позавчера укотившая наконец в свою Караганду девушка с деревенским именем Оксана. — Такой жеребец!

Конечно, конечно, если цель — просто водить его на поводке между клумб и скамеек вечерних бульваров, великолепен, но жизнь променадом ведь не исчерпывается, совершенство экстерьера — качество необходимое, но недостаточное, дорогая моя подруга, если иметь в виду особей, наделенных в процессе длительной эволюции способностью формулировать теоремы и сочинять романы в стихах.

— Нина, слышь, Нин? — Стук такой деликатный, словно не пальцем, а носом.

Ну что ты сегодня выдумашь, убогий? Соль пересохла, птички слопали спички, секундная стрелка стала минутной?

Нет меня, нет. Все чувства, включая низшие — обоняние и осязание, в сахарном домике утреннего забытья, я сплю, уронив на пол книгу писателя Нилина, которую любила читать, да с собой в казахскую степь не взяла химик-технолог Оксана.

День с ровным дыханием свободы от всех обязанностей словно рассматриваешь в микроскоп. В поле зрения оказываются рыжие псы, тощие кошки, наглые птицы и солнечный зайчик, нежащийся на потолке.

— Нинок! Ну я пошел! — неожиданно ухает пустота за стеной (коридор — подводная лодка шиворот-навыворот, ватерлиния синей масляной краской на уровне уха). Такую привычку завел себе юноша с тех пор, как в комнате с видом на оштетинившийся сизым репейником стадион Нина осталась одна. Сначала шепот и поскребушки мытья, а затем бычий вопль отчаянного катанья.

Торс римский, профиль греческий, а головка слабенькая, Калимантан, остров Борнео.

—...Двадцать семь, двадцать восемь, тридцать. — Есть, отзвенела перекличка встревоженных предметов, все здесь, все на месте, слушают невозмутимую капель старого будильника. Самое время накинуть халат и в рассеянии приятно отправиться на кухню, где среди общих плит неразумные осы атакуют бурлящие жидкости и неупругий металл.

Впрочем, осьминожье многоглазие закипающего кофе пугает полосатые брюшки. Белые кружева невесты-сгущенки растворяются в черной горечи сушеного. Классический марьяж — соединение противоположностей.

Ну что ж, не начать ли нам собираться?

Ребра лжеколонн делают длинный фасад конторы похожим на стиральную доску. Скучная серая чистота холла пахнет вымытыми и высушенными резиновыми сапогами. На стене коричневая доска, в тесных столбцах план-факт, вислоухие цифры играют в горелки. Нине на второй этаж, где барская ковровая дорожка и черно-белые полуразложившиеся от времени портреты мужчин в мундирах горных инженеров.

Пыльные, аппаратные буркалы производственников не проявляют ни малейшего интереса к летнему шелесту летящего льна.

— Здравствуйте.— Холодный зверек дверной ручки выскальзывает из ладони, и над головой нависает кисло-молочное лицо обладателя права подписи.

— А, Нина Алексеевна! Пришли?

— Пришла.

— Ну, подождите... Все прочел, все посмотрел,— бросает уже за спину на ходу этот куль целинного центнера. На улице вокруг него всегда вьются птицы, здесь же, в конторе, никто даже полакомиться не сумеет, если напора зерновой массы внезапно не выдержат швы.

— Ниночка, здравствуйте.

— Здравствуйте, Ольга Петровна.

— А Чулков к Митяеву убежал.

Поняла, догадалась, тропинок тут мало, и все давно известны.

Ладно, посидим еще немного среди бесконечных крестиков-ноликов ведомостей и квадратов морского боя счетов-фактур. Рваните-ка «Яблочко», баяны гроссбухов, в круг просятся каблучки печатей и штампов.

— Ниночка, скажите, а это правда, что вас Андрей Васнецов увозит в Новокузнецк?

Меня? Электротехник-жупардыса-жупардас?

— Вы шутите, Ольга Петровна! Я в сентябре замуж выхожу за Михаила Боярского.

— Нина, Нина, какая вы еще несерьезная девушка!

Ох, ох, совсем плохой Емеля, вокруг столько передовиков, отличниц соцсоревнования, а он на проезжую циркачку глаз положил. Не иначе многотиражку боевую украсил заметкой о выдающихся успехах в быту и личной жизни... Теперь понятно, на что третий день уже загадочно намекает тусклая, как ржавый колющий предмет, тетенька-комендант дома приезжих.

— Парит, будет гроза,— миролюбиво сообщает Ольга Петровна. Нет ни бронепоезда, ни моторной дрезины на ее запасном пути.

— Да, очень душно.

От начальства Чулков возвращается привычно потяжелевшим килограмма на три-четыре, словно из болота,— весь в лягушках мешочков, валиков, складок.

— Нина Алексеевна, заходите! — наконец кричит он из своего кабинета.— Извините, что заставил ждать.

Вся ее отчетная писанина, наскоро сшитые листы внеклассного гербария — антемис, миозотис себериниус, амортизация, баланс — как стопка почетных грамот в самом центре стола. На титульном листе замерла пружинка знакомой подписи. Ну и отлично.

— Я, собственно, одно хотел сказать. Если надумаете к нам распределиться, то вот телефон, звоните, письмо сделаем.

Ладонь, лопатой протянутая для рукопожатия, мокрая и холодная. Котят они, что ли, сорок минут душили с Митяевым?

Гроздь зеленых самолетиков пригибают к земле проволочные ветви старых кленов. Никому не нужный урожай. Стрекозье вино, кузнечиковый шартрез. Насосы глотают угольную пульпу, котлы закусывают большими брикетами черного золота. Ну а ты, братец-чижик, где твоя рюмочка, хрустальный персток с изумрудной искрой?

Маленькая белая тучка бочком незаметно пытается переползти с востока на запад. Фабричная труба, упершись в небо строгим указательным пальцем, велит немедленно вернуться на место за бурый отвал к мутным отстойникам.

— Свиридова, вы если хотите задержаться, то заплатите, а с нелегалами у меня разговор короткий — через милицию.

Место встречи у двух тополей, стерегущих арки яблоневого аллеи. Комендантша сухая, как скрипучая старая ветка, разводящая вечно шепчущегося за ее спиной караула.

— Не волнуйтесь, милиция не понадобится.

— Все вы так говорите.

Легкомысленный солнечный зайчик убежал кувыркаться в лугах и огородах, комнату заполнили ленивые тюлени синих вечерних теней. На школьном дворе размеренный мордобою волейбола. Оплеухи смачны и выразительны, словно на балу в дворянском собрании. Что же ты, дурачок, круглый, резиновый, к даме так грубо лез?

Атлет электромонтер — учкудук, город Аддис-Абеба, — возвращается уже в сумерках. Голый по пояс, багровый и мокрый, на груди цветет бархатная роза олимпийской пыли. Ну?

Тишина. Чем он дышит, замерев, там за дверью? Какие звуки застряли в его носоглотке? Ни? На? Но? Не?

Жалкие щелчки и хрусты позорного отступления завершает, как водится, оглушительный туш. Фальшивая бравада ядерных, словно целые ноты, капель, расшибающихся о кафель. Чистый — это хорошо.

Нина выходит в коридор. Дверь душевой не закрыта. Гусеница мыльной пены неспешно тащится от ключицы к паху. Глаз обалдевшего идиота нарисован циркулем, три concentрические окружности.

До чего же хорош брусничный сироп предчувствия, drobный пульс предвкушения абсолютной и совершенной банальности результата! Васнецов стонет, кусается и норовит переломать кости, а насытившись, по-щенячьи урчит.

— Нина, ко мне, я, Нина...

— Завтра, Андрей, все это завтра.

От зверского грозового перенапряжения во время удара обнажаются замысловатые вены небес. Окно, конечно, следовало бы закрыть, но мелкую росу капель так приятно слизывать с губ. Когда буйство внезапного освобождения сменяется простой и скучной необходимостью вылить на землю всю эту тяготящую ночь воду, к крыльцу подплывает автомобиль с круглыми фарами — шарами донной рыбы.

Смотри, час тридцать, точно минута в минуту! Вот и все.

Ну что, в коридоре у двери спящего счастливи́чика поставить сумку на пол и рывкнуть на всю пещеру дома приезжих: «Андрюша, пока, я пошла»? Страшно? Не бойся, ты честно заработал свой последний денек раздувания щек, только не проспи.

Капелла дождя с энтузиазмом принимает зонт в свою компанию. На заднем сиденье «Волги» очкастый сынок Чулкова сопит, обнявши детский смешной рюкзачок. Затылок тщательно завитой мамы поблескивает медью лака. Семья улетает в Сочи.

От аэропорта до центра Южносибирска тридцать минут автобусной тряски. Через четыре часа Нина будет дома.



П л а ц к а р т а

РАССКАЗ

Теперь-то я думаю, что эта смерть явилась самым серьезным поступком в его жизни, хотя он и пальцем не шевельнул, чтобы совершить его, за него все сделала болезнь, о которой Степан рассказывал всем и каждому, и рассказывал умело, соблюдая чуткую дистанцию между своим талантливым повествованием и проблемой западания левого митрального клапана, чтобы она не вызвала в его слушательницах скучливую опасливую настороженность; он подавал свой недуг как некое досадное приключение, без всяких там ноток обреченности или смертной тоски, с мужеством человека, давно бегущего по лезвию бритвы...

С некоторых пор Степан носил на шее какую-то странную ладанку на тонком кожаном шнурке. На вопросы любопытных словоохотливо отвечал, что это некий амулет — в нем заключен один давно просроченный билет на родину, клочок картона с номером поезда и выбитой давней датой... Билет этот был им куплен в один из черных дней жизни, после того как он бросил Строгановское училище и очутился в Москве без всяких видов на будущее, в тоске и полном отчаянии. За три часа до отправления этого самого поезда к нему в общежитие позвонила троюродная тетка, проживающая в Мытищах, седьмая вода на киселе, о которой он и думать не думал, и в завязавшемся разговоре о том о сем неожиданно пригласила племянника поселиться у нее, пока тот не приищет себе подходящую работу и жилье. От радости, что отъезд его из этого города, с которым он уже успел сродниться, откладывается, Степан закатил друзьям пирушку — и с тех самых пор он носит картонный билетик на груди, решив для себя, что, когда он окончательно закрепится в Москве и обзаведется собственным углом, закопает шнурок с ладанкой в московскую землю, как перетершуюся пуповину, связывавшую его с отчим краем.

Женщинам с незадавшейся личной жизнью поначалу было небезынтересно выслушивать речи этого мальчика с колокольчиком в душе, который бренчал простой понятной музыкой про свою сомнительную болезнь и плацкарту в Астрахань, про Строгановское училище, на которое жаль тратить драгоценные годы, про стихи, которые он пишет по ночам, но никогда не заносит их на бумагу, поскольку бумага метафизически давно исчерпала себя кровавыми декретами, доносами, смертными приговорами, писавшимися на ней, да и, наконец, бутербродами с колбасой, которые в нее, бумагу, заворачивают, тогда как настоящие стихотворения живут в небе памяти, они запечатлены в той части полушария, где покоится, словно на трех китах, отдельная жизнь нашего детства, и поэтому Степан лишь иногда, как бы под влиянием атмосферного воздействия (восходов и закатов), скороговоркой проборматывал отдельные строки своих стихотворений, действительно прекрасные, а когда его спрашивали: что там дальше? — он значительно махал рукой, как старинная кокетка, показывающая ухажеру лишь кончик своего башмачка, чтобы распалить его воображение...

Теперь он умер, умер от своей настоящей, а не выдуманной болезни, а вскоре выяснилось, что стихи он все-таки записывал, даже перепечатывал на машин-

ке и пытался носить по редакциям, об этом мне поведала его тетка... Он умер, лукавый обманщик, профессионал уличных знакомств, и теперь ангелы небесные потихоньку реставрируют его образ, счищая грубый кобальт и разведенную сажу, всю эту шелушащуюся эмульсионную тьму, из-за которой, как иступленный месяц из тумана, выступает чистый лик провинциального мальчика, небожителя, художника и поэта, рожденного, наверное, для другой жизни, а не для этой — земной и грубой. Смерть, как дождь, прошла над ним, и из-под земли показались цветы — лупоглазые, чистые, как вьюга, беспризорные ромашки, которые он так любил дарить дамам сердца и просто знакомым.

Он успел пожить мужчиной, возделывающим то здесь, то там поля любви, лежащие во прахе забвения, в безбрачной тоске надвигающейся старости... Прежде всех на его удочку ловились, как ни странно, самые зрелые и умудренные из его женщин: и на символическую плацкарту, и на трогательные букетики ромашек и вьюнков, которые он, бедный юноша, собирал на полях Аркадии, то есть на пустыре за домом очередной своей возлюбленной. Лишних денег у Степана не водилось. Впрочем, и не лишних тоже.

Меня, свою землячку, он одаривал в обмен на тарелку борща простыми карандашными рисунками, выполненными на отдельных блокнотных листках, — кудрявая завязь берез над парковым прудом, лебедь с изогнутой шеей, часовенка на пригорке с покосившимся крестом, где лучше всего ему удавалось переплетение ветвей, гривой спадающих с дерева в вольном беспорядке, — с плакучей березы или плакучей ивы. Я ничем не могла ему помочь в его брачных планах, поскольку мои соседки, коренные москвички, в квартиры коих он ввинчивался благодаря моим стараниям на правах гостя-затейника, раскусывали Степана с первого взгляда, с первых его фраз. Им хватало случайного жеста, того, как он, например, держит в пальцах чашечку кофе, пуще всего боясь его расплескать, они быстро разобрались в нем, сироте, отщепенце, который пытался претендовать на роль добытчика и мужа, но даже выбривать свои розовые щеки аккуратно пока не научился. Зато он всегда готов был сбегать за сигаретами или помочь снести коляску с лестницы... Степан был рад и такой малости, лишь бы не гнали, лишь бы подольше потереться в кругу беспечных молодых женщин, погреться в лучах чужого уюта, съесть тарелку бесплатного супа. А главное — ему нужны были телефоны этих ловких молодых московских щучек, чтобы названивать им из своих временных жилищ...

Попадая в гости к очередной своей интимной пассии, Степан сначала выкладывал из кармана пухлую записную книжку и, испросив разрешения, подсаживался к телефонному аппарату, имея целью произвести впечатление на хозяйку дома. Когда Степан говорил по телефону, он менялся в лице, прямо на глазах расправлялся и важнел. А звонил он или мне, или моим соседкам, или другим случайным знакомым, приводя их в крайнее недоумение, потому что по телефону Степан разговаривал со всеми куда более развязным тоном, чем он мог это позволить себе при личной встрече. Разговор этот велся как бы в интересах той особы, которая оказывалась на другом конце провода. Например, он подсказывал ей адрес нужной фирмы, где можно приобрести недорогое, но надежное противоугонное устройство к автомобилю, предлагал купить по дешевке хорошую сантехнику для дачи, справлялся, не нашла ли она еще для своего амазона зеркальный домик... И всех изумляла редкая памятьливость Степана в отношении их мелких нужд. Удивляла вездесущность этого мальчика с колокольчиком, успевшим в течение вечера обзвонить многих с предложением своих бескорыстных услуг. И на этот театр в разных концах города находились слушательницы, клевало тут и там, успевай только подсекать...

Впрочем, длилось это недолго, даже самая наивная женщина вскоре догадывалась о его социальном статусе, вернее, о полном отсутствии такового, по-

этому он спешил объяснить, что своего дома в столице пока не имеет, а живет на квартире у тетки, которая работает маклером в Банном переулке и в данный момент натаскивает его в этой профессии, передавая ему все свои наработанные навыки и связи.

На самом деле Степан поселился в ее доме на правах няньки ее ребенка, двухлетней девочки, нуждающейся в уходе, которую больше не на кого было оставлять, когда тетка, в недавнем прошлом инженер-конструктор, уезжала в свои челночные рейсы в Польшу или Турцию в компании других таких же теток за фальшивой французской косметикой и другим животрепещущим женским товаром. Надо сказать, Степан крепко привязался к малютке, читал ей книжки, талантливо рисовал зверушек, смотрел с нею любимую передачу «Спокойной ночи, малыши!» и говаривал, что Степашка — это он и есть, добрый бездомный пес Степан. Время от времени тетка делала попытки через знакомых пристроить Степана оформителем магазинных витрин и тому подобное (торговать на рынке он категорически отказывался), но из этого, как правило, ничего не выходило, почти всякую работу он благополучно заваливал, отовсюду сбегал. Иногда его можно было найти, позвонив в известную галерею, и, случалось, он даже подходил к телефону. Кто и почему пригрел его там, он не рассказывал, лишь намекал, что собирается при галерее организовать детский благотворительный фонд, дело только за офисом, а для того, чтобы пробить помещение в центре, необходимо выйти на Ирину Хакамаду...

Он жил, как птица небесная, запутывая следы и напуская туману по любому, даже самому незначительному поводу, пока его друзья-ровесники из Строгановки что-то приватизировали, устраивали выставки, ездили за границу на волне горбачевского бума и скоротечной моды на русскую живопись, где-то устраивались, дружили и обрастали связями. Как-то он рассказал мне про Маргариту, талантливую художницу-флористку, рисующую цветочные натюрморты и представляющую свои картины на Крымском валу. За продажу своих картин Маргарита выручала сущие гроши, которых едва хватало на кисти и краски, а кормила ее в основном дочь, работающая парикмахером в модном салоне. Разумная современная двадцатилетняя девица, заявившая матери, что альфонсов в доме она не потерпит. Эта дочь однажды подстригла Степана, использовав его как бессловесную модель в узкокорыстных целях, в целях опробования на нем каких-то своих парикмахерских идей в области новых мужских причесок. Длинные, волнистые, мягкие волосы Степана были его богатством, женщины на них западали, на его шевелюру вольного поэта и художника, прикрытую косо сидящим французским беретиком под Че Гевару... И вот в одночасье он лишился почти всех своих волос. Но даже такая жертва его не спасла. От Маргариты пришлось съехать. Злая девочка его выжила. Еще одну женщину он исправно навещал в больнице, лепил под окнами ее палаты снежных баб, потому что была зима и бесплатные ромашки отпадали, а на то, чтоб купить апельсинов, денег у него не было. И много еще, в сущности, трогательного совершил этот искатель счастья, но женщины, заматеревшие в своей столичной недоверчивости, на большее, чем тарелка борща и раскладушка на кухне, не шли. Либо за их спинами стояли подрастающие дети, либо маячили другие наследники, бдительно следившие за своими одинокими родственницами.

Год, отведенный ему теткой на обустройство в Москве, подходил к концу. Девочку она уже приспособилась отдавать в ясли на пятидневку. На горизонте замаячил ухажер с видами, так что тетка постепенно отпадала. Во многих домах ему стали давать от ворот поворот, тема неприкаянности все яснее обозначалась в его давшем трещину голосе, лихорадочной скороговорке, в бесконечных звонках приятелям-художникам, у которых он искал пристанища. Женам художников он тоже уже надоел, и они стали его попросту выпроваживать, чтоб не со-

здавать «очередного прецедента», потому что знали уже его способность вживаться в каждый такой прецедент, как в окоп...

Однажды в середине мая Степан появился у меня окрыленный и объявил, что уезжает за город на дачу к своей старой приятельнице Римме. Он пробудет на даче недельки две — застанет там цветение черемухи, которой вокруг гибель, будет сторожить дом, вскапывать огородные грядки, ремонтировать крыльцо и веранду...

Я накормила его ужином. Степан подсел к телевизору, моя дочка повисла на нем, обхватив руками за шею, и они в два голоса стали подпевать дяде Володе Ухину его вечную песенку «Спят усталые игрушки, книжки спят...». Я вдруг увидела, как на щеке Степана блеснула слеза. Он стыдливо смахнул свои легкие слезы и за руку отвел мою дочку к ее кровати. Потом за вечерним чаем, перед тем как отправиться на вокзал, он вдруг пустился в откровения... Рассказывал о своей маленькой племяннице, к которой успел привязаться. Если он уедет из Москвы, она быстро забудет его, ведь у маленьких детей совсем короткая память, короче даже, чем у женщин. Потом стал рассказывать, как любит Москву, Красную площадь, замоскворецкую набережную, ВДНХ и особенно Ботанический сад, где они подолгу гуляли с Маргаритой-флористкой, пока ее дочь не остригла его, словно Самсона, лишив какой-то части его мужской силы, и не выставляла вон. А еще он любил в Москве одну яблоню на перекрестке Сиреневого бульвара и Третьей Парковой; теплыми майскими деньками он специально приезжает полюбоваться тем, как начинают распускаться ее бело-розовые цветы, — когда они раскроются, дерево, наверное, совсем оторвется от земли... В мае ему особенно верится в то, что он останется здесь, на этой земле.

«А что ты там будешь есть, на этой даче? — спохватилась я. — Давай я заверну тебе бутербродов». — «Спасибо, не надо. Римма обещала приехать завтра, чтоб установить мне, так сказать, фронт работ и оставить продуктов на неделю...»

Он уходил в ночь. Он спешил на вокзал, чтоб еще успеть на последнюю электричку. Позвякивая в кармане связкой ключей от Римминой дачи, запахнув тонкую шею своим артистическим малиновым кашне...

Дальнейшее мне стало известно уже в пересказе Риммы, у которой на работе вдруг случился такой аврал, что вырваться к себе на дачу она смогла лишь спустя неделю.

Степана она застала лежащим на раскладушке под тонким одеялом с осунувшимся, нездоровым лицом и температурой. Все эти дни он ремонтировал крыльцо и копал землю, нарисовал несколько акварелей с кустами цветущей черемухи, написал стихотворение, и все это на голимом кипятке, потому что на даче было хоть шаром покати, из-за участвовавших краж никаких припасов на ней давно не держали. Проголодав неделю, Степан понял, что с Риммой что-то случилось. В один из дней он вышел на платформу к последней московской электричке. А тут подошел встречный электропоезд, идущий в Москву. Поняв, что Римма не приехала и на этот раз, Степан в какой-то момент дрогнул и, подстегнутый гудком локомотива, запрыгнул в электричку, чтоб вернуться на ней в Москву. На следующей остановке в вагон вошел линейный контроль, усиленный нарядом милиции. Билета у Степана не оказалось, денег на то, чтоб уплатить штраф и ехать спокойно дальше, естественно, тоже. Растерявшись, он не нашел ничего лучшего, как попытаться всучить им свою давнюю плацкарту, которая тоже ведь билет, оставшийся к тому же неиспользованным. Но был разоблачен контролером и на первой же остановке с позором выброшен из вагона на платформу глухого полустанка. Поезд ушел в Москву, оставив его одного под звездным майским небом. Электричек больше не ожидалось. Степан спрыгнул на пути и зашагал прямо по шпалам, пьяный от голода, унижения и бесприютного одиночества, совсем один во тьме кромешной, освещаемый тус-

клым месяцем, с горькой думой о том, что вот — Москва не желает впускать его обратно... В пути его застал дождь. Лишь под утро он добрался до своего дачного домика и продрогший, мокрый, грязный, уставший как собака, без сил повалился на раскладушку. А днем приехала наконец Римма с сумками, битком набитыми снедью, преисполненная чувством вины за то, что ему пришлось пережить...

Выслушав Степана, Римма разахалась и бросилась скорей накрывать на стол. Степан поднялся с раскладушки, чтоб привести себя в порядок, причесаться, помыть руки да и нащипать в огороде какой-нибудь ранней зелени к столу. Когда обеспокоенная его долгим отсутствием Римма выглянула в окно, чтоб пригласить Степана к столу, она увидела его навзничь лежащим на грядке, лицом в острые нежные стрелки молодого лука...

Римма выбежала из дома, перевернула Степана на спину и встретилась с его взглядом, в котором еще теплилась жизнь, сквозь остывающие черты лица пробивалась медленно истаивающая улыбка, словно за несколько секунд до остановки сердца у него хватило отваги на то, чтоб посмотреть своей смерти в лицо и успеть понять главное — то, что мечта его сбылась, и, хоть и не совсем так, как он рассчитывал, теперь-то он точно останется в Москве, останется навсегда. Теперь это была *его земля*.



Михаил ПРИШВИН

Дневник 1923 года

В ноябре 1998 года «Октябрь» закончил публикацию дневников, которые М. М. Пришвин тайно вел в 30-е годы. (Дневник 1939 года. Июль — декабрь.)

И вот — возвращение к 1923 году. Выход в свет дневников 20-х годов, запланированный издательством «Московский рабочий», отложен на неопределенное время. «Октябрь» решил восполнить этот досадный пробел.

С октября 1922-го по апрель 1925 года Михаил Михайлович живет в разных деревнях Талдомского района Московской области.

Картины нового быта, записи разговоров и слухов, черновики писем и материалы к художественным произведениям, постоянное внимание к литературной жизни и размышления о ней, картины природы, охоты, смены времен года составляют единое целое дневников этих лет, но не заглушают основной темы: понять и раскрыть смысл того, что произошло в России, — смысл революции.

Обретение и охрана личной свободы вопреки окружающей советской действительности становятся главной заботой М. Пришвина как чело века и художника: борьба с внешним «игром» и борьба с «обезьяной в себе» за собственное «я». В 1922 году он записывает в дневнике: «*Душа раздвояна: по самому искреннему хочется проклясть всю эту мерзость, которую называют революцией, а станешь думать, выходит из нее хорошо да хорошо: сонная, отвратительная Россия исчезает, появляются вокруг на улице бодрые, энергичные молодые люди*».

«Сонная, отвратительная Россия», «опустевшее место», «призрак» — это образы традиционного общества, которому время поставило в России предел; в 1923—1925 годах в дневнике писателя снижается пафос трагедии и гибели и все более возрастает значение обыденной необходимости жить: «*Все провалилось — Эллада, Россия, великое отечество... казалось, нельзя жить на земле без такого отечества... но греки живут и в наше время: значит, можно жить и без Эллады*».

Пришвин определяет социализм как способ рационального понимания мира. Современные социалисты, по Пришвину, — это «бумажные герои», стремящиеся построить будущее рациональным способом; они подобны нигилистам Тургенева, то есть осмыслены в культуре и, следовательно, пережиты. Пришвин впервые осознает, что быть личностью в современном мире означает нечто совершенно новое; как никогда ранее, человеческая личность обнаруживает себя в духовном вакууме. («*Всегда раньше думал, что у нас есть какая-то высокая в моральном и умственном отношении среда, «Пустыня! Живу сам с собой*».) Перед человеком стоит задача ежедневно воссоздавать собственное сознание и бытие; востребованными оказываются культурный запас индивидуума и способность к жизнетворчеству. («*Личности, конечно, и теперь есть, но они не составляют среды, они как монады, блуждающие по далеким орбитам, «Личность шестует невидимо по развалинам общества*».)

Постепенно в дневнике проявляются контуры возможного для Пришвина поведения: путь художника, приходящего к необходимости смириться, но не для того, чтобы подчинить свое слово идеологии и служить ей, не для того, чтобы выжить или комфортно жить, а для того, чтобы вносить в эту новую варварскую жизнь те ценности — христианские и гуманистические, — от которых Пришвин никогда не отказывался и не мог отказаться. Мотив ответственности художника — постоянная тема дневников писателя.

Пришвин не идет на компромисс с властью, не изолирует себя от реальных проблем, не уходит от необходимости морального выбора: «*Я художник, а это значит, что я служу тому человеку, кто молился: «Да минует меня чаша сия»*».

И поэт, и сама поэзия, по мнению писателя, существуют вопреки логике истории или обыденной жизни («*вопреки всему*»), питаясь архаическими истоками глубокой жизни, смысл которой, отраженный в современности, пытается уловить художник.

Надо сказать, реальное положение писателя в данный момент осложняется не только исторической ситуацией, но экзистенциальной ситуацией свободы от предыдущей традиции в литературе: «*Раньше всегда чувствовал в литературе кого-то над собой, как небо, теперь небо упало, разбилось*»; в этой свободе писать, может быть, можно «лучше и больше»,

но это невыразимо трудно: «Какая же скука существования, тошнит, как подумаешь, что нужно ехать в Москву в литературную „среду“».

Работая над автобиографическим романом «Кащеева цепь», Пришвин рассматривает разные варианты «возвращения блудного сына» домой: народнический путь — в лице двоюродной сестры Дунечки («построила школу и сама стала учительницей»), путь художника («присядь записать свои мысли... Этот стул, этот пень, куда ты присел,— уже есть твой дом») и путь каждого человека через любовь.

В эти годы писатель часто меняет место жительства; он много работает, в каждом новом месте находит людей, темы, природу — все это становится материалом для его новых произведений. Именно в 20-е годы единственным «домом» становится для Пришвина литература: «В себе самом выстроишь дом и помотришь на людей из окошечка этого никому не видимого и незavidного жилья». Пришвин берет на себя незаметный и мало кому понятный подвиг: довольствоваться малым и оставаться самим собой. И то, и другое снижало ему репутацию почти юродивого в советской литературе. Но, пожалуй, самое главное, что такое поведение создавало не иллюзию жизни, а подлинную жизнь, не литературу социалистического реализма, а подлинную литературу. Впоследствии Пришвин назовет свою жизненную тему так: искусство как поведение,— а идея дома станет одной из составляющих пришивинской концепции искусства.

Летом 1923 года было опубликовано обращение арестованного патриарха Тихона, в котором он признавался в верности советской власти. Вначале это вызывает негодование Пришвина, но затем становится еще одним подтверждением необходимости принять историческую реальность.

«Есть великая правда нашего времени, но есть ли истина?» — вот вопрос, который Пришвин задает социализму. И отвечает на него: социализм несет в себе правду логики, идеи, рационального проекта жизни, правду объекта, но в нем погибает живая жизнь, в нем нет истины, нет субъекта; социализм — родовой, коллективный, общинный, в нем есть правда «мирской чаши», но нет правды личности.

По Пришвину, государство не должно быть носителем идеи, его функция — устраивать жизнь человеческого общества («Принципы могут быть у частных людей... государство не должно иметь... пристрастия к идеям»), не должна быть идеей кооперация («Кооперация... должна быть... делом, и дело общественное должно исходить из личной выгоды»), не могут быть идейными литература или любовь. Обреченность социалистического государства Пришвин видит в том, что идеология занимает место жизни и вытесняет жизнь. («Марксисты, называющие себя материалистами... совершенно лишены чувства восприятия материального мира».)

В дневнике этих лет Пришвин размышляет о культурной универсальности христианства, пытается связать историческое бытие с Евангелием и вполне в духе Розанова ответственность за состояние христианского сознания современного человека и за историю возлагает на историческую церковь, в которой ему не хватает полноты в отношении к жизни: «1/4 верика, ускользающей от учета христианского разума и потому являемой ему как зло, как черт». В Евангелии Пришвин видит путь для решения фундаментальных проблем современности — выход из тупика.

Вопреки прогрессизму и утопизму социалистической модели мира писатель строит модель мира, естественными полюсами которого являются жизнь и смерть; это мир радости жизни, не требующий от человека страдания и жертвы, но требующий готовности к страданию, «если оно придет». Мыслящий простака или «стихийно религиозный человек» — вот новый герой, в котором рациональное знание соизмеряется с интуицией, разум и чувство соединены в единстве живой личности, скрывающей в себе «волю на неповторимое действие», готовой к страданию, но обращенной к радостному смыслу бытия. Может быть, именно такое состояние народной души, выраженное художником, позволило выдержать те испытания, которые выпали на долю человека в советской России.

Пришвин противопоставляет христианство и социализм как чувство и разум, творчество и механизацию личности, свободу и необходимость, любовь и власть или насилие, культуру и цивилизацию.

Я. ГРИШИНА, Н. ПОЛТАВЦЕВА

3 марта. В пустое время, когда человек к человеку был куда хуже зверя, я часто оставался наедине с собой, и тогда, бывало, как попадет в душу небесная звезда — так и останется, и помнишь навсегда этот миг или сосну заметишь, как она еще в январе, когда солнце стало чуть-чуть приближаться к земле, первая этому солнцу обрадовалась, а я с ней тогда второй: по ней, по ее изумрудам, догадался. И так стал мне этот мир всей радостью, какой теперь я жив на земле.

16 марта. Почему посев Ремизова¹ дает такие дурные всходы, почему у него переняли только манеру (довольно дурную), а все его святое (возрождение России) осталось втуне?

Судьба ведет людей, конечно, к себе в дом, но какими путями — нам неизвестно, и едва ли найдется хоть один человек, угадавший в юности свою судьбу. У нас в

России теперь вот как это видно! Возьми любую жизнь своего поколения и читай как книгу, да! Всякий пришел к себе в дом, но такими кривыми путями.

Остановись на минуту, присядь записать свои мысли, свое чувство, и этот стул или пень, куда ты присел, уже есть твой дом: ты сидишь, ты оседлый, а та мысль, то чувство, которые ты записал, уже покоятся на основании том самом, где ты присел, будь это стул или пень. Вот почему искусство не бывает во время революции — нельзя присесть. И вот почему источником искусства бывает прошлое: ведь каждого из нас судьба ведет в конце концов в свой дом, вот когда бегущий остановился, оглянулся — в этот момент он стал поэтом, и судьба повела его в свой дом. И пусть он будет славить революцию, движение: все это ему уже прошлое, сам он сидит на табуретке или на пне и сочиняет стихи.

21 марта. Вчера в тени было среди дня +6. Железная крыша открылась, деревянная еще белая. Ночью звезды показались, и к утру схватил мороз. Сегодня утренник -1, ветрено, ясно, кое-где бродят по небу, как вата, белые мягкие облака. Весна перестоялась, больше света, чем тепла, возможно, что сразу переменится и вода хлынет, а снега много!

Я помню весеннее утро, когда любовь, заключенная в сосуде, пролилась на землю, и засияло все от нее на опушке леса, изумленный нахлынувшим чувством благодарности неведомому существу, я обращал глаза свои — и все вокруг меня вспыхивало светом и открывалось мне в тайном своем существе: дятел, бегущий быстро по стволу дерева, мне представился лесным графом в маленькой шапочке и горностаевой мантии, сережки на снегу уже цветущего ореха — весенним золотым фондом всего леса, молодая осинная роща с позеленевшей корой — пучками зеленых свечей...

Чтение книг: никакой герой, ни в какой книге — не про меня по причине: тот герой, хотя бы Дон-Кихот, повторяется, а я не повторяюсь. Нам не страшно увидеть себя в зеркале героя: это не я! А вот у кого еще не определилось свое «Я», вот тому нет ничего страшнее увидеть подобного себе героя, а почему? Вот почему, наверно: это все равно, что умереть или увидеть всю свою судьбу до конца.

Мир наполняется бумажными героями: нигилисты Тургенева — наши социалисты, но ведь это же прошлое!

23 марта. Сегодня +2 после вчерашнего -20: верно, это было последнее усилие мороза, жест до самых звезд (и, верно, весна будет дружная: перестоялась). Говорят, что видели грачей.

Когда сообразишь свою жизнь (со-образишь), то она располагается по кругу: вначале дом, где рождается дитя и получает стремление уходить куда-то вперед. Но это ему только так кажется, что движение его совершается вперед по прямой линии. Это обман преобладающего роста разума: вероятно, так передается себе простой физический рост мозга. Сущность этого движения — не отстать от других и быть, как все. В русской сектантски-интеллигентской молодежи этому психическому состоянию соответствует верование социализма (коммунизма), которое каждому отсталому и даже последнему дает надежду быть, как все. Прямолинейное центробежное движение из дому с конечной целью быть, как все, под влиянием центростремительной силы эроса дает в конце концов движение по кругу, но сознание этого приходит, вероятно, во время окончания процесса роста мозга, в момент встречи с проблемой пола. С этого момента начинается зачатие личности, при ярком внезапном свете (любовь) жизнь человека вступает во второе полукружие, рожденная личность (второе рождение), стремясь не быть, как все, направляется к центру (Эрос), но силой общественного мнения, центробежной, отвлекается в сторону, и так слагается движение домой, к своей самости. Таких кругов, выходящих из дому и возвращенных домой, в жизни иного человека бывает много, и все движение идет вверх по спирали, так что дом второй приходится над первым, выше его, третий дом еще выше, и так растет как бы один дом со многими этажами вверх: внизу домика материальное основание — родина, над родиной отечество, над отечеством творческие труды, над ними прямое любовное воздействие на людей и воскрешение отцов² (церковь, в которой священником Я).

Дон-Кихот — это я, я — Дон-Кихот! Гамлет — тоже я, я — Гамлет! И «Двойник» Достоевского о мне писан, и Раскольников. Так «Я» борется с другим «Я», находя в нем свое подобие, с болью откалываются и Дон-Кихот, и Гамлет, и Двойник,

и Базаров, и так, будто змеиная чешуя слезает с настоящего «Я», в котором скрыта воля на неповторимое действие.

25 марта. Думаю про эту ужасную теорию, разделяющую людей на господ и рабов. Настоящее все в руках властелинов, умных людей, и счастье жизни — их будущее рождается в страдании рабов: тут томятся вера, надежда, любовь, уживаясь с хитростью, затаенной мстью, коварством, и тут среди них живет человек с ненаписанным Adelsbrief: ему кажется, будто он потерял грамоту своего благородства и не может ничем доказать о себе... Среди рабов и господ, и ненавидит он одинаково и тех, и других. Нет! Поэты — не рабы и не властелины и не вольноотпущенные, это люди, которые утратили грамоту своего благородства и сами взялись о ней написать. В этом страстном искании и творчестве Adelsbrief проходит вся их жизнь среди господ и рабов.

Есть другие, которые присвоили себе чужие Adelsbrief и господствующие над рабами — самозванцы! Они в конце концов боятся только этих людей, творящих свое Adelsbrief (совесть нечиста), и вот почему делают им уступки, вот почему все-таки вопреки всему существует поэзия — как посев семян, исшедших от неизвестного существа в забытой стране.

26 марта. Несмотря на ночные морозы, снега выгорают днем и в Москве начинается вода. Весна! А хорошего за весь день вспоминаю только ангорского кота на трубе.

1 апреля. Милый друг, Вы спрашиваете, почему «От земли и городов» написано мною в таком грустном тоне. Я Вам отвечаю на этот вопрос³.

Грусть <слишком слабое чувство — зачеркнуто>. О, это совсем не соответствующее моему душевному состоянию теперь, но я в «Накануне»⁴ потому и пишу, что это доходит до Вас, а когда я думаю иногда, что по каким-то совершенно случайным и внешним для нас обстоятельствам мы, быть может, совсем и не увидимся, то становится грустно. Напротив, в жизни я себя чувствую, наверно, много лучше, чем Вы: леса наши мало-помалу очищаются от лома, в сгоревших местах принимается буйная заросль, по сторонам дорог открываются капризные тропинки, по которым совершенно безопасно опять можно идти... Самое же главное, я не стыжусь Вам в этом сознаться, после испытаний голода и чуждого мне рода труда так называемая «животная» радость бытия вытесняет всякую грусть. Поешь хорошо, удастся напечатать, хотя и с большими опечатками, книгу, и радуешься и думаешь: «Заслужил, заслужил!», а раньше, бывало, наешься, выпустишь книгу и загрустишь. Опишу Вам, как началось во мне это оправдание бытия. Немного больше года тому назад в глухие места, где я был деревенским учителем, приехал первый торговец, и я купил у него зажигалку с бензином. До этого я высекал искру куском подпилка из своей яшмовой печати, потом затлевший кусок трута клал на угли и дул, пока не вспыхивала тоненькая лучинка. От этого дела во рту всегда пахло копченым сигом, пальцы («муслики») были разбиты подпилком. И вдруг зажигалка: чик! — и готово. Потом вместо лучины керосин — тоже какая радость! В марте прошлого года я собрался с духом и поехал в Москву: какую тут животную радость я испытал, увидав открытые продовольственные магазины, книжные лавки, издательство — не пересказать! Мне удалось тут кое-что из прежнего своего продать, и сразу вышло из этого, что я мог целое лето до осени существовать в деревне независимо от ее общества — своим загадом, своей выдумкой, писать и так быть. Висевшая над моей головой тяжесть пуда хлеба была побеждена кем-то. Сами крестьяне этой деревни, где я жил, в какую-нибудь одну неделю вдруг разъехались из своей ужасной нищенской общины и расселились на хутора тоже на свой загад, на свой почин. Было похоже на пробуждение жизни ранней весной, еще под снегом, корней озими: не видя света, не чувствуя весеннего тепла, каждый своей мочкой начал присасываться к земле без платформы и позиций, так вековечным инстинктом восстанавливалась настоящая жизнь.

Милый друг, Вы знаете, что счастье наше бывает только в момент соприкосновения с жизнью всего мира, и весь вопрос длительности его зависит от нашей заслуженности, пока есть внутри осознание этой заслуженности, свято радуешься всякому приходящему куску, а мещанство начинается, лишь когда иссякает творческая духовная сила перерождения материи.

И еще я Вам скажу: добродетель склонна к покою. Из этого покоя рождается лень — мать всех пороков, всякого зла. Напротив, зло всегда деятельно, у него миллиарды агитаторов, оно заражает, и действие есть добродетель зла, как лень есть зло добродетели. Где же нашим голодным, жаждущим жизни корневым мочкам было разбираться в добре и зле.

Я стал постыдно равнодушен к словам добра и зла и различным позициям и платформам. К осени я перебрался в Москву и стал себе делать литературную карьеру.

Бездомье. Я очутился в Москве в маленькой сырой комнате, хуже быть не может! Мебелью была в ней простая лавка, на ней лежала съеденная молью енотовая шуба поэта Мандельштама, под голову я клал свой мешок с бельем. Сам Мандельштам лежал напротив во флигеле с женой на столе. Вот он козликом, запрокинув гордо назад голову, бежит через двор с деревьями этого Союза писателей, как-то странно бежит от дерева к дереву, будто приближается ко мне пудель из «Фауста». «Не за шубой ли?» — в страхе думаю я. Слава Богу, за папирской, и нет ли у меня листа бумаги. Получив желаемое, попыхивая гордо папирской, он удаляется опять козликом. Вдруг я получаю огромный паек из КУБУ: сразу пуда два баранины. Тепло, ледника нет — что делать? Говорят, надо сразу всю зажарить на примусе, в жареном виде не скоро испортится, и есть, есть. В каком-то военном союзе показались дешевые самодельные примуса. Покупаю, жарю, и друг примус разрывается на части, в комнате море огня, край рукописи (кажется, драгоцен<ной>) загорается. Я бросаю на рукопись шубу Мандельштама, рукопись спасаю, но шуба сгорает совершенно. Замечательно скоро все произошло: на бревне против моего окна сидели два федоровца, два соловьевца, еще один, называющий себя индусом, и рассуждали о воскрешении отцов. Ни взрыва, ни возни моей они не слышали и все спорили, и, только уж когда ужасная вонь от сгоревшей вконец шубы Мандельштама дошла до них, они обернулись и спросили: что случилось? Козликом, козликом, от дерева к дереву опять бежит ко мне хозяин шубы. «Что случилось?» «Шуба сгорела!» «Дайте еще одну папирску, и еще лист бумаги, и, пожалуйста, три лимона до завтра, я завтра, наверно, получу, отдам».

Кроме Шмелева⁵, который, побывав у меня, сказал: «Хотите сохранить здоровье — уезжайте из своей комнаты», — все мне говорили: «Держитесь за комнату, в Москве теперь это драгоценность». Я стал держаться. Историк-литератор Благой⁶ достал мне керосиновую печь, сырость поменела, я стал носиться по Москве, искать своих книг для переиздания.

Лекция: недавно я шел лесом, дятел-плотник, кошка — дятел без человека, кошка от человека — мир, прирученный человеком, очеловеченный, даже дикие кошки имеют отношение — иногда к ним уходят домашние. Изба — фокус приручки. Изучение жизни человека в данном месте: краеведение. Приложение этой идеи: можно и необразованному, всякому заниматься, находить просто полезное в данном краю человеку⁷.

6 мая. Обещался прочитать лекцию по краеведению. Искусство и жизнь: в жизни всегда время и место, в искусстве уничтожаются — в некотором царстве и при царе Горохе мы, как змея в шкуре времени и места, но иногда сбрасываем чешую, обновляемся, и это делает сказка. Наука тоже со временем и местом. Краеведение. Интересно за горами, только не у нас (на севере). Наука о местном творчестве. Наука дает закон и управление жизнью, искусство дает радость жизни, оценку, качество.

В субботу был на току в болоте, под утро вдруг все болото замерзло, и солнце засверкало, отражаясь в миллионе зеркал, тетерева бегали по льду, кукушки куковали.

12 мая. Вчера вечером мы услышали первый гром и умылись из лужи (говорят, не первый, неделю тому назад слышали). Теплая ночь была. Видел светляка. Поет соловей. Утро чисто майское, с туманом. И потом самый теплый отличный дождь с пузырями.

— Для озимей хорошо!

— А для лугов?

— Для всего хорошо!

Ласточки прилетели, но лес еще не оделся, и только чуть зеленеет лоза.

Запах цветов — от подснежников до сирени и жасмина (запах солнца в полдень, слегка морозный, при весеннем утреннике). После весенней ночной порошки и утренника победное всходит солнце, и это первый, самый чистый запах весны: пахнет само солнце. Потом запах самой земли и так до сирени...

23 мая. Загадочный день — чем кончится (кончилось ненастьем).

Людам черт как благодетельная осушительная канава на болоте, по которой стекает вся грязь. Если бы не было такого злоотводящего русла, то сколько ни в чем не повинных людей было бы занесено грязью только за то, что первые попались под руку. Да и как бы жить, если бы ветер не отнесил от нас далеко наше собственное вредное дыхание? Благословим же благодетельного черта, как движение ветра, уносящего вредные дыхания почивающего бога...

И пусть, веруя в Кашея Бессмертного, рука моя крепче и крепче кует новое звено...

Нам дана в разуме форма окончательной правды на земле, но только форма: арифметика, два на два — четыре, будет тогда только правдой, если счет наш будет соответствовать ударам сердца, в котором это же самое $2 \times 2 = 4$ бьется как ей-ей, ни-ни, а что сверх того, то от лукавого.

Разве не похожа душа наша на засеянную ниву? Иное семя, имея влагу, рано взошло и дало плод в самой жизни: круг завершился, и об этом писать нам нечего. Но есть семя, жаждущее влаги и ожидающее своего расцвета: вот из этого непроращенного семени и цветов нерасцветших в своей собственной душе я создам своего героя и пишу историю его как автобиографию — она выходит и подлинно, до ниточки верно, и неверно, как говорят, «фактически».

При сборах в Москву (вчера был новый Петров день, 29 июня): раньше я всегда чувствовал в литературе кого-то над собой, как небо, теперь небо упало, разбилось на куски, и каждый кусок объявил себя небом, каждый теперь работает в размере своего обломка, и над собой нет общего неба. Раньше, очень давно, мне казалось, что если все мои родные, милые люди умрут, то для кого я буду писать, когда они умерли? Я стал писать еще лучше и больше. Может быть, и теперь так: без неба писать будет лучше? Да так оно и есть, но... какая же скука существования, тошнит, как подумаешь, что нужно ехать в Москву в литературную «среду».

Поехал в Москву утром в понедельник, 2 июня, вернулся в четверг, 5 июня.

Отречение Тихона⁸. Непосредственное чувство оскорбленности себя, русского (нет у нас теперь Аввакума), а после размышления оказывается, что Тихон поступил вовсе не дурно. Выходит повторение душевного мотива всей революции: сначала душа возмущается и восстает, оскорбленная, против зла, но после нескольких холостых залпов как бы осекается и, беспомощная, с ворчанием цепляется за будни, за жизнь (так возникло сменевеховство). Вот так и Тихон пророс новою мыслью, подписал отречение от царя и дал присягу РСФСР. Может быть, это переживание имеет всеобщее значение (утрата ложного понятия «героя»)? Но, с другой стороны, видно, как нарождается тот же самый загипнотизированный человек (герой) в новом составе лиц власти; надо написать рассказ, в котором люди благородные превратились в разного рода животных, и на фоне этом изобразить душу раба Божия распинаемого, человека бессознательно религиозного, который не спешил на страдание, потому что в глубине души чувствовал, что «все дойдет до меня» и я сам доживу до этого, и вот это пришло.

Темные герои (Аввакум): трагедия получается от того, что большое сердце идет по малому разуму — но почему так? В России сплошь вся история умного сердца (трагедия умного сердца), запертого в мертвый счет: например, считают время царства Антихриста! Не в этом ли состоит и схоластика: счет ангелов по булавочной головке. Что это — сердце ошибается или разум?

У христиан есть грех, что они спешат на страдание. Зачем спешить всем, кто жил полной жизнью, если это само непременно придет? Второе, что зовут за собой малых сих, тех, кто, может быть, обошелся бы в жизни и без страдания. Христиане спешат идти на страдание, зачем это? Оно и так непременно придет, если есть в душе основание на полную жизнь; спеша, они увлекают за собой и тех малых, кому можно и так прожить, без страдания.

Материализм — это голос материи, вызывающей дух на борьбу. Материя сопротивляется формирующему духу, но сопротивляется, как женщина, в сокровенности своей жаждущая оплодотворения: если дух не выходит на борьбу, то она идет за ним, и вот это и есть материализм — голос самой материи, вызывающей дух на борьбу...

Лежит вся мертвая косная природа, и дух над ней голубком — какая жажда материи большого духа.

5 августа. Живая личность — душа мира — враждебна государственным властелинам, потому что она сопротивляется. Так если бы лошади каким-нибудь способом заявили о себе извозчикам, что бы тут было! И вдруг диктатура лошадей: личность лошади поставлена в центр мироздания, а извозчики обезличены.

9 августа. В садике прыгала птичка, маленькая, известная с детства, и теперь в душе перемешалось с людьми и нельзя понять, то ли это было до птички, то ли после птички: тогда огромная мысль шевельнулась, как кот, что все птицы, звери, звезды, солнце и все-все есть в душе человека.

Друг мой, в советской России я как ласточка, на которую дети накинули мертвую петлю на шею, повесили, но ласточка легкая, не давится, пырхает, и лететь не летит и не виснет, как мертвая.

12 августа. Дуничка⁹, конечно, святая по своим делам, но — жутко подумать, что душа ее — вот вопрос! — перетянет ли коромысло весов, на другом конце которых душа молоденькой балерины, беззаветно отдавшей всю себя за один стакан шампанского...

Правда — смерть личности. Личность, умирающая в правде (личность, рождающаяся в легенде). То же в образах рода: жених — личность, невеста — легенда; творец легенды о прекрасной даме; отец семьи — умирающая личность (революционеры — все отцы); мы берем на себя дело отцов и так делаем скачок вперед; так и Новый завет возник: сын берет на себя дело отца — соглашение, революционер отнимает у отца его дело и умерщвляет его (цареубийство). В Евангелии сын воскрешает отца в легенде, в революции умерщвляет в правде.

В христианстве (в Евангелии) чувство проникает в самый разум, в логику, в $2 \times 2 = 4$: эта сохранность первого наивного чувства жизни до смерти и через смерть есть сила и значение Евангелия, несравнимая с попытками художников, философов (интуитивистов). Герой Евангелия — мыслящий простак, уничтожающий книжников и фарисеев. Евангелие — радость жизни, коронованная смертью. Все это теперь затемнено грехами церкви, этой щелью, через которую ворвался бунт масс с их социализмом и материализмом.

7 сентября. Я художник, а это значит, что я служу тому человеку, кто молился: «Да минует меня чаша сия»¹⁰. Я призван, как цвет, украсить путь для отдыха, чтобы страждущие забыли свой крест. Я, может быть, больше многих знаю и чувствую конец на кресте, но крест — моя тайна, моя ночь, для других я виден, как день, как цветы.

Мой луг усеян цветами, и тропинка вьется по ним так, будто нет конца огромному лугу. Влюбленный в мир выходит с этого луга странник, и, какая бы ни вышла ему суровая зима, он будет знать, что непременно придет весна с любовью и что это главное, из-за чего живут люди; цвет — это явное, это день, а крест — одинокая тайна, ночь и зима жизни.

Я скрываю свой крест в никому не доступных завитках моей ночи, и лампада моя горит невидимо. Это враг мой выходит из ночи с крестом и лампадой вязать людей, пытаться их совесть и загонять всех на крестный путь именем искупителя греха. Нет же, нет, это я страдаю, и мои кровавые слезы текут по лицу, но они пусть радуются, своим тайным страданием я творю им здоровье, счастье и радость. Весельем, пляской и музыкой искупляется грех, взятый мною на себя одного, и пусть не плачут и не скрежещут зубами грешники, а пляшут вокруг меня и радуются, потому что я пьян от вина, претворенного в Кане Галилейской¹¹.

Попы — актеры Христовой трагедии — создали комедию обывателя, который, приняв св. Тайны, чувствует себя искупленным, живет обманно-свободным до личной трагедии, когда вдруг оказывается, что Христос их не спас от страдания. На смену старым попам появляются новые, которые требуют личного страдания, стараясь погасить и самое солнце, обещая скорый конец света.

Я ношу в себе радость вина, претворенного на браке в Кане Галилейской, и вы, требующие жертвы от меня, уже искупленного, злодеи и насильники. Слово обывателя защитнику войны: я люблю, опьяненный вином, претворенным на браке в Ка-

не Галилейской, весь мир жизни с цветами и солнцем, с животными, птицами, рыбами и звездами со мной, я не одинок — я весь мир.

Я не встречал таких врагов коммунистов, кто бы, обвиняя их, не открывал мне так или иначе одну такую свою черточку, по которой видно, что человек этот избегает чего-то, что это? Вина ли побитого вообще или страх глядеть в глаза всей правде?

Почему же не встречается совсем таких, кто бы, глядя в лицо истории, мог бы востать даже и на правду победителей?

Есть великая правда нашего времени, но есть ли истина?

22 сентября. Ландрин (рассказ).

В то время когда мы все пили вместо чая жженую рожь и морковку с солью, я вздумал навестить одну свою родственницу, Марфеньку, замечательную старушку. Я был мальчиком дошкольного возраста, когда она, окончив курс в Сорбонне, приехала из Парижа прямо в нашу глушь. Ей была дана инструкция от своего брата-революционера пока что работать на легальном положении. Я был еще такой карапуз, что не понимал даже, какая была эта Марфенька хорошенькая барышня и как все это нелепо и ужасно ей, такой славной, засесть в деревню. Но и тогда все-таки я мог понять, что она ненавидела царя, дворянство (она была из купеческой семьи), издевалась над попами, и, как у нас, детей, был Боженька, так у нее Некрасов... Свое приданое, всего тысяч десять, она истратила на постройку школы в одной очень глухой деревне (18 верст от нас), в том углу Орловско-Тамбовской губернии, где, как Тамерлан, потом прошел Мамонтов. Только это вышло не сразу, вначале она учила просто в избе, рассчитывая, что в недалеком будущем ее работа на легальном положении кончится. Но случилось так, что брат ее, обожаемый ею и действительно прекрасный человек, вдруг переменял свои убеждения максималиста и явился в Россию работать тоже на легальном положении в одной большой либеральной газете. Вот и Марфенька тогда поняла, что ее личная жизнь кончена, сожгла корабли за собой и выстроила школу на свое приданое. С тех пор она и по наши последние дни работает в этой школе. Я никогда не мог понять ее подвига, и даже сейчас я при всем своем уважении к ней всегда нахожу в душе своей какую-то досаду. Конечно, школа ее была не только образцовая, а и совсем таких нигде я не видел никогда, скажу одним словом: как, бывало, войдешь, становится светло. Но что она достигла против других земских школ? Там ребята, хлебнув грамоты, возвращались к сохе и все забывали, тут шли дальше и делались в лучшем случае приказчиками, купцами, а больше всего дьяконами, попами, околоточными полицейскими. Бывало, слушаешь, слушаешь, как Марфенька, тоскуя, стонет под вечер у печки. Мать моя, сильная женщина, утешая ее, скажет:

— Но, Марфенька, они же тебя за святую считают, кого ни спросишь, все говорят: «Ангела Бог нам послал».

— Тетенька, — отвечает Марфенька, — вы же хорошо понимаете, что я отказалась от жизни не для того, что <бы> создавать попов, дьяконов и полицейских.

— Не понимаю, Марфенька, — отвечала мать моя, — попы и полицейские — разные люди, есть звери, дураки, а есть люди добрые, умные, достойные. Если они хорошие, тоже ученики, то вот тебе и награда.

— Вы никогда, никогда этого не поймете, — отвечала Марфенька, — мы с вами, тетенька, люди из разных миров.

Обидно было моей матери выслушивать это, правда, будь хоть семи пядей во лбу, а развитой и образованный человек всегда тебя может пристукнуть: ты, скажет, из другого мира. После смущения и раздумья мать говорит:

— Почему вы так гордитесь своим миром? У тебя нет детей, ты училась, ты приданое потратила на школу, а меня выдали замуж насильно, я женщина. Почему я из другого мира?

Марфенька бросалась на шею матери:

— Тетенька, милая, ведь я же не то хотела сказать, разве я чем-нибудь горжусь, напротив, я именно и страдаю, что я получеловек, а вы женщина, вы любите.

— Ну, так я любила!

С самого раннего детства я был свидетелем таких сцен, и вот, верно, почему, зная закулисную сторону жизни этого Ангела, я сохраняю в себе досаду: почему, за что она отдала свою жизнь, если в минуту перерыва в работе находила не удовольствие, а полную бессмыслицу дела своего, это творчество полицейских, попов и дьяконов? Почему она не нашла в себе силы разорвать эту свою какую-то проклятую Кашееву цепь, и что это за подвиг на благо народа, если сам лично в цепях?

Такие люди, я замечал, как Марфенька, праведные, никогда не стареют <неразборчиво>, но душа и деятельность остаются совершенно такими же до гроба.

Когда началась революция, Марфенька была взволнована несколько месяцев, но вскоре у нас начались грабежи, зверства. В такие дни я завернул к ней, и вот я заметил в ней что-то новое. Мы говорили о литературе, и вот тут она мне и говорит, соглашаясь со мной в критике литературных богов:

— А знаешь, я думаю, что Некрасов тоже был вовсе уж не такой большой поэт.

Некрасов! Бог ее! Тот самый Некрасов, которого именно называла певцом революции открыто, как поэта и гражданина...

— Именно поэт, — воскликнул я, — <неразборчиво> он был вовсе не так гражданин, как поэт.

Она удивилась и смолкла. Я понял ее отчасти: революцию как зарю новой жизни она уже не поняла и оттого развенчала своего героя.

Так мы расстались.

После гражданской войны, Мамонта и всего с непокрытой головой я иду по большаку родной земли проведать дорогую старушку, иду, не знаю даже, жива она.

Мне все знакомо на пути, вблизи — вот эта старая лозина с выжженной пастухом середкой, вдали очертания одной усадьбы, похожей на остров. Вскидываю туда глаза и ... что это? Или я заблудился — спереди чистый горизонт. Я подхожу ближе, ближе — нет ничего: на месте усадьбы лежат несколько кирпичей и пни от вырубленного парка. Там виднеются обгорелые остатки другой усадьбы, третья совсем оголилась, но дом цел, и далеко видны приклеенные к дверям бумажки — верно, какие-нибудь распоряжения деревенского исполкома.

Я не даю себе отдыха, иду скорее, очень боюсь за родную старушку: «Неужели, — думаю, — и она исчезла с лица родной земли? Неужели она-то не получила признания?»

Вон вдали показался ее прекрасный парк, посаженный собственными руками вместе с детьми, и вон и дом ее, все цело, единственный зеленый уголок. Какая-то баба идет навстречу, и с тревогой ее спрашиваю: жива ли Марфенька, здорова ли, как ей пришлось?

Она жива, здорова и не перестает учить.

— Ангел наш телохранитель, — говорила баба.

Я подумал про себя: «Марфенька — ангел, но как это у бабы выходит, что она хранитель их тела, какая нелепица».

— Ангел-хранитель! — поправляю я.

Баба стоит на своем:

— Ангел-телохранитель.

Я опаматовался: с кем я спору? Но в душе та самая царпина, которую всю жизнь я испытывал, приближаясь к святыне, и, как последствие, неперемный смехок: издали святая, отдавшая всю свою красу-молодость, сбережения, свободу на служение народу, вблизи результат: попы, дьяконы, полицейские. Издали ангел-хранитель, а вблизи, как баба понимает, что всех учеников на хорошие места поставила, выходит ангел-телохранитель.

Я это сейчас так разбираюсь, но тогда просто царпнуло, и, смеясь, на прощание я сказал бабе:

— Это лейб-ангел.

— Какой это лейб?

— Самый большой, больше херувима.

— Херувима!

— И серафима.

— Серафима.

— Лейб-ангел — самый большой.

— Истинно, истинно, ангел наш телохранитель, — повторяет баба совершенно серьезно, не понимая моей чепухи.

Но вот и она, сама Марфенька, совершенно такая же, по-прежнему смотрит на меня, несмотря на радость, строго, как икона. Я ей рассказываю про лейб-ангела, она очень смеется, но что-то в конце, самом конце ее душа так и не оттаивает, как и прежде...

Живет она ничего, да ей и немного надо, бутылка молока, пара яиц, немного творогу, хлеба — ей это приносят, не забывают, то один, то другой. Но чай мы с ней пили — морковку и закусывали черным хлебом, посыпанным солью.

В сумерках я ложусь отдохнуть за перегородкой, слышу — к Марфеньке начинают приходиться баба за бабой, и мне все слышно, о чем они с ней шепчутся.

— За Илью? — спрашивала Марфенька.

— За Илюшку.

— Отдавай, малый хороший.

— Ну а как же платье-то ей к венцу?

Слышал, как шелестела бумага, видно, баба показывает ситцы.

— Это вроде как розовый, а это голубой,— говорит баба.

Марфенька решает:

— Шей из голубого.

Баба благодарит за совет и уходит.

Смутно мне вспоминаются с детства такие же советы старца Амвросия Оптинского и что Марфенька в то время смеялась над глупостью этого и удивлялась, как старец не гонит от себя этих баб. Но как же сама стала точь-в-точь такая же? Неужели стон народа так поглотил безбожницу?..

Другая баба приходит за советом насчет поросенка: беленький и пестренький, какого ей лучше оставить на племя. И эти вопросы я теперь помнил из детства.

Третью принесла пуд муки и просит спрятать от пьяного мужа: всю муку переносил на вино. Еще баба с мукой, еще...

— Что это? — спрашивает Марфенька.

— Ландрин,— отвечает баба,— и вот еще чай, настоящий, он ведь у меня по ландрину пошел, самый большой комиссар по всему ландрину и в России, и в Сибири, и по чаю, и по сахарам.

— Ну так что же? — спрашивает Марфенька.

— Тебе, тебе прислал,— говорит баба,— письмо-то я, дура, не захватила, на том конце села читают, вся деревня читает, удивляется: самый старший комиссар по всему ландрину, и по чаю, и по сахару. А уж как он про тебя-то пишет, так слезы и льются, так и льются. Ангелу нашему телохранителю, пишет, посылаю двадцать фунтов ландрину и десять фунтов чаю, самого лучшего из Сибири, передайте ей, что я до гроба ее верный ученик и благодарный чем только могу, как достиг этой ступени, так ее и вспомнил...

Я слышал, как Марфенька целовалась с бабой, как обе всхлипывали, баба от радости, что сын ее стал комиссаром по всем ландринам, Марфенька...

Как только баба ушла, Марфенька так спросила:

— Ты спишь?

— Я все слышал,— ответил я.

Видно, она уже овладела собой и перешла на обыкновенный свой тон:

— И про ангела-телохранителя?

Вечером мы поставили самовар, пили чай, настоящий китайский, с ландринном, и хорошо нам было! Ведь Марфеньке за всю жизнь было от народа первое признание.

Мы разговаривали и о литературе.

— Нет, Марфенька,— говорю я,— Некрасов был великий поэт.

— Пожалуй, ты прав,— ответила она.

15 октября. Искусство как сила восстановления утраченного родства. Родства между чужими людьми.

Искусство приближает предмет, роднит все, и людей между собой одной землей и разных земель, и разные земли между собой, города, мелочи жизни становятся такими, будто их делало само время. Художники у земли: Кольцов. Ученые в городах: Ломоносов должен был показать.

В наше время упрямые попытки превратить искусство в публикации («художественная публикация») исходят из той же потребности создать родство между широкими массами.

Сестры: Публикация, Информация, Агитация, Пропаганда.

Дорогие мои Серафима Павловна и Алексей Михайлович¹², благодарю вас обоих за дары Ваши, знаки верности, любви, которых я едва ли заслужил. Принимаю за дары не только чулки, карандаши, книгу, но, главное, расспросы о мне знакомых и неустанное поминовение в печати...

Я не писал, потому что, кого я люблю в старой Руси, живут постоянно со мной и писать им незачем, вот двоюродная сестра Дунечка, близкий, родной человек, по-

стоянно о ней думаю, а не интересуюсь даже узнать, жива ли она. Все так изменилось, что в новых условиях никакое родство не завязывается.

7 ноября. Он хотел сказать «переворот» (характеризуя наши дни), но, сказав «пере», заметил возле военного человека и поправился: «пере-жимка».

— Какие же признаки пережимки? — спросил я.

— А видимые: уже опять начинаем пить вместо чая жареную морковку и свеклу, скоро будет и все прочее.

Я сказал ему, что народом в революцию усвоено чувство свободы, сравните время из вашего ремесленного быта, когда секли мальчиков, и теперь...

— Это не революция сделала, это время, все равно, сравните цветущее время римское, и там были рабы, а у нас не цветущее, а рабов нет. Это время делает.

На пути нашем был рабочий поселок большой ткацкой фабрики, рабочий, местный человек, рассказывал, как тут бедно живут рабочие, какое у них воровство, какие скверные нравы, как они теперь жен бросают: месяц пожил — и другую...

— Что же нужно? — спросил я.

— Новый быт.

— Все от бедности: нищие никакого нового быта не выдумают.

— Совершенно верно: от бедности.

Дорогой Алексей Михайлович, через Лежнева¹³ получил Ваши сказки, благодарю Вас. С оказией посылал Вам письмо, не знаю, дошло ли, если не дошло, то еще благодарю Вас за чулки и за карандаши Серафиму Павловну. Недавно Воронский даже (далекие официальные и недоверчивые отношения) спрашивает: «Почему Вы не напишете Ремизову?» Почему, правда, я не пишу? Есть еще большой грех на мне: Дунечка, двоюродная сестра, единственная святая моя старушка, живет на моей родине (в Елецком уезде), и не только не пишу ей, а и не справлюсь все в Москве, жива ли она. Нет, это не грех, это чувство разлуки не дает права на жизненные отношения. Прошлый год в это время я выбрался из глуши в Москву, прочитал, что Вы пишете («Крик» и др.), обрадовался, взобрался сам на волну и начал сочинять свои писания. Если бы эта волна была правильная, то непременно мы бы с Вами встретились, и я Вас все поджидал. Но это оказалась волна неправильная, сам шеф нашего литературного движения объявил, что литература отходит опять на задний план. Все мои большие замыслы разбиты, и опять из-за куска хлеба бьюсь как рыба об лед. Опять не до писем без дела.

13 ноября. Вот уже лет 25 я ношу в себе одно чувство, которое, все нарастая, никак не может закончиться мыслью, убеждением и действием: мне хочется найти в деревне, в глуши у простых людей оправдание и отсталого бытия. В городе я бываю в центре умственных течений, искусства, литературы, вижу счастливых спортсменов, любовников, всякого рода стяжателей героических помыслов и действий. Что же остается деревенскому человеку, неужели жизнь этих многих миллионов людей, обывателей, ценна лишь тем, что они производят будущего городского деятеля и существуют, как навоз...

15 ноября. Отношения между городом и землей в сознании прежнего городского бюрократа были такие: городской думает, что земля работает на него, что деревенский человек — навоз, удобряющий всходы городских индивидуальностей; теми или другими словами выраженная, а больше молчаливо-праздно-веселая и не произносимая всегда, всегда эта мысль — дитя времени.

На самом деле человек земли силен тем, что он бессознательно делает общее дело — переход к городу силой мещанского индивидуализма (крестьянин, землероб жесток, но... бессознательно общее). Вот кооперация и есть сознание этого, подтвержденное городской культурой, — общее дело земли. В этом и есть смычка.

17 ноября. Пифия. Известно, что когда христианство низвергло официальных богов с Перуном во главе, то домашние боги — разные домовые, банники — несколько не пострадали и продолжали жить до наших дней. И до наших дней сохранились жрецы этой языческой религии — колдуны. Спросите на сельском сходе о колдунах, домашних богах и пр. — засеются: на сто человек один, может быть, вызнет в этой религии и знается с колдунами. Но ведь и с судом, например, знается очень малочисленно, суда боятся на Руси, избегают; между тем нельзя же сказать, чтобы суд не играл никакой роли в народной жизни. Так я думаю и о колдунах у нас мнение по-

верхностное. У нас есть оракулы, и в народной жизни они имеют почти такое же значение, как Пифия.

Рядовой человек — что он может сказать о своей вере? Она ему не нужна в повседневной жизни, и это он только по привычке становится утром и вечером лицом в красный угол. Религия его застигает врасплох, в худой час, тогда вдруг встают в душе его древние боги, и он идет к Пифии гадать о судьбе. (Случай: Пифия думала, что комиссар пришел ее арестовать, и трепетала у соседки, а когда решилась пойти к нему, оказалось, что он трепетал, ожидая ее, чтобы «открыть свою судьбу по Библии» (раскрыть Евангелие): у комиссара жену посадили в тюрьму за самогонку, он остался с ребенком, попробовал открыть чайную — не пошло (без хозяйки), и вот тут пришлось погадать.)

19 ноября. Я рассказал Ивану Матвеевичу Сосенкову про безбожие Елизара Наумыча, что все за это считают его за большевика, а он сам ненавидит коммунистов. «Презирает», — поправил Иван Матвеевич. «Ну да, конечно, — поправился я, — презирает».

Ненавидят теперь немцы французов — это верно. Ненависть была у большевиков к «буржуям», у евреев к царизму, но можно ли сказать, что русский народ ненавидит евреев, большевиков и т. д. Нельзя почему-то, велик для этого русский народ.

24 ноября. Величина государственного насилия обратно пропорциональна величине гражданского безразличия.

Русский народ есть физически-родовой комплекс: его так называемое «пассивное сопротивление» есть не духовная сознательная сила, а путь физического роста (так дерево повертывает свои ветви к свету, а паразит ползет всегда в тьму).

27 ноября. При малейшей опасности моему сыну воображение сейчас же рисует картину ужаса — ужас! Природа, моя деятельность — все исчезает как дым, и душа тянется к милосердному человеку.

Этот ужас — чувство страха смерти. И вот если я болею, если я умираю, то природа (радость жизни) умирает, но я еще живу, я переживаю радость жизни, перевалив по ту сторону живот (радости жизни), я представляю себе, что не остаюсь еще в совершенной пустоте, как бы ни было мне физически больно, я могу еще пролить слезу радости о милосердном человеке, протянувшем мне в эту минуту свою милосердную руку: это остается, и если я это чувство изображаю (дам ему образ), то это будет образ Христа, предсмертная моя жизнь и вместе с тем посмертная и вечная: с этим страдающие люди уходят в могилу, и это сознание есть христианская кончина живота моего.

Но ведь ужас я должен принять в свою душу, чтобы обратиться к Христу, на пути к Христу мне пред-стоит этот ужас, и вот почему живот мой сопротивляется, забывается, отталкивается, и отвращается, и противопоставляет Христу — Солнце. Но вдруг... землетрясение (что же тут Солнце или рука, протянутая ко мне с горсточкой риса? Это рука после землетрясения — Христова рука, хотя бы и в виде американского пайка).

Снег, добрый дядя Михай, падал и падал между соснами, все царственно белеет, гурковали краснобровые черные птицы на деревьях, а я, отвращаясь от всего этого, в ужасе кричал: Христос, Христос!

Но я кричал один в пустыне, другому я не мог Его назвать, потому что с этим словом в мир вошел обман, оно вызывает множества новых врагов с тем же именем Христа на устах. Мое страдание состоит в том, что я, чувствуя Бога, не могу, как дикарь, сделать образ его из чурочки, и носить его всегда с собой, и ночью класть с собой под подушку, что я должен быть бессловесно, безобразно. Нужно делать Христово дело, но нельзя называть Его вслух, не может быть никакой «платформы», «поэзии»... (Сказать, например, «христианский социализм!» — какая гадость!)

Между тем этот Бог живет в составе моей родни и существо почти что кровное: дядя Христос, он умер в позоре, и, быть может, моя задача и Его воскресить как отца... как родного... Я потому и не могу ссылаться на него, что он умер в позоре, что я должен Его жизнью своей воскресить, да, конечно, среди отцов моих есть и Христос (церковный).

Так что в слове «Христос» мне есть два бога: один впереди через ужас в предсмертный час, другой назад, родное, милое существо (о нем говорила мать: «Христос был очень хороший»); один через наследство моих родных, другой — мое дело, моя собственная прибавка к этому, моя трагедия.

24 декабря. Выдвинуты два вопроса — кооперация и краеведение, которые питаются личным сознанием и совершенно противоположны марксизму.

26 декабря. Червячки. Недавно я ехал по Савеловской дороге в Кимры кушать себе там на базаре болотные сапоги.

— Ну как червячки? — спросил меня толстый-претолстый сосед¹⁴.

Я удивленно смотрю на него.

Он берет у меня из рук газету и, в мгновение окинув последнюю страницу и возвращая, говорит:

— Прыгают, здорово прыгают!

— Кто прыгает, что такое?

— Я говорю, как червячки-то прыгают: подгребаются под две милашки.

Тут только я догадался, что червячки — значит, червонцы, и, в свою очередь, сказал:

— Да, червячки милашек (миллиарды) поедают.

— Вот вы, граждане, такие, — сказал толстяк, — не понимаете, не червячки милашек, а совсем даже наоборот: милашки гонятся за червячками, а они и прыгают от них.

И вдруг, переходя на «ты», спрашивает:

— Ты не постным маслом торгуешь?

— Нет, — отвечаю, — не постным, а что?

— Да что-то морда у тебя такая, волосы длинные, ни на что не похож.

— А вы чем? — спросил я.

Сразу так и установилось, что я ему «вы», а он мне «ты».

— Я еду, — отвечает он, — с жалобой на Ресефесере, иск хочу предъявить на два пуда собственного сала, было девять пудов, а вот довели: семь осталось. Довели!

Кругом в вагоне все смеялись, и все до единого человека разговаривали друг с другом точь-в-точь, как мы с толстяком.

— Ты, Ваня, с чем едешь? — спрашивает толстяк.

— С колодками, — отвечает Ваня.

— А ты, Степка?

— Я с лоскутом.

— Мишка, ты что везешь?

— Мальчиков.

— Как, я спрашиваю, мальчиков?

Толстый отвечает:

— Мальчикова обувь.

Там сандалины, там «хром», там в углу засели Тюха и Матюха и Колупай с братьями, едут к какой-то «сватье» за сахарной самогонкой.

И всем весело, все без перерыву острят, похлопывают друг друга, потискивают, подмигивают, как будто все родня между собой.

Люблю я это, чарует меня это непрерывное веселье, хотя в душе озноб, люблю находчивость слова. Я никогда в таком обществе не скрываю, что я писатель, напротив, стараюсь поскорее сказать об этом, сделаться через это своим и, не стесняясь, когда нужно, записывать материалы жизни.

(Запись на полях. Что бы ни говорили о торговле, а она в родстве с художеством, и, по-моему, вся разница не в психологии, а в доступности: художество — дело избранных, торговля — всех.)

— А на что же тебе большие сапоги?

— Мы же в болоте живем, — отвечаю, — болота переходят в больших сапогах.

— Ишь ты, писатель, все с подковырками, а ну-ка напиши ты в свою газету жалобу от русского народа, зачем это уничтожили самые любимые три буквы: ять, фиту и твердый знак.

— Чем же они любимые?

— Свободу слову дают: хочешь — ты эту букву ставь, хочешь — не ставь — все равно смысл одинаковый, а будто кудрявее и легче.

Колупай с братьями заметил:

— Да, три легкие буквы отменили, а три твердые дали.

— Какие же твердые?

— Скверные буквы: ге, пе, у.

Все грохнули, и так со смехом мы подъехали к Волге и гурьбой посыпались на перевоз.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Речь идет об организованном А. М. Ремизовым в 1907 году в Петербурге кружке литераторов «Обезьяня Великая Вольная Палата», членами которого были А. М. Горький, А. Н. Толстой, В. Я. Шишков, М. М. Пришвин и др.

² Аллюзия на книгу Н. Ф. Федорова «Философия общего дела» (т. 1, 1906, т. 2, 1913).

³ А. М. Ремизов. Запись является черновым вариантом очерка М. М. Пришвина «Сопка Маира» (1923).

⁴ Имеется в виду литературное приложение (ред. А. Н. Толстой) к одноименной ежедневной газете (ред. Ю. В. Ключников, Т. Л. Кирдецов), издававшееся в Берлине в 1922—1924 гг. и после введения нэпа склонявшееся к признанию СССР. В работе над литературным приложением, кроме А. Н. Толстого, принимали участие Н. Устрялов, Б. Дюшен, З. Венгерова, И. Иванов-Микитов. Лояльность издания к большевистской России вызвала резко отрицательную реакцию со стороны части русской эмиграции (Н. Чайковский, П. Милуков).

⁵ Шмелев Иван Сергеевич (1873—1950) — писатель.

⁶ Благой Дмитрий Дмитриевич (1893—1984) — литературовед.

⁷ В 1923—1925 гг. Пришвин активно участвует в краеведческой работе. Талдомский башмачник И. Романов в своих воспоминаниях пишет: «Михаил Михайлович расшевелил, всколыхнул общественность нашего кустарного городка. Под его влиянием создается и начало энергично работает общество краеведения, по его инициативе начался сбор материала для краеведческого журнала «Башмачная сторона». См. в кн.: Воспоминания о Михаиле Пришвине. М., Советский писатель, 1991, с. 85.

Надо сказать, что начало 20-х гг.— это время небывалого расцвета краеведения, чему парадоксальным образом способствовала культурная ситуация в России: разорение многочисленных усадеб, церквей, монастырей, которые до этого были и памятниками культуры, и местом собирания и хранения произведений искусства и литературы, привело к осознанию необходимости изучения и сохранения всего, что находилось под угрозой уничтожения. Частично эта работа координировалась из центра, в нее были вовлечены такие крупные ученые, как Е. В. Тарле, И. Грабарь, В. П. Семенов-Тянь-Шанский, С. В. Бахрушин и многие другие. Появились различные направления краеведения: городское, «усадебное», историко-революционное и др. Большинство краеведческих организаций находилось в провинции и занималось изучением своего края. Провинциальные краеведческие издания поднимали проблемы природопользования, полезных ископаемых, изучали культурную историю.

Развитие краеведческих организаций активно поддерживали почти все крупные научные учреждения страны: университеты, институты, Академия наук; суть отношения академической науки к краеведению в эти годы выразил секретарь АН С. Ф. Ольденбург: «Без краеведения мы бессильны». В 1921 г. была проведена Первая всероссийская конференция краеведов, начало работат Центральное бюро краеведения во главе с Ольденбургом, издавались журналы «Краеведение» (1923—1929), «Известия Центрального бюро краеведения» (1925—1929), большое количество журналов и альманахов на местах. Это было широкое массовое движение, охватившее тысячи людей по всей стране, объединенных любовью к своему краю, своей родине и желанием служить ей.

В первые годы после революции большевики высказывались о необходимости сохранения исторического наследия, развития краеведения, однако уже тогда многие из коммунистов относились к краеведению крайне враждебно; так, партийный историк М. Покровский в 1919 г. писал: «Охрана памятников искусства и старины стала чем-то вроде официальной мании в РСФСР». В конце 20-х гг. власти перешли к радикальным мерам: в 1929 г. по всей стране прокатилась волна разгрома краеведческих организаций, были сфабрикованы десятки дел, по которым большинство краеведов было арестовано и приговорено к разным годам заключения, многие были расстреляны.

Краеведческие организации еще некоторое время продолжали существовать, но уже в начале 30-х гг. почти полностью исчезли; своеобразным феноменом является создание сильных краеведческих обществ в лагерях ГУЛАГа, например, Соловецкое общество краеведения, создавшее замечательный музей и даже издававшее журнал. (Указано Г. Тюриным.)

⁸ Патриарх Тихон, арестованный в мае 1922 г. по обвинению в противодействии выполнению декрета ВЦИК от 23 февраля 1922 г. об изъятии церковных ценностей на нужды голодающих, сделал заявление, в котором говорилось: «Обращаясь с настоящим заявлением в Верховный суд РСФСР, я считаю по долгу своей пастырской совести заявить следующее.

Будучи воспитан в монархическом обществе и находясь до самого ареста под влиянием антисоветских лиц, я действительно был настроен к Советской власти враждебно, причем враждебность из пассивного состояния временами переходила к активным действиям, как-то: обращение по поводу Брестского мира 1918 года, анафематствование в том же году власти и, наконец, воззвание против декрета об изъятии церковных ценностей в 1922 году <...> Признавая правильность решения суда о привлечении меня к ответственности по указанным в обвинительном заключении статьям Уголовного кодекса за антисоветскую деятельность, я раскаиваюсь в этих проступках против государственного строя и прошу Верховный суд изменить мне меру пресечения, т. е. освободить меня из-под стражи.

При этом я заявляю Верховному суду, что я отныне Советской власти не враг. Я окончательно и решительно отмежевываюсь как от зарубежной, так и внутренней монархическо-белогвардейской контрреволюции. Патриарх Тихон (Василий Белавин)».

См. об этом в кн.: Мих. Вострышев. Божий избранник. Крестный путь Святителя Тихона Патриарха Московского и всея России. М., Современник, 1991, с. 126.

⁹ Евдокия Николаевна Игнатова (1852—1936) — двоюродная сестра Пришвина, член народовольческой организации «Черный передел». Составляя в 1918 г. летопись своей жизни, Пришвин отмечает: «Двоюродная сестра Дуничка (орф. автора) учит любить человека (с Некрасовым)». Ее жизнь становится для писателя символом кризиса идеологии народничества в целом. Прототип одного из главных персонажей автобиографического романа «Кашеева цепь» (в дневнике — иногда Марфенька).

¹⁰ Мф. 26: 36—44, Лк. 22: 39—46.

¹¹ Ин. 2:1—11.

¹² С. П. и А. М. Ремизовы. «Красная новь» (1921—1927), директор издательства «Круг» (1923—1927).

¹³ Лежнев (Альтшуллер) Исая Григорьевич (1891—1955) — литературный критик.

¹⁴ Здесь и далее башмачники из деревни Костино Талдомского района.

Александр СЕКАЦКИЙ

Рабы немые

Двадцать лет назад мы смеялись над веселой комедией Гайдая — над опереточным Кавказом, откуда доходили анекдоты армянского радио, грузинские тосты и отголоски горского гостеприимства. Теперь настала очередь посмеяться над нами, вынужденными платить выкуп за Кавказскую Пленницу — увы, не только в денежном выражении. В масштабе истории переход от комедии к трагедии произошел почти мгновенно: мы пока ничего не можем сказать об окончательном замысле Драматурга, но извлечь кое-какие уроки должны.

Почти ежедневные сводки о захвате заложников в Чечне вызывают весьма странную реакцию у обозревателей СМИ и официальных лиц, что-то вроде недоумения Винни Пуха по поводу «неправильных пчел, несущих неправильный мед». Как-то уж очень нецивилизованно выглядят отрезанные головы и поставленная на поток торговля живым товаром в эпоху «круглых столов» и прочих Дейтонских соглашений. Чтобы посмотреть правде в глаза, требуется определенное мужество — качество, в котором российские власти заподозрить труднее всего. Они всячески пытаются избегать неприличных слов, предпочитая самые мягкие формулировки — «освобождение незаконно удерживаемых лиц», «совместные операции силовых структур» и т. д. Однако ханжеское воздержание от неприличных слов роковым образом ведет к совершению неприличных действий — к заигрыванию с работорговцами, к регулярной выплате выкупов, оставляющей собственных граждан в полной незащитности перед высокодоходным бизнесом *пулевых командиров*.

И забавно, и грустно (как всегда бывает в трагикомедии) наблюдать за «официальными лицами», думающими, что стоять в позе страуса и значит проявлять политическую ответственность. Что ж, опасение обидеть вольнолюбивых горцев в чем-то понятно, особенно на фоне поражения в чеченской войне и последующей моральной капитуляции. И все же решимость называть вещи своими именами есть род достоинства, которое даже победители могут признавать за побежденными. Не претендуя на полноту обобщения, я хотел бы обратить внимание на несколько простых вещей.

Прежде всего работорговля. Западная цивилизация окончательно избавилась от этого древнейшего промысла только во второй половине прошлого века (после победы американского Севера над Югом). У вайнахских народов традиция рабовладения не пресекалась, по существу, никогда — ни во времена Ермолова, ни во времена Сталина. Я вспоминаю, как в Казахстане в конце 70-х годов по соседству с нашим стройотрядом работала бригада шабашников. Ее возглавляли двое ингушей, выступавших в роли юридических лиц. Договариваясь с председателями колхозов и директорами СМУ, бригадиры привозили свою рабсилу в нужное место и определяли на работу. Работяги, так называемые *бичи* и *зимогоры*, были в основном спившимися людьми, не имевшими ни дома, ни документов, — большинство из них не помнили и своих родных. Они трудились за двухразовое питание в день плюс выпивка по воскресеньям и праздникам — хозяева могли распоряжаться не только их свободой, но и жизнью. Жестокая расправа грозила бичам за попытку побега или саботажа, они могли быть проданы или проиграны в карты. В целом же отношения рабовладельца и раба регламентировались (и по сей день регламентируются) специальным разделом адата — традиционного права.

Заинтересовавшись этим феноменом, я выяснил, что только в Северном Казахстане существовали десятки подобных артелей, немалое количество кавказских пленников находилось и в Чечено-Ингушетии на положении домашних животных. Больше всего меня поразила та легкость и уверенность, с которой один-единственный чеченец управлял двумя десятками бичей, — я тогда впервые задумался над сло-

вами Аристотеля о том, что возможность быть или не быть рабом заложена в самой природе человека.

Захват заложников можно рассматривать как органическую составную часть вайнахского рабовладения. Вплоть до получения выкупа заложник выполняет ту же работу, что и раб. Или, если угодно, раб — это заложник, за которого не дают денег, и поэтому он компенсирует расходы на свое содержание натурой. Сейчас живой товар, находящийся на территории республики Ичкерия, можно условно разделить на четыре категории.

Первая, элитная категория — *именные пленники*. Сюда входят генералы, полковники, президентские представители и подданные тех стран, которые имеют обыкновение интересоваться судьбой своих граждан. Это самый ликвидный товар, торговля им приносит огромную прибыль, но требует солидного первоначального капитала, среди прочего — наличия как домашних стационарных тюрем, так и тюрем передвижных. Стало быть, бизнес на таком товаре среднему чеченцу не по карману.

Второй эшелон кавказских пленников состоит из тех, кто является человеком состоятельным или имеет платежеспособных родственников. Данная категория рабов-заложников на сегодняшний день самая массовая, к тому же здесь обеспечен минимальный риск для капиталовложений: во избежание лишнего шума родственники не сообщают в газеты о похищенных (и уж тем более не обращаются в милицию), предпочитая платить наличными и сразу. Быстрый товарооборот и объем торгов делают этот промысел сопоставимым по уровню доходов с нефтяным бизнесом.

В третью категорию входят рядовые заложники: военнопленные из числа «ограниченного контингента», люди, взятые наугад в соседнем Ставрополе, солдаты, проданные в рабство своими товарищами по оружию и др. Особенность этой группы, объединяющей простых граждан России, состоит в том, что субъектом-покупателем здесь служит государство, а оно оперативно оплачивает лишь поставки товара первой категории (именных пленников), прочие же томятся годами, сидят на цепи и в стойлах, работают «по хозяйству». Одним словом, неликвидный товар, и единственное отличие от четвертой категории состоит в том, что бедняги все-таки значатся в списках МВД, а поэтому имеют шанс дожидаться своей очереди, например, послужить разменной монетой в сделках некоммерческого характера.

Четвертая категория наиболее традиционна, она включает людей без роду без племени, не значащихся ни в каких списках. Прежде это были бичи, сегодня бомжи, а в остальном все по-прежнему. Впрочем, следует отметить, что за последние годы количество рабов четвертой категории (когда-то самой многочисленной) значительно сократилось. Причина в том, что уровень жизни в суверенной Ичкерии резко понизился и ныне редкая вайнахская семья может позволить себе иметь раба на хозяйстве: не прокормить.

Произшли и другие перемены: в заложники стали захватывать горцев из соседнего Дагестана и даже своих соплеменников (что является страшным преступлением с точки зрения адата). Такие случаи не слишком распространены, они прежде всего очень опасны для самих похитителей. Когда я поинтересовался у знакомого кавказца, почему все же «такое случается», он ответил: «Понимаешь, русские иногда не спешат выкупать своих родных, а горец отдаст все, что у него есть, не пожалует».

Обрисовав будничные фон чеченских событий, вернемся к российской политике. Трудно избавиться от чувства глубокого умиления, возникающего при чтении упражнений московских политологов. Какой тонкий анализ политических разногласий между Вахой Арсановым и, скажем, Казбеком Махашевым! Оказывается, у каждого из них столько аргументов и резонов, столько многоходовых комбинаций, что куда там Бисмарку и Киссинджеру до полевых командиров... Специалисты по разгадыванию кремлевских многоходовок легко переносят свой изящный и высокооплачиваемый навык в виртуальную Ичкерию, разъясняя читателю, что имел в виду какой-нибудь Батый Мамаев, обезглавливая заложников. Получается, что сие высокопоставленное лицо просто не просчитало всех вариантов... Да уж, если бы господин Мамаев (или как его там) следил за прессой, он имел бы все основания гордиться приписываемой ему замысловатой «политической платформой», но поскольку газет он не читает, то и продолжает руководствоваться простым принципом головорезов: одна голова хорошо, а две лучше.

Безупречная политкорректность обозревателей вызвана различными причинами или, скажем так, широким спектром страхов (не только трепетом раба перед возможным гневом господина). Но что же действующие политики с их силовыми структурами и рычагами воздействия? У них-то откуда дрожь в коленках и паралич воли?

И тем не менее упрекать кого-то в персональном малодушии нет оснований — попробуем лучше всмотреться в эти самые *силовые структуры*. Среди многочисленных репортажей двухлетней давности об успехах армии Дудаева и дерзких рейдах полковника Басаева затерялась маленькая заметка, относящаяся уже к периоду вывода войск после подписанного *соглашения*. Заметка имела форму официального сообщения и звучала так: «Командование войск СКВО выражает решительный протест чеченской стороне против незаконного разоружения войсковой группировки, выводимой из Чечни в новые места дислокации». Из дальнейшего текста следовало, что была остановлена и разоружена колонна бронетехники... Мне кажется, одной этой заметки достаточно, чтобы не искать других причин поражения.

В самом деле, только представим себе соответствующую картинку. Вот колонна на марше — светит солнце, движутся бронетранспортеры, танки, во главе бравого полковник (или, допустим, батяня-комбат). Тут из-за ближайшего пригорка выходят бородатые чеченцы во главе с авторитетным полевым командиром.

— А ну стой! — командует авторитет, после чего ситуация вполне может развиваться, как в известном анекдоте.

— Бросайте оружие и ложитесь лицом в песок, а то перестреляем, — требует полевой командир.

Полковник начинает что-то бубнить (т. е. *выражает решительный протест*), но чеченцы передергивают затворы. Делать нечего, приходится подчиняться. Когда последний БТР скрывается за холмом, верный боевой соратник Паши-Мерседеса встает, отряхивается, а затем (оглядевшись по сторонам) обращается к личному составу с вопросом: «А знаете, почему они нас не перестреляли?» «Почему?» — следует робкий вопрос. «Да потому, что мы Армия! Армия! Армия!»

Действительно, было бы наивно рассматривать армию и другие силовые структуры как случайно уцелевшие островки в общем упадке воли к государственности и всеобщем оскудении человеческого достоинства. Безумная стратегия выживания, выпавшая стране в последнем столетии, привела к тому, к чему привела, — к отбору самых покорных, робких и бессловесных, к преимущественному воспроизводству четырех рабских категорий. Россия, пленница ГУЛАГа, так и не освободившись, переведена по этапу на положение кавказской пленницы, и без учета *этих* реалий никакая реальная политика невозможна.

Следует признать, например, что военного решения чеченской проблемы сегодня действительно не существует, но не потому, что все проблемы решаемы путем сближения «политических платформ», — в демократической Европе некоторые проблемы решаются путем сближения авиабомб с наземными объектами. Причина — в отсутствии дееспособного субъекта, обладающего волей к решению. Можно ли всерьез упрекать правительство, если из всех «голосов народа» лишь один содержит ясно выраженную волю — это голос матерей, не желающих пускать своих сыновей не только в Чечню, но и вообще в *эту* армию. Их требование справедливо, как всякий приговор истории, и несправедливо ровно в той же мере. Но оно, во всяком случае, реалистично. Какое-нибудь другое государство, которое действительно является своим для своих граждан, могло бы нанести точечные удары по центрам работорговли, и такая акция получила бы одобрение международного сообщества. Но сегодняшней России и эта задача, пожалуй, не под силу: или что-нибудь не получится, или, если получится, *свои же* не поймут и не простят.

Таким образом, упрекать официальные власти за неэффективную политику на Кавказе — это все равно, что упрекать некрасовского крестьянина за несжатую полосу. Конечно, «грустную думу наводит она», но еще более грустно другое — отсутствие минимальной выдержки и здравого смысла хотя бы в пределах возможного. Есть особая ирония истории в том, что за сохранение Чечни в составе России (никогда вайнахи не считали себя частью другого государства) цепляются те же люди, которые роскошными банкетами отмечали отделение действительно исторических территорий. Как одуроченные детишки, они когда-то перепутали произвольные сталинские внутренние границы с международно-правовыми (за что, правда, удостоились высокой чести *все* *рьез* общаться с другом Биллом и другом Гельмутом) — увы, они не повзрослели до сих пор.

Допустим, что восстановить законность кратчайшим путем сейчас нет возможности (это так), но ведь преимущество каждого государства, даже самого хилого, перед вооруженными формированиями, даже самыми отчаянными, может заключаться в меньшей торопливости, в устойчивом отстаивании принципиальных позиций — и тогда само время работает на правоту умеющего ждать: в масштабе десятилетий, глядишь, и подвернется подходящий случай. Вот Соединенные Штаты сорок лет не признавали оккупацию Прибалтики — и оказались правы, и были вознаграждены за

способность сорок лет хотеть одного и того же. А Китай, дождавщийся возвращения Гонконга, кто теперь усомнится, что он решит и проблему Тайваня? Согласно популярному политическому апокрифу, Мао Цзедуна как-то спросили: «Сколько лет продлится вражда Китая с Советским Союзом?» Правитель ответил: «Вражда продлится примерно десять тысяч лет. К этому времени Советского Союза уже давно не будет, но вражда еще останется». Требовать от российского государства такой долгой воли было бы, конечно, смешно, но хотя бы по десять раз в течение года не менять позиции, неужели слабо?

Бессмысленно пускаться в военную авантюру, однако ведь вовсе не обязательно величать каждого бандита боевиком. Не обязательно принимать каждого *пулевого командира* на высшем политическом уровне, его можно по крайней мере не пускать в приемную, а выкуп заплатить за кулисами. И если уже знакомый нам Батый Мамаев вдруг заявит, что готов вести конструктивные переговоры с «российскими властями», то хорошо было бы не посылать ему приветственных телеграмм и приглашений, а спокойно уведомить о возможном в этом случае сокращении срока тюремного заключения.

Впрочем, все это благие пожелания и они вряд ли исполнятся; по-настоящему, по большому счету, есть только один выход, и он не лежит в измерении политических игр. Следует взять старинный букварь, прочно забытую азбуку и открыть первую страницу. Там напечатан самый главный текст, воистину азбучная истина. Вот она:

Мы не ра-бы. Ра-бы немь.

Этот текст следует читать по слогам, читать медленно и вдумчиво, учить наизусть. Возможно, для того, чтобы выучить урок, потребуются десятилетия, может быть, и больший срок, но без прочного усвоения первой азбучной истины все затейливые рассуждения политологов не стоят ничего. Только когда будет приобретена исходная грамотность, не позволяющая обращаться к головорезу «ваше превосходительство», только тогда кавказская пленница сможет вырваться из плена. И только свободные люди смогут учредить настоящее, всамделишное государство, защищаемое собственными гражданами и защищающее их. При этом не важно, каких размеров будет государство, важно, чтобы оно не было ни страшилищем, ни посмешищем.



Москва закулисная

За кулисы театра посторонних не пускают. И правильно делают — там много есть всякого, чего не надо видеть нетеатральным людям. Там не все так красиво, как на сцене: страх, грязь, ужас попеременно с невероятным и прекрасным. За кулисами легко разочароваться — ничего настоящего: костюмы с чужого плеча, искусственные кудри, раскрашенные лица. И все живет чужой, ненастоящей жизнью. И тем не менее... Кулисы манят, как магнит, как манит чужая тайна. И сами артисты время от времени любят подразнить посторонних своими загадками. Приподнять завесу над ними — цель этого повествования. В нем кумиры отвечают на вопросы, которые не принято задавать в театре. В нем — и правда, от которой порой становится не по себе, и вымысел, благодаря которому над театром и его закулисным остается романтический ореол недоступности. И в этом притягательная сила ТЕАТРА.

Мистика

Более суеверное заведение, чем театр, представить трудно. За кулисами приметы — это «священные коровы», без трепетного отношения к которым в театре случается Бог знает что.

Плохой приметой считается грызть семечки за кулисами, свистеть. Скверное дело, если щель на сцене и туда попадет каблук. И уж совсем ужасно, если на репетиции из рук у артиста вдруг вывалится пьеса. Это верный знак того, что роль будет провалена. На этот случай на театре знают верный способ, как отвести несчастье. Во-первых, нужно положить пьесу на пол, сесть на нее, а главное — вспомнить пять знакомых лысых.

К табу в театре относятся павлиньи перья, выносить которые на сцену считается дурным знаком: плохо кончится. А если гроб на сцену выставить — пиши пропало. Во МХАТе заметили, что, когда в «Маскараде» выставляли гроб Нины, обязательно что-то случилось. То вдруг кольца загорятся, которые накануне сменили. То ни с того ни с сего из креманки падает горящее мороженое на заранее пропитанный огнеупорным материалом половик, и тот начинает гореть.

Но иногда в театре происходят вещи, объяснить которые не может никто. Вячеслав Зайцев чуть не свихнулся, когда оформлял спектакль «Лорензаччо» в «Современнике».

«Мне нужно было нарисовать персонажей, которые потом станут образами новой фрески. И три ночи подряд с десяти вечера до семи утра я расписывал огромные панно. Долго трудился над лицом Марины, и каждый раз возникало какое-то странное искажение. В какой-то момент я даже заметил, что это чужое лицо, которое прорезается в Маринином портрете, с картины не уходит, как я его ни закрасивал. И однажды в начале пятого утра, когда в театре вылезает всякая чертовщина, я почувствовал, что все эти «чужие» образы ожили и между ними происходит борьба за присутствие на фреске. Ужас охватил меня. Я смирился и ничего не переделывал. Но самое поразительное, что «Лорензаччо» просуществовал недолго. А фрески — огромные — исчезли из театра невероятным образом».

Или во МХАТе в «Трех сестрах» на стене висел портрет старого мхатовского артиста Массальского, «игравший роль» портрета отца сестер Прозоровых. Позднее

его заменили на портрет другой знаменитости — Болдумана. И как только заменили, с «Болдуманом», по рассказам мхатовцев, стало что-то происходить: то упадет, то перекосит его, хотя висел он на тех же крючках, шнурах, а главное, на том же самом месте. «Массальский не доволен», — крестясь, шептали театральные старухи.

Но что там Массальский! Что вытворяют с театральным человеком Булгаков, Достоевский и Гоголь, когда их начинают ставить! Их ставят, а они не стоят, то есть всячески не хотят обрести сценическую жизнь. Марк Захаров в «Ленком» лишь на третий год сделал инсценировку «Мертвых душ» — «Мистификации». «По дороге» Николай Васильевич Гоголь подставлял подножки авторам спектакля и даже, по мнению Захарова, повредил ему ногу, отправил на лечение в Германию в надежде, что «Мертвые души» не материализуются на ленкомовской сцене. Захаровское упорство было вознаграждено успехом спектакля через три года. И тем не менее режиссер уверен, что именно Гоголь 17 августа 1998 года устроил в стране кризис. Самое интересное, что, когда с шумом и аншлагами пошла премьера «Мистификаций», когда спекулянты взвинтили цены на билеты, в «Ленком» произошел ряд трагических событий, которые связывают с Гоголем. Неожиданно умерла актриса Светлана Савелова, ушла из дома и не вернулась артистка Ивочкина. В больницу с перитонитом попал Александр Лазарев, занятый почти во всех спектаклях. И в конечном итоге в «Ленком» вынуждены были играть Гоголя практически каждый вечер. В театре все согласились с тем, что таким образом великий пересмешник эгоистически очистил сцену для одного себя. Если это так, то цена слишком жестока.

А вот спектакль «Мастер и Маргарита» в постановке Михаила Левитина так и не увидел свет. То, что происходило во время репетиций, не случилось с режиссером и его театром ни до, ни после попытки поставить Булгакова.

«Все буквально рушилось на глазах, — вспоминает Михаил Левитин. — Постоянно прорывало трубы, которые только что починили. Болели артисты. Неожиданно из театра ушла Люба Полищук. И в довершение всего я сам умер. Вышел из лифта и упал, потеряв сознание. Меня спасло то, что, уже будучи в бессознательном состоянии, я нажал кнопку не своего этажа и позвонил в дверь соседке, которая оказалась врачом-кардиологом. Она-то меня и спасла, вызвала реанимацию. Заметьте, вся чертовщина прекратилась, как только я отступился от романа Булгакова».

Не отступился Юрий Любимов, поставивший бессмертное произведение на Таганке. Но после одной репетиции случилось то, чего испугались все. Репетиция прошла без приключений, закончилась, и режиссер, поблагодарив всех, распустил актеров. Монтировщики ушли со сцены. И ровно через несколько секунд вся тяжелая металлическая декорация рухнула. Если бы кто-то хоть на мгновение задержался на сцене, то... Последствия были бы страшными.

Есть авторы, которых на театре боятся как огня и к которым льнут, как бабочки, сжигая крылья при приближении к ним. А есть спектакли, будто заколдованные или проклятые. Во всяком случае, к таким в Москве относят постановку «Тойбеле и ее демон». Совершенно необъяснимые вещи происходили с участниками спектакля, пока он шел на мхатовской сцене. Через два сезона после премьеры заживо сгорела актриса Елена Майорова. Вячеслав Невинный провалился в люк, переломал себе ребра и в тяжелом состоянии был доставлен в Склиф. Очевидцы рассказывают, что случилось это непостижимым образом. Актер отыграл свою сцену, его встретили и, как обычно, вывели из темноты кулис с фонариком, чтобы он не упал. И вдруг на полдороге Невинный разворачивается и направляется к сцене. Шаг в сторону — и он летит в сценический люк. Никто, в том числе и он, не мог объяснить, зачем ему понадобилось возвращаться.

На этом трагедии «Тойбеле» не закончились. Через год после смерти Елены Майоровой совершенно неожиданно умирает ее партнер Сергей Шкалик, тридцати пяти лет от роду. Его нашли мертвым в кресле в собственной квартире. Медицинский диагноз: сердечная недостаточность. «Тойбеле и ее демона» в конце концов сняли с репертуара, решив не испытывать судьбу и не вводить новых артистов на роли. Самое интересное, что, когда МХАТ приступал к репетициям спектакля, в дирекцию стали приходиться письма, в которых анонимные авторы предупреждали, что это произведение очень опасно для жизни. Тогда это расценили как бред сумасшедших дамочек, которые толкуются возле каждого театра. Однако реальность поставила под сомнение и бред, и чужое сумасшествие.

А хорошие-то приметы за кулисами имеются? Как выяснилось, имеются. Например, если на артиста, идущего в театр, по дороге какнет птичка, это считается

лучшим из лучших. А к самым добрым знакам на сцене относятся кошки. С ними борются, гоняют по театру, но на самом деле режиссеры их тайно любят. И лишь для профформы требуют их отлова. Среди мхатовских кошек самая знаменитая — Машка, давно получившая звание народной. Она периодически важно заходит на сцену, и тогда все думают: «Слава Богу, все будет благополучно». Как-то во МХАТе гастролировали итальянцы с комедией дель арте. Они в качестве декорации привезли с собой белоснежный чистейший морской песок. После каждого спектакля его просеивали, чуть ли не пылинки сдували. Так Машка сама пописала в него хорошенько и всех своих дружанов с помойки привела. С итальянцами была истерика. Они даже объявили награду за поимку кошек, и некоторые из мхатовцев таким образом подрабатывали: запустят кошку, а потом ее же и отлавливают.

С кошками в театре связан миллион историй. Театр Сатиры играл в Петербурге премьеру «Ревизора». Декорация была мрачная, под стать мрачной российской действительности. Музыка звучала таинственная. На словах ворвавшегося Бобчинского: «Чиновник, о котором вы изволили получить notiцию, — ревизор», — между персонажами начинает фланировать черный человек со свечой, и вдруг откуда ни возьмись в действие врывается черная кошка с зелеными глазами. Сначала она прыгает на стол, со стола на спину Менглета, с Менглета на Спартак Мишулина, с него на стену. Сорвалась, упала и, как черт, умчалась. Зал взорвался аплодисментами.

В антракте известный чешский режиссер бросился к Плучеку:

«Валентин, потрясающий трюк с чертом!»

«Да, мы долго репетировали эту сцену», — не моргнув глазом соврал Плучек.

В Большом драматическом театре шла пьеса из американской жизни «Этот пылко влюбленный». Играли Алиса Фрейндлих и Владислав Стржельчик. В момент бурного признания на авансцену вышел здоровенный котяра, уселся ровно посреди сцены спиной к залу и внимательно, переводя взгляд с Фрейндлих на Стржельчика, стал следить за «американцами». Зал, в свою очередь, наблюдал уже только за котом. В конце концов это надоело Стржельчику, и он вышел из положения.

«А это, — сказал он партнерше, указывая рукой на животное, — наш домашний кот Васька».

Зал рухнул от хохота.

Однажды Георгий Товстоногов решил пресечь в своем театре кошачью вакханалию и запретил кому бы то ни было — от уборщицы до примадонны — подкармливать обнаглевших четвероногих. А надо заметить, что среди кошек БДТ была всеобщая любимица — естественно, Машка. Весь театр прятал ее от глаз сурового мэтра, тихо подкармливая и балуя за кулисами. И вот однажды идет репетиция. Товстоногов в ударе, артисты хорошо играют. И вдруг он замечает, что лица актеров напряглись и они явно не думают о спектакле. Артисты со сцены видели, как по центральному проходу совершенно раскованной походкой к ним направляется Машка. Товстоногов заметил ее тогда, когда она подошла к сцене и попыталась запрыгнуть на нее. Но, поскольку Машка была глубоко беременна, она свалилась, чем еще больше усилила напряжение в зале. Кошка пошла на вторую попытку. Прыгнула и на передних лапах повисла, не в силах подтянуть тело.

«Ну помогите же ей кто-нибудь», — пробасил Товстоногов.

Поцелуй

Теперь — поцелуй. Что такое поцелуй на сцене? — спросите артистов. И получите самые противоречивые мнения. Поцелуй, говорят они, — это:

- всего-навсего трюк;
- акт безграничного доверия к партнеру;
- муха, из которой не стоит раздувать слона;
- опасная зона, где вранье не пройдет;
- — отличный тест на профессионализм.

Ну уж если даже у них такие разные на сей счет представления, то нам сам Бог велел заняться этой темой поподробнее.

Обратимся к истории. Когда еще сеть театральных заведений была не столь разветвлена, целоваться артистов — домашних и профессионалов — учили все кому не лень. Так, «Журнал для хозяек» за 1912 год подавшимися в актеры девицам советовал: «При поцелуе следует выполнять следующие правила: 1 — бросьте томный взгляд на партнера, 2 — закатите глаза, 3 — наберите побольше воздуха, 4 — выста-

вите пухлые губки и наконец отдайтесь поцелую». Профессионалы не разделяли натуралистических взглядов доморощенных советчиков и по сему поводу цинично возражали: «На обычной сцене одна из самых неприятных сцен — это поцелуй. Лезет к вам размалеванная физиономия с наклеенными усами и бородой. Бог знает что!» («Экран и рампа», 1912 год).

И все же: учили искусству поцелуя на отечественной сцене? Или нет? Тут уместно спросить или уточнить — когда?! В 20—30-е годы еще учили, позже овладеть этим делом можно было только в рамках общего перечня хороших манер: как носить шляпки, держать голову в мундире, а также вилку с ножом на званом обеде.

«Нас учили не только целоваться, но и различать, кого целуешь: жену или любовницу. Более того, разбиралась природа поцелуя.— Это вспоминает Георгий Менглет, обучавшийся в студии знаменитого Алексея Дикого.— Помню, на репетиции мы как-то отработывали одну сцену. Долго не получалось.

— Вы кого целуете? — спрашивает меня педагог.

— Жену, — отвечаю.

— А почему?

— Мы расстаемся.

— Я бы на вашем месте, голубчик, использовал затяжной поцелуй».

Со временем, увы, поцелуй стал не столь тонким делом. А при большевиках был подвержен цензуре, корректуре, редактуре и стал идейным оружием в воспитании безнравственных артистов.

В середине 50-х годов в театре Сатиры шел спектакль «Милый друг» по Мопассану. Очевидно, по причине распутной личности буржуазного писателя его долго не разрешали, но на премьеру отдельные члены правительства все же пожаловали. Перед их приходом за кулисы прибежал кто-то испуганный, «шестерка» из чиновников.

— Сегодня спектакль смотрит начальство! — сообщил он артистам.— Так что вы насчет поцелуев, обжиманий поосторожнее. Сегодня сдержаннее играйте.

— Это как? — поинтересовались артисты.

— Ну... обнимайте любовницу... как... шкафа.

Александр Пороховщиков почувствовал всю прелесть поцелуя власти, предпочитавшей вариант смертельного засоса.

— На кинопробах не помню уже какого фильма, когда я играл сцену с поцелуем, какой-то чудак кричал мне: «Не прижимайтесь к ней снизу. Где ваша щель? Щели не вижу!» Я ему объяснил, что в таких ситуациях между влюбленными в жизни щели не бывает. «Мы что, бесполое?» — спросил я. «Это вы сексуально озабоченный», — последовал приговор, и меня сняли с проб.

Но в стране чудес поцелуй бывал спасательным кругом, который выручал режиссеров, не искажая художественной идеи их замысла.

Вспоминает Галина Волчек:

— На съемках фильма «Король Лир» была сцена, в которой моя героиня Регана после эпизода ослепления Глостера с ее участием, опьяненная возмездием, врывается в комнату к своему любовнику. Подлетает к нему и срывает с него одежду. Дальше должен следовать акт близости, который в те годы был просто невозможен. И тогда я предложила Козинцеву: пускай Регана, возвращаясь от любовника по коридору, увидит лежащий на столе труп мужа и страстно поцелует его. Для меня поцелуй в данном случае был сублимацией всего того, что она переживала.

Обыватель часто считает, что все артистки — проститутки, а актеры — пьяницы. В утешение объектам публичного внимания могу сказать, что подобное отношение к комедиантам было во все времена, о чем и сообщалось в журнале «Театр, спорт, азарт» (Санкт-Петербург, 1910 год).

Из интервью с госпожой Гвоздицкой — примой русской сцены:

«— Как прошло ваше турне по Кавказу? Удачно? — интересуется интервьюер.

— Не говорите мне о нем...— закидывается премьерша.— Что за публика! Что за нравы! Вот два места в России, где любую артистку упорно отказываются считать за порядочную женщину! Это Нижегородская ярмарка и Кавказ!»

На праздный вопрос, задаваемый, как правило, с открытым ртом: «А целуются то артисты по-настоящему?» — отвечаю: целуются и взаправду, и понарошку.

— Целоваться всерьез — не было и нет такой проблемы для русского театра. Возьмите хоть обрядовый поцелуй в «Князе Серебряном» и сыграйте его

понарошку. Ничего не выйдет! Если не целоваться, тогда не надо партнерствовать. Если я видел, что партнерша не откликается мне, я говорил: «Дуреха, что ж ты мордашку воротить?» Но, как правило, умницы попадались.

Сказавший это один из старейших актеров русской сцены, уважаемый педагог, пожелал остаться неизвестным. Почему?

А потому, что расхожему убеждению о том, что разврат — профзаболевание на театре, мы выдвигаем свой тезис о скромности и зажатости актеров, особенно когда речь заходит о поцелуях и интимных сценах. Оказывается, публично поцеловаться — это вам не на одной ноге попрыгать. Даже для артистов со стажем. Фальшь-поцелуй — прием, которым пользуются многие, во-первых, чтобы не чувствовать дискомфорта на сцене, а во-вторых, в больших залах фальшь-поцелуй выглядит эффектнее. Но если таковой происходит крупным планом, вранье рассмотреть несложно.

Режиссеры знают несколько способов, как снять зажим у артистов, которые, приступая к репетиции, испытывают естественные комплексы: у многих есть семьи, возлюбленные. Один итальянский режиссер, который долго бился с любовной сценой, сам начал возбуждать холодную актрису (от подробностей, как он это делал, уклонился). Чтобы актеры страстнее падали в объятия друг друга, одна известная режиссерша заставляла свою ассистентку и художницу раздеваться в кулисах и светиться прелестями в надежде на то, что исполнитель на сцене «зажжется» быстрее.

— Часто, чтобы снять зажим, я говорю артистам так: «Ребята, я пойду звонить, а вы поцелуйтесь по-настоящему», — делится опытом режиссер Андрей Житинкин.

— Почему?

— Потому что, сделав это по-настоящему, поцелуй легче сымитировать на сцене. В эмоциональной памяти актера это остается как первая любовь, что в интимной истории очень важно.

И вот артисты поцеловались...

Интересно то, что отношение к поцелую на сцене у актеров — мужчин и женщин — разное. Проведенный мною опрос среди молодых и мастеров показал, что у сильной половины сцены в этом вопросе проблем меньше.

Георгий Менглет: «Я любил эти сцены. Но напряжение и стеснение чувствовал».

Александр Пороховщиков: «Зажима и стеснения никогда не было. Я всегда знаю, что делаю».

Лариса Голубкина: «Я люблю, чтобы на сцене все выглядело естественно, но это вовсе не значит, что если пить, то водку, а драться — так до смерти. То же самое с поцелуем».

Ольга Яковлева: «Натурализм меня всегда шокирует».

Людмила Гурченко: «Это очень непростое дело. Можно написать целый трактат на тему поцелуя».

Александр Лазарев-младший: «Я не придаю этим сценам значения. Поцелуй во многом зависит от партнерши».

Вот, вот где истина зарыта — в партнерше и ее отношении к партнеру. По словам одного уважаемого педагога Школы-студии МХАТ, актриса не идет на контакт, как правило, по двум причинам: а) антипатия, б) дурной запах изо рта собрата по искусству. Последнее отпугивает дам больше самых неприязненных отношений.

До революции Одесский оперный театр стал свидетелем истории, которую передают из уст в уста. В южный город приехал столичный премьер. Вся Одесса ломилась на спектакль «Отелло» с его участием. И вот мавр склонился над бездыханным телом убиенной им Дездемоны. Зал нервно сглатывает слезы, и в тот момент, когда даже мухи замерли перед лицом последнего «прости», раздался душераздирающий крик «покойной»: «Уйди, чеснок, уйди!!!» Как выяснилось потом, премьер накануне крепко выпивал и закусывал чесноком. У партнерши обнаружилось слишком чуткое обоняние, и она не выдержала теста на профессионализм.

После того, что я случайно подсмотрела на одном камерном спектакле, предлагаю поцелуй рассматривать как акт безграничного доверия партнеров друг к другу. По ходу дела актриса незаметно сунула артисту валидол, очевидно, для заглушения дурного запаха изо рта. И тут сценическое переходит в человеческое, о чем будет рассказано ниже.

Актеры тоже люди. И бывает, что любовь на сцене имеет исключительно жизненное продолжение. Часто после сценических интимностей возникают романы. Реже — семьи. Впрочем, на сцене, как и в жизни, всегда столько неожиданностей.

— Мне очень нравилась одна актриса. И вот я дождался спектакля, где у нас было объяснение в любви, которое заканчивалось объятиями и поцелуями, — рассказывает артист Борис Иванов. — Я готовился. И в нужный момент вlepил моей пассии такой поцелуй, что она задохнулась, как будто перца хватанула. Ух! «Идиот!» — прошипела она на сцене. А за кулисами подняла пороссячий визг, мол, я ей весь грим «съел». Ну какой с ней, скажите мне на милость, мог быть роман?

Не часто, но доходит до криминала. Критик Виктор Каллиш однажды был свидетелем страшной сцены. Артистка со всей страстностью своей героини во время поцелуя укусила партнера. Тот даже ойкнул. А за кулисами избил ее за то, что она сорвала ему ответственную сцену, нарушила психологический рисунок.

На мой вопрос — испытывают ли актеры во время сцены близости то же самое, что и их герои? — многие ушли от ответа, и только Александр Пороховщиков, который всегда знает, что делает, признался, что в эти секунды бытия он наслаждается. Наслаждаются, очевидно, и партнеры, находящиеся в романе. Но хорошие артисты знают, что кайф должен быть не у них, а у зрителей.

А что думают на сей счет люди, на которых, собственно, держится театр, то есть драматурги, выпысывающие эти самые поцелуйные сцены даже в ремарках. Мнение Григория Горина слегка озадачивает.

— Поцелуй на сцене за последние десять лет стал неважным и ненужным атрибутом. Поцелуй и убийство, я убежден, — вот две вещи, которые уходят и выглядят сегодня театральщиной. Более того, у меня, как у зрителя, они вызывают чувство неловкости, как и обнажения на сцене. Сегодня возбуждают одетые... Лучший поцелуй, на мой взгляд, был в «Тиле». Когда Тиль увидел женщину, жующую яблоко, потянулся к ней: «Как я хочу...» Она протягивает ему навстречу губы, а он в это время хватается за яблоко...

Да, господа, если так дальше пойдет, и лучшие драматурги откажутся от естественного выражения любовных чувств и заменят их, скажем, летящими в головы партнеров табуретками и стаканами... Боюсь, судьба театра будет под угрозой.

— Смерть — это куда интереснее, чем поцелуечики, — сказал драматург Горин. — Вы бы это исследовали.

Поцелуй как предмет исследования неисчерпаем. Я еще не рассказала о всевозможных видах поцелуев, используемых на сцене: деликатный — в уголок рта, развратный — с предательски размазанной помадой на лице любовника, адский поцелуй. О том, что артистов необходимо учить этому делу, чтобы из зала это не казалось ужасным да и им самим было комфортно. А также о многом-многом другом из области того, на что всегда так интересно не только взглянуть из зрительного зала, а подсмотреть из-за кулис, со служебного входа. Но всех тайн я вам не раскрою. Иначе театр перестанет быть таковым.

А напоследок я скажу: «Совсем другое дело — кинематографический поцелуй! Настоящий, здоровый поцелуй без противного грима. Солнце, яркий день, сад... Тебя подхватывают сильные руки, молодые губы крепко впиваются в твою. И все это на фоне красивого пейзажа». («Новости экрана», 1913 год.)

Смерть

А теперь, как и требовал драматург Григорий Горин — траурный марш и... смерть. Смерть — это вам не любовь, не вздохи на скамейке, а понятие темное, даже страшное. Страшно, когда человек умирает. Больно, когда все плачут. И даже если это театральная игра в смерть, то все равно игра с огнем. И профессиональный цинизм не всегда спасает. Впрочем, на театре у всех к этому разное отношение — от мистических ощущений до чувственных наслаждений и сознательной оптимизации жизненного процесса.

Пытаясь постичь тайну театральной смерти, для начала я решила полежать в гробу. Лежать в гробу было... как... Сразу не объяснишь. Неуютно? Страшно? Жестко? А может быть, глупо лежать в расцвете сил и красоты? Чего только не

пронеслось в моей голове, упирающейся в струганую деревяшку, по сравнению с которой парковая скамейка казалась периной. Мистики добавили монтировщики МХАТа, которые решили создать мне все условия, приближенные к преисподней: вырубил свет и пустили орущую кошку. Я лежала в гробу и видела себя со стороны.

— Они еще не так развлекаются, — сказала завпост Лида. — Вот в «Маскараде» у нас гроб выезжает с муляжом актрисы. И как-то один мебельщик взял и лег в гроб вместо куклы. В тишине я услышала голос: «Я здесь. — И через минуту: — А меня уже нет». Что-то вроде гробовых прятков устроили.

Да, так играть со смертью и ее атрибутами, наверное, можно только в театре. Грех это или великое искушение? Искушение, которое театральный человек не в состоянии преодолеть? А, дойдя до края в игре, он заглядывает туда? В бездну? Я мучаюсь вопросами жизни тире смерти, как бессмертный писатель Смердяшкин.

На самом деле во всем виноваты драматурги, у которых редкая пьеса обходится без мордобоя, убийства и летального исхода. Древние греки, например, засыпали сцену трупами. У Вильяма Шекспира тоже с этим делом был явный перебор. Всей крови, пущенной им в пьесах, хватало бы на приличный стратегический донорский запас. Причем убийства классик выписывал особо иезуитские, типа подсыпать яда в бокал королеве. Каково? Это вам не банальное: «Был расстрелян из пистолета ТТ на пороге собственного дома».

Но не от кровожадности и реализации садомазохистских комплексов громоздили писатели горы трупов. Смерть на сцене и «подъездные пути» к ней (драка, убийства и т. п.) всегда были способом, может быть, и наилучшим, познать жизнь. «Без смерти нельзя сказать, состоялась жизнь человека или не состоялась», — сказал кто-то из великих, а умница доктор Фрейд — дарвинист и атеист одновременно — подвел черту: «Цель всякой жизни есть смерть». Только не надо пугаться. Поначалу мне тоже было страшновато.

Какое будет лицо у смерти на сцене и какая у нее будет мина при игре, зависит от художника, ее ваяющего. Великая трагическая актриса Алиса Коонен «умирала» в Камерном театре у режиссера Таирова практически везде, что ни спектакль — она вся в смерти. В «Мадам Бовари», когда бедная Эмма отходила в мир иной, режиссер разработал и расписал как по нотам ее стоны и агонию. Те, кому повезло видеть спектакль, рассказывают, что это была не агония, а... симфония.

Путешествуя по смертоносной теме, я выяснила, что убийство и даже момент смерти многие режиссеры легко отдают на откуп чужому дяде, небрежно бросив: «Сделайте мне здесь драчку со смертельным исходом». И это в тот момент, когда страсти драматургические находятся на пределе... Один из таких «дядь», самых известных в Москве, педагог по пластике Андрей Дроздин, на режиссерское счастье не терпит на театре натуральщины.

Андрей Дроздин: «Драка, убийство, самоубийство и смерть должны на сцене иметь решение. А когда мне показывают кишки и море крови — это апеллирует к зверю в человеке. Театр же, о каких бы жутких вещах он ни говорил, должен поднимать человека».

В своих смертельных метафорах Дроздин отправляет публику в космос. В нашумевшем в свое время спектакле «Ромео и Джульетта», где, как известно, убийство на убийстве и убийством... он придумал следующее: после каждой смерти кто-то из артистов на сцене брал яйцо, в которое предварительно закачивали анилиновый краситель, и с силой швырял на задники. Вид сползающей со стены плазмы всех цветов, кроме красного, — это было посильнее самого крутого высокотехнического мордобоя. И Джульетта (ее играла Елена Коренева) яда из склянки не пила. Она кинжалом рассекала яйцо-пустышку, в полной тишине выпивала содержимое и, отведя руку в сторону, с силой сжимала яйцо так, что треск скорлупы в гробовой тишине заставлял зрителей вздрагивать. Еще вариант смерти — самоубийство героини в «Легенде о любви». Оно поставлено как любовный акт — от любовной игры до оргазма. Эффектен конец в «Королевских играх» у Марка Захарова, когда Генрих и его возлюбленная уходят в черноту под вой волчьей стаи.

Зрители не выдерживают сильных сцен. Их реакция непредсказуема: от шепота до крика, от обморока до личного участия в действии. В старинном театре вообще ни одна драма не обходилась без обморока впечатлительных дамочек, чем с успехом пользовались оборотистые антрепренеры. Для поднятия ажиотажа они заказывали спецобмороки в партере. Говорят, за это хорошо платили. Публика на такую драму валом валила, но история помнит случаи пострашнее. В провинциальном театре давали «Отелло». Когда Мавр задушил Дездемону, в зале вдруг вскочил офицер, обливаясь слезами, выхватил пистолет и выстрелил в Отелло. Артист упал замертво. Опомившись, на глазах у публики офицер застрелился. Как свидетельствует легенда, их похоронили в одной могиле и написали на надгробье: «Лучшему артисту и лучшему зрителю». Вот где здесь театр? А где — жизнь?

Теперь таких случаев на театре не наблюдается. Зритель пошел ушлый и закаленный жизнью, где цена его собственной жизни — копейка. Никакой смертью его не проймешь, и публику больше волнует, не как умирает артист, а как он валяется на сцене: не почешется ли в самый ответственный момент? Не чихнет ли? Хотя сами лежащие артисты страдают не от зрителя, а от своих же товарищей, которые обожают поиздеваться над «покойничком».

Каких только историй не припомнит сцена! Молодой Евгений Евстигнеев во Владимирском театре играл в пафосной стихотворной пьесе «Овод» охранника, который этого самого Овода расстреливал. И вот наступает сцена расправы. Евстигнеев ставит пламенного революционера к стене тюрьмы, прицеливается и вдруг слышит за кулисами топот и шепот, обращенный к нему: «Потяни паузу». Евстигнеев, у которого с памятью на стихи всегда было плохо, начал тянуть как мог.

— Нет, так просто я тебя не убью.— Вертит Овода, прицеливается, чтобы выстрелить, как вдруг опять беготня и шепот из кулис: «Потяни паузу».

Евстигнеев начинает опять крутить арестованного, водит его по сцене. То так прицелится, то эдак, неся какую-то отсебятину.

— Я убью тебя вот так.— Прицеливается и... опять тот же шепот: «Ну потяни еще, умоляю».

Евстигнеев чуть на уши не встает с этим арестованным. Наконец он поставил его спиной к зрительному залу, сам встал спиной к тюрьме, нарисованной по всему заднику. Ожидая, что в любой момент его вновь попросят потянуть паузу, решил проверить дуло пистолета. Повернул его к себе, дунул в ствол, и в этот момент за сценой раздался выстрел. Как хороший артист реалистического театра Евстигнеев не растерялся и рухнул. Вместе с ним рухнула тюрьма. В это время вышел артист в форме и скомандовал: «Встать! Продолжать расстрел!»

Смерть на сцене — вещь понарошку. Поэтому в Театре можно изобразить все — прозекторскую, морг, крематорий. Но... Режиссер Театра им. Маяковского Татьяна Ахрамкова уверена, что есть вещи, делать которые на сцене нельзя:

— На курсе Марка Захарова студенты показывали этюд по русской заветной сказке «Смерть козла». Козлом был «новый русский», он лежал в гробу, и у него все время звонил сотовый телефон. При этом висели иконы, горели свечи, стоял гроб, звучала молитва. Полностью был воспроизведен обряд отпевания. Было жутко от того, что неясно, где кончается искусство и где начинается биология.

— А ты как режиссер чувствуешь эту грань, за которую переходить нельзя?

— В такие моменты возникает необъяснимое чувство внутреннего дискомфорта. У меня был этюд, где действие происходит в прозекторской. Из-за занавеса торчали ноги «покойника» с номерной биркой. Звучал марш Шопена, и все выглядело забавно, на репетициях все ухохатывались. На публике же все прошло при гробовом молчании.

Однако артисты, управляемые режиссером с его навязчивыми идеями, вынуждены часто переступать эту грань. Техника техникой, но серьезные, большие артисты на инерции сильной роли въезжают, как на коньках, в запретное. Заглянув «за», волей-неволей задумаешься: что есть смерть? Когда я лежала в мхатовском гробу, подобные мысли, которые от страха путались, посетили меня. А петербургская актриса Светлана Крючкова сказала: «Это нельзя» — и что если бы ей предложили роль со смертельным концом, то она бы сильно подумала. Впрочем,

может быть, дело в суеверии. Театральное суеверие достигает апогея, когда режиссеру приходит в голову выставить гроб на всеобщее обозрение.

Да, гроб на сцене — это не свидетельство режиссерской а) беспомощности или б) отчаянного таланта. Владелец последнего Петр Фоменко — один из немногих, кто смело выставлял гробы, пугая ими публику и номенклатурное начальство. В Театре им. Маяковского шла «Смерть Тарелкина», и артист Алексей Эйбоженко, игравший Тарелкина, сначала ложился в гроб, закрывал крышку, а потом прыгал на нем, как на кухонном табурете.

Другие режиссеры все же побаиваются гробов. Даже Михаил Левитин, чей театр «Эрмитаж» равнодушен к смертельной теме, отказался от премьеры комедии Ивлиева «Незабвенная», которая по количеству гробов и мертвецов переплюнула всех. Гроб Офелии не стал выносить Сергей Арцибашев, который все убийства в «Гамлете» вывел за скобки спектакля. Бояться — и правильно делают.

У артистов же, послушных воле режиссера, к гробам отношение проще, поскольку они в них и ложатся. Михаил Державин падал в гроб двести раз в спектакле «Самоубийца».

Михаил Державин:

— Я вылетел на сцену с криком: «Федя Петунин застрелился и записку оставил: «Подсекальников прав. Действительно, жить не стоит». И при виде живого Подсекальникова хлопался в гроб.

— Ну и как ощущения?

— Никаких рефлексов на этот счет у меня не было. Спектакль был смешной. И покойные Рома Ткачук и Миша Зонненштраль ничего подобного мне не говорили. Ложиться в гроб не противнее, чем изобразить половой акт. Только когда Рома Ткачук умер, Ольга Аросева сказала мне: «Миня, не надо тебе больше падать в гроб. Рома же умер». Не знаю: есть ли тут какая-то связь?

В театре Сатиры, похоже, всегда было здоровое отношение к гробам и покойникам. Когда Роман Ткачук лежал в гробу, артисты вокруг хохмили: что-то шепнут ему или цветок положат на то место, куда покойникам не кладут. А Анатолий Папанов, изображавший фальшь-труп в «Последнем параде», развлекался тем, что держал скрещенные руки ниже живота. Ему в руки вставляли гвоздику, которую он то поднимал, то опускал к всеобщей радости.

Вообще работать «покойником» непросто. В Казанском театре на спектакле «Цилиндр» «покойник», устав лежать, захрапел. Но умные люди время на сцене проводят с большой пользой. В Кирове на репетиции сцена прощания длилась так долго, что артист, равнодушный к партнерше, лежавшей в гробу, начал крутить с ней любовь. Пока режиссер что-то нудно объяснял про смерть, в гробу тем временем жизнь была ключом. Роман, начавшийся в гробу, как рассказывают, продолжался сорок лет.

Гробовые хиханьки на сцене не цинизм артистов, а скорее всего их защитная реакция, инстинкт самосохранения. О чем и свидетельствует доктор Фрейд: «Бессознательное в нас не верит в собственную смерть. Оно вынуждено вести себя так, будто мы бессмертны. Быть может, в этом кроется тайна героизма». И многие другие тайны тоже.

Когда я принялась за материал, у меня было подавленное настроение с отзвуками шопеновского марша в душе. Но чем дальше, тем больше возникало желание отдаться радостям и наслаждениям жизни. Поэтому я спросила законченного жизнелюба Михаила Ливитина, поставившего спектакли с чудными названиями «Нищий, или Смерть Занда», «До свидания, мертвець», «Хроника необъявленной смерти»: «Почему вас так тянет к теме смерти?»

«Только остро любящий жизнь и творчески постигающий ее человек беспрерывно обращается к теме смерти. Он думает: «Неужели это когда-то кончится?» Кстати, мой любимый поэт Введенский был очень веселым человеком, картежником, бабником, пьющим, богемным, можно сказать, аморальным типом, с точки зрения окружающих. Но он писал только о смерти. Я сам не могу понять: почему факт непреложной смерти не побеждает нашу любовь к жизни? И я точно знаю — что, когда мне придется умирать, я обниму жизнь за шею так, что буду висеть ооченьвский».

Любить жизнь до посинения — это не каждый умеет. Тем более что театр никогда не переплюнет жизнь, не обманет ее и будет выживать по законам,

продиктованным ею же. Надо думать, что в контексте современной жизни с бессмысленными бесконечными смертями и не бутафорскими гробами сценической смерти придется туго. Что ставить? Как ставить? И ставить ли вообще? Что нам остается? Может быть, иронизировать над смертью, как это делал барон Мюнхгаузен с помощью Горина и Захарова, заявив: «Так надоело умирать». А другой литературный персонаж, умирая, сказал: «Жизнь так прекрасна, что ее не испортит ничего. Даже смерть».

Но театр помнит вещи пострашнее.

Ни один человек не умирал столько раз в жизни, как артист. Он то в гробу полежит, то, красиво раскинув руки, со стуком упадет «замертво». А то, скорчив мерзкую гримасу, изобразит гибель от мышьяка. И это, замечу, нисколько не влияет на его жизненный тонус. Упадет занавес, и артист, стряхнув с себя гробовую пыль, как собака воду после купания, идет предаваться плотским утехам. И все же...

Изображая на сцене смерть, артисты как бы примеряют ее на себя, проигрывают то, что рано или поздно случится со всяким. Но в отличие от всякого смертного кончина артиста окутана мистикой, странностями, высокой трагедией и низкой спекуляцией. Так все-таки — сколько артистов умерло непосредственно на сцене? И умерло ли вообще? А какие? И при каких обстоятельствах?

— Ой, да много! Навалом,— говорят артисты почему-то с будничной интонацией. Как будто что ни день — у них труп на сцене.

— Ну кто, например? Вспомнить можете?

— Конечно. Ну этот... как его? Да хоть взять...

В лучшем случае профессионалы вспомнят Андрея Миронова или кого-то из мхатовцев, но без фамилии. А дальше — бесконечные паузы, наморщенные лбы и сдвинутые брови. Выходит, смерть на сцене — это миф? Тогда откуда он родился? При подробнейшем изучении темы удалось выяснить, что без легенд и мифов здесь не обошлось. Хотя реальные факты, достойные высокой трагедии, имеются — артисты действительно умирают на сцене.

Для начала я позвонила туда, где про театр знают все на свете,— в Музей театрального искусства имени Бахрушина.

— Такой статистики у нас нет. Да и зачем нам это? — равнодушно ответили на другом конце провода и, очевидно, пошли пить чай или сдувать пыль с экспонатов.

Экстремальные, из ряда вон выходящие события на сцене профессионалов, похоже, не занимали. А между тем история оставила нам удивительные свидетельства из жизни артистов.

25 марта 1883 года. Англия. Ричмонд. Великий трагик английской сцены Эдмунд Кин играет в «Королевском театре» в «Отелло». В этот день он настолько плох, что долго не решается гримироваться. Но все же собирается с силами. Согласно описанию любопытного историка, два первых акта Кин отыгрывает с трудом. На третьем он даже просит сына, исполнившего роль Яго, не оставлять его одного на сцене. Начинается прощальный монолог Отелло. Когда Кин доходит до фразы «окончен труд Отелло», у него закружилась голова. И со словами: «Я умираю, скажи им что-нибудь вместо меня» — он падает на руки сына...

1724 год. Франция. Париж. На сцене Пале-Рояля дают «Мнимого больного» господина де Мольера с ним же в главной роли. Бакалавр Мольер прыгает среди аптекарей с клистирами и весело кричит в ответ докторам:

— Умный врач тотчас пропишет

Кровь бедняге отворить!

И вдруг неожиданно стонет и валится в кресло.

Жизнь тире смерть и в особенности последний миг жизни двух театральных гениев исследуют и опишут не раз. А некоторые даже создадут самоценные произведения, которые так же будут ставить на театре. Михаил Булгаков сочинит «Жизнь господина де Мольера», где миг смерти комедианта выглядит так: «Он успел подумать с любопытством: «А как выглядит смерть?» — и увидел ее немедленно. Она вбежала в комнату в монашеском головном уборе и сразу размахисто перекрестила Мольера. Он с величайшим любопытством хотел ее внимательно рассмотреть, но ничего уже более не рассмотрел».

Григорий Горин написал пьесу «Кин IV», представившую на сцене Театра им. Маяковского английского трагика в его величии и ничтожестве. Насчет смерти Эдмунда Кина у драматурга особое мнение. Оно образно и театрально, как и сама пьеса.

Тем, кто не видит ничего особенного в смерти артиста на его рабочем месте, я предлагаю всмотреться в ряд имен, дат, событий и фактов, которые доказывают неслучайность происходящего в театре. Начнем с имен — все они значимы для истории: вышеупомянутые Кин, Мольер, дальше мхатовские корифеи Николай Шмелев и Борис Добронравов, Андрей Миронов... А какие роли они играли в свой предсмертный час! Кин — Отелло, Мольер — мнимого больного, Андрей Миронов — Фигаро. Роли, обессмертившие их.

А даты? Добронравов умирает в день основания МХАТа — 27 октября. Наталья Вилькина — на Пасху, в святой день Благовещения и день рождения знаменитой актрисы Елены Гоголевой, с которой Вилькина очень дружила. Хмелев умирает в тот момент, когда на сцене играют «Мертвые души».

Мистика? Может, и мистика. Но слишком подозрительны параллели и пересечения, чтобы так легко от них отмахиваться. А тут еще диван. Да-да, диван. Тот самый, что стоял в аванложе Художественного театра в Камергерском переулке. На этом диване с разницей в четыре года скончались два корифея.

1 ноября 1945 года. Москва. Николай Хмелев назначает генеральную нового спектакля «Наши времена». Он уже надел костюм, загримировался и даже позировал фотографу, не подозревавшему, что делает последний снимок знаменитого артиста. Начали репетировать, и вдруг Хмелев упал. Все, кто был в этот момент на сцене, бросились к нему, усадили в первый ряд партера. Вызванный врач осмотрел больного и сказал, что трогать Хмелева нельзя. И тогда Николая Павловича уложили на диван в аванложе, той самой, где обычно приглашенные гости высокого ранга ждали начала представления. В спектакле, что шел вечером — «Мертвые души», — Хмелев занят не был. Он умер во время спектакля.

Через четыре года, 27 октября, во МХАТе играют «Царя Федора». В роли царя — Борис Добронравов, четвертый по счету мхатовец, игравший знаменитую роль. Свидетелем трагических событий тех дней был молодой еще тогда актер Владлен Давыдов, ныне директор музея МХАТа.

Владлен Давыдов. «Я второй сезон работал в театре и стоял в массовке охранником. Борис Георгиевич отыграл шестую картину, ту, где он гневался. «Пусть посадят в тюрьму!» — кричал и бил рукой по столу. Отыграл, ушел со сцены. Он должен был переодеться в грим-уборной, чтобы выйти на восьмую, финальную — «Архангельский собор». Уходил всегда со свечой в руках. В тот день свеча плохо «горела», то есть контакт от лампочки отходил. Он ворчал и на ходу бросил помрежу:

— Больше я при таких свечах играть не буду!

Эту ничего не значащую фразу через несколько минут будут толковать в театре как роковую или провидческую. А пока Добронравов подошел к двери, ведущей в уборные, толкнул ее и... рухнул. До приезда «скорой» Бориса Георгиевича положили в аванложу на тот самый диван. Там он и скончался.

Совпадение или несовпадение — гадать не стоит. Смерть артистов на сцене, в театре есть знаковость и, по мнению многих, богоизбранность.

— Умереть на сцене — это как птице умереть в полете, а собаке — на охоте, — считает Григорий Горин, исследовавший тему смерти на судьбе трагика Кина. — Придворный трагик умер, как король, — на сцене. А король — как презренный смерд: от колита на горшке.

— А я вот не хочу умереть на сцене. Пусть смерть застанет меня в сортире, но только не на сцене, — говорит Георгий Менглет. — Я однажды попрощался с жизнью и друзьями на фронте, когда нещадно бомбили Ясы, у границы с Румынией. Тогда мы все обнялись, расцеловались, и я, к своему стыду, попрощался в душе не с семьей, а с футболом. «Прощай, мой дорогой футбол. Больше я тебя не увижу». А на сцене, которая мне дала столько счастья и радости, я не хотел бы умереть.

Мнение, что кончина на сцене — мечта каждого артиста, оказалось сплошным заблуждением.

— Да хреновина все это — смерть на сцене, — сказал Михаил Козаков. — Не ищите в этом ничего. Жить надо легко, а умирать быстро, как писатель Лавренев.

А умер писатель так. Весенним ярким днем он вышел на улицу. Вальяжный, в роскошном светлом пальто, он шел по Ленинграду и здоровался с приветствовавшими его знакомыми.

— Как себя чувствуете, Борис Андреевич? — спросил кто-то.

— Пре... — были последние слова писателя, упавшего в шикарном пальто на грязную мостовую.

— А вы, Михал Михалыч, извините, конечно, какую смерть предпочитаете? — поинтересовалась я.

— По Бернарду Шоу: умереть от пули ревнивого мужа.

Пасть от пули рогносца — оно, конечно, эффектно. Как и эффектна сама актерская жизнь.

Так что же это за профессия такая? Где поза, где цинизм, где притворство, а где суть? Оттого-то им не страшно задавать вопросы, от которых нормальные люди бегут как от чумы. Ведь умирали на сцене не раз понарошку. И мало того, что артисты изображают смерть, они еще в этот момент умудряются щекотать ее, то есть шутят. Это только не ученому театральному делу господину придет в голову вопрос, описанный Мольером.

— А это опасно — представляться мертвым? — спрашивает господин Арган.

— Нет-нет. Какая же в этом опасность! — смеясь, отвечает ему Туанетта. — Протягивайтесь здесь скорее.

Вот артисты и протягиваются, как велит им режиссерская фантазия. И что же? Полагаете, тихо лежат? Да и не лежат вовсе, а только и думают о том, как им, «мертвякам», поскорее улизнуть со сцены и успеть на пару халтур. Но не тут-то было.

В «Ленкоме» в 60-е годы играли спектакль про гражданскую войну. Там красноармейца убивают в начале второго акта, и он обычно падал возле кулисы, чтобы под шумок классовой борьбы незаметно исчезнуть из театра. И вот товарищи по сцене заготовили ему адскую пытку. Они решили «убить» его не у занавеса, а прямо на авансцене. Артист удивился, но, делать нечего, упал и прикинулся убиенным. Лежит, поглядывает на часы, чувствует, что горит его халтура. Тогда на глазах у зала покойник приподнимается и, изображая предсмертные судороги, направляется к кулисе.

— Добей гада! — командует белый офицер и, давясь смехом, производит «контрольный» выстрел в голову.

«Гад» растянулся посреди сцены. Что он устроил после спектакля, описанию не подлежит.

В своих играх в жизни актеры доигрываются до такого цинизма, что становится жутко. В середине 70-х в знаменитом ресторане ВТО произошел такой случай. Гуляла актерская компания. Среди гулявших был артист Масоха, человек, как говорят, очень хороший, но игравший в кино мерзавцев и негодяев. На киностудиях, когда искали исполнителя на роль главного фашиста, обычно говорили так: «Пришлите артиста с внешностью Масохи». И вот этому самому Масохе, выпивавшему в приятной компании, вдруг становится плохо. Буквально за считанные минуты он умирает. Послали за доктором. Пока ждали — что делать? — накрыли бедолагу салфеткой и продолжали пить. От такой картины у одних мурашки по спине, а у других желание поднять тост за свежего покойника.

В таком смертоносном разрезе актерская профессия как на ладони. Однако профессиональный цинизм не помешает мне восхищаться актерской братией. Они выходят к публике с температурой, с воспалением легких, с приступом язвы. И даже если в этот день похоронили маму. Выходят на сцену, играют, и для многих роль становится последней в их жизни. Как это случилось в БДТ с Виталием Полицеймаком. В марте 1963 года он играл в спектакле «Дачники». Уже очень плохо себя чувствовал, но не позволил себе не довести роль до конца. Только шепнул партнеру Васильеву: «Боря, помоги мне уйти». Вышел за кулисы и потерял сознание. С диагнозом «инсульт» его доставили в больницу. Он прожил еще пять лет, хотя как артист умер на «Дачниках».

Наталья Вилькина, замечательная артистка, в тот день не была занята в спектакле. Пришла в Малый поговорить с директором насчет новой пьесы. Сидела на по-

доконнике, курила, болтала. Ей стало плохо. В театр она больше не вернулась. Совсем недавно на спектакле «Чайка» в Малом же театре в оркестре, игравшем на заднике, вдруг замолчала труба. Плохо стало музыканту. Он умер. Но публика ничего не должна видеть. Поэтому артисты игრაот, музыка звучит...

Андрей Миронов. Красивый. Талантливый. Обожаемый всеми. Он умер на спектакле в своей лучшей роли Фигаро в августе 1987 года. Теперь про его смерть не рассказывает только ленивый, даже тот, кто в тот день не был в Театре оперы и балета в Риге, но знает артистов, костюмеров, гримеров, машинистов, которые, в свою очередь, знают, как было на самом деле. Любая смерть, особенно смерть великих, порождает массу спекуляций.

Все убеждены или очень хотят в это верить, что Миронов скончался, произнося монолог Фигаро, который в этот вечер «звучал особенно проникновенно». Никакой ложной исповедальности у артиста, которому стало плохо, не было. Александр Ширвиндт играл рядом с Андреем Мироновым в тот вечер.

Александр Ширвиндт: «Это был последний спектакль. Мы все устали. И на сцене заводили себя, хохмили, понимаешь? Уже прошел монолог Фигаро, Андрей говорил текст про беседку, где спрятались переодетые графиня и Сюзанна. И вдруг резко пошел на меня. Я думаю: ничего себе шуточки! Как реагировать? А Андрей сказал: «Сильно болит голова», — и странно так пошел в сторону».

Ширвиндт успел подхватить падающего Миронова и оттащить в кулису. Все закричали: «Занавес!» И еще истощенее: «Есть в зале врачи?» Набежали врачи, стали предлагать нитроглицерин, который, как потом оказалось, был только вреден. Примчалась «скорая», и, когда Андрея несли на носилках, он только хрипел и ничего не говорил.

В приемном покое больницы директор театра Мамед Агаев, тогда работавший администратором, ножницами снизу доверху распорол костюм Фигаро, чтобы облегчить артисту дыхание. В клинику приехали светила — в это время в Риге проходил европейский конгресс невропатологов. После осмотра известный хирург Кандель произнес: «Все, все бесполезно». Двое суток артиста держали на аппарате искусственного дыхания, на трети приняли решение отключить. Он еще какое-то время жил, как говорили врачи, после того, как ему стало плохо на сцене. Хотя врач, а может быть, санитар, сопровождавший его, утверждал, что по пути в больницу Андрей еще что-то говорил про какую-то беседку. Медик не знал, что это слова из пьесы. Такая история смерти, когда роль доигрывается в бессознательном состоянии, намного красивее прозаичной истории болезни — «упал, его тошнило». Когда тело Андрея Миронова, обложенное льдом, везли на машине в Москву, на дорогу выходили люди: кто плакал, кто крестился, кто махал рукой. И это правда.

Удивительное дело: а ведь на сцене почти никто не умер. Кин, сказав, что он умирает, скончался спустя полтора месяца. Мольер умер в тот же день в собственной квартире, у него горлом хлынула кровь. Хмелев и Добронравов скончались под крышей театра. Но, рассказывая красивые легенды, театр не врет. Вымыслом он поднимает артистов, которых в прошлом многие годы за людей не держали: их даже хоронили только за городской стеной. К умирающему Мольеру наотрез отказывались приходить священники. «Грешный комедиант» умер без покаяния, не отрекшись от своей осуждающей церковью профессии и не дав письменного обещания, что в случае, если Господь по бесконечной своей благодати возвратит ему здоровье, он никогда более в жизни не будет играть комедий.

Мольера даже не хотели хоронить вообще. И только вмешательство короля Людовика обеспечило ему человеческое погребение. Когда королю сказали, что «закон запрещает его хоронить на освященной земле», король спросил:

— А насколько вглубь простирается освященная земля?

Узнав, что только на четыре фута, он повелел похоронить Мольера на глубине пятого.

В этом смысле современным артистам, можно сказать, повезло. Во всяком случае, актеров хоронят на самых престижных кладбищах и в последний путь их провожают толпы, бесконечность которых говорит об истинных размерах любви к ним.

Елки

В жизни всякого артиста — знаменитого и малоизвестного — есть страшные дни. Эти дни — новогодние.

Судите сами: в то время, когда одни нормальные люди нарезают салат к праздничному столу, а другие нарезаются сами по себе, господа артисты выходят на сцену в спектаклях, чтобы обслужить культурную часть населения. Драма, начавшаяся для актеров вечером 31 декабря, переходит в трагедию 1 января, когда в утренних спектаклях они изображают всевозможных зверушек, «аленушек-иванушек» и просто сказочных персонажей. И только елочная страда, которая начинается в конце декабря и заканчивается в середине января, способна скрасить как моральную, так и материальную жизнь артистов, крепко задумывающихся над смыслом ремесла под Новый год. С помощью известных артистов и режиссеров мы решили перелистать страницы их новогодних приключений.

Начнем с ветеранов дедморозовского движения — Льва Дурова и Бориса Львовича.

Борис Львович: «Самым главным Дедом Морозом был артист Хвыля, прославившийся выражением: «Здравствуйте, дорогие дети Кремля!» И вот как-то пришел Хвыля на елку в чрезвычайно добродушном настроении, можно сказать, подогретым. Вышел и забыл слова. «Детки, я подзабыл, что я должен у вас спросить», — говорит он. «Дедушка Мороз, загадай загадку!» — кричат дети. «Пожалуйста, — согласился дедушка. — Вот сегодня мы со Снегурочкой отчесали пятнадцать елочек по тридцать рублей каждая. Сколько мы заработали за день, дети?» «Четыреста пятьдесят рублей!» — хором закричали образованные детки. «А вот фигушки! А налоги?»

Из наблюдений матерых Дедов Морозов:

1. Взрослые на елках ведут себя крайне отвратительно. Они отталкивают чужих детей, чтобы пропихнуть к Деду Морозу своих.

2. Взрослые пытаются спить Деда Мороза, предлагая ему перед елкой по «сопочке», а после елки — по пол-литра. Хороший тон на елке — кто быстрее и лучше напоит Деда Мороза.

3. Дети, как правило, лазают по Деду Морозу, как по елке.

4. Среди детей наблюдается раздвоение личности. С одной стороны, они знают, что перед ними переодетый дядька, с другой — все же верят во всамделишного Деда Мороза.

5. Раньше платили так: первая елка — это была палка (полная ставка). Вторая елка — полпалки (полставки то есть), третья — соответственно — треть палки и т. д.

Борис Львович: «Однажды на елке ко мне подошла девочка и спросила: «Дедушка, а у тебя ножки ледяные?» Я поднял подол шубы. «Живые! — закричала девочка, потом прижалась ко мне и сказала: — Дедушка Мороз, я тебя так люблю, так люблю».

Александр Жигалкин и Эдуард Радзюкевич — современные Деды Морозы, которые устраивают на Ленгорах лучшую елку в Москве: «Дети меняются в сторону плохой акселерации. Злые они стали. Однажды подошел мальчик и спрашивает: «Ты Дед Мороз?» «Дед Мороз», — добродушно отвечаю я. «Дед Мороз — хрен тебе в нос». А мальчик такой хороший, маленький. Однажды к Снегурке, которую играла повывавшая виды артистка, подошла девочка и спросила: «Снегурка, а Кощей, который тебя утащил, он как мужик-то, ничего?» Бедному Кощею дети регулярно предлагают проколоть яйцо. Про Бабу Ягу кричат: «Мочи ее!» — и выбрасывают средний палец руки вверх с воплями «фак ю!». А елочные террористы! Они ходят на каждое представление, выучивают его наизусть и потом мешают: орут и рассказывают залу все наши обманки и придумки».

Лев Дуров: «Когда я работал в Детском театре, мы играли по десять елок в день. Из детского сада — в клуб Горбунова, отсюда — в клуб Зуева, отсюда — в Кремль и опять в детский сад. Пахота была чудовищная, но по тем временам только этим можно было подзаработать. И вот в Детском театре артист Молодцов на елке играл Петуха. У него были такие красные ноги с большими желтыми когтями. В таком наряде ходить он не мог — передвигался по сцене прыжками. И вот однажды он чувству-

ет, что опаздывает на Кремлевскую елку. Тогда он решает не снимать петушинные ноги, сверху надевает длинное пальто и из Детского театра прыгает на улицу. Такси взять не может. И тогда он скачет напрямик через Красную площадь, со стороны представляя диковинную картину: здоровенный мужик в длинном пальто скачет, как козел, с петушинными ногами. Как только он поравнялся с мавзолеем, его вдруг схватили и через Спасские ворота куда-то поволокли. Стали обвинять в шпионаже (только шпионы пересекали границу на копытах), устроили дознание. Когда он объяснил, что бежит на елку в таком виде, ему, разумеется, не поверили, но все-таки решили позвать кого-то из артистов с Кремлевской елки для опознания «петуха». Пришел я, клялся, клялся, божился, что Молодцов никакой не шпион. Кажется, убедил. Отпуская его, генерал сказал: «Хорошо, я верю, что он не шпион. Но то, что он бежал в куриных ногах мимо усыпальницы вождя мирового пролетариата, этого я ему простить не могу».

Сегодня Дедам Морозам приходится выживать в условиях конкуренции с большим трудом. Владимир Радченко — один из главных и самых признанных московских профи на амплуа Деда Мороза. В своем театре Сатиры он бессменный автор и ведущий тамошних елок. Однако...

«Звонят тут мне недавно какие-то крутые ребята. «Мы, — говорят, — набираем Дедов Морозов для московских ресторанов и кабаре. Вам надо попробоваться. Приходите завтра днем на прослушивание». Я воспринял это просто как наглость. И плюнул на них».

Впрочем, жестоко ошибаются те юные амбициозные артисты, кто полагает, что достаточно соответствующего грима и густого добродушного баса, чтобы быть готовым Дедом Морозом. Ветераны елочного движения уверены, что для такой деликатной роли нужно родиться, и даже гениальный актер, не обладая от природы соответствующими данными и складом психики, может эту роль провалить.

Все спектакли 31 декабря имеют одно удивительное, роднящее их качество: они пролетают с просвистом.

Михаил Державин: «Однажды мы играли «Ревизора». Обычно он шел четыре часа. И вот тридцать первого Папанов подходит к нам и говорит: «Ребята, я опаздываю на поезд». И тогда мы сыграли спектакль на полтора часа короче. Причем не выкинув ни одного слова из текста. Успех был оглушительный. С тех пор благодаря Папановичу «Ревизор» шел именно с этим хронометражем».

Кое-кто из артистов становится жертвой новогодней гонки. Скажем, известен случай, когда в Малом театре давали тридцать первого спектакль и артист, занятый в конце второго акта, пришел к назначенному времени. Он-то пришел, зато театр был закрыт. Спектакль сыграли на полчаса быстрее. С бедолагой чуть инфаркт не случился.

Но, как правило, спектакли, датированные 31 декабря, отмечены всеобщим подъемом и ликованием как зрителей, так и артистов на сцене.

Юрий Васильев, артист театра Сатиры: «Десять лет подряд тридцать первого я играл спектакль «Восемнадцатый верблюд». Там я появляюсь из амфитеатра с большим рюкзаком за спиной — я же геолог. Закидываю ногу на сцену и вдруг чувствую, что рюкзак мой неимоверно тяжелый, как никогда. Тяну его, а за спиной слышу дикий хохот. Не понимаю, в чем дело, оглядываюсь. О Боже, оказывается, я вместе с рюкзаком волоку на сцену какую-то гражданку, которую подцепил за большую, красивую шаль крючком. Женщина упирается, кричит. Народ ржет. Еле распутали».

Казус с Васильевым — игра случая. Но есть среди артистов ловкачи, которые не упустят возможности поиздеваться над товарищами. И «расколами» на сцене под Новый год поднять всем праздничное настроение. К таким корифеям «расколов» относится Георгий Менглет.

«Мы играли спектакль «Интервенция», и там есть сцена, где я — французский полковник — обхожу войска и с возмущением обнаруживаю красные революционные бантики на солдатских мундирах — вроде как они сочувствовали русским товарищам. Тогда я велю своему подчиненному (артист Олег Солнос) сорвать их. И вот тридцать первого числа в карман одного из «солдат» я заложил революционную ленточку метров эдак в пятнадцать, но со скромным бантиком на конце. И когда Солнос, изображая гнев, рвал с груди молодых артистов бантики, он дошел до моей «мины». Держает, а она все тянется и тянется. Вот уже на полу груди красной ленты, которая не кончается. Он ничего не понимает, продолжает тянуть, глаза бешеные. А все вокруг рыдают...»

Но вообще 31 декабря обходится без особых происшествий. Администрация, как правило, не препятствует тому, что в конце спектакля, если по ходу его герои должны выпивать, артисты пьют не бутфорское шампанское или водку, а исключительно натуральные напитки. И бегом отмечать Новый год домой или с друзьями.

И вот наступает день — самый страшный в мире — день 1 января, когда с утра артистам надо выходить на сцену. Последствия их появления на публике после бурной новогодней ночи непредсказуемы, чреватые всякими неожиданностями, которые потом становятся театральными легендами.

Режиссер Театра им. Моссовета Андрей Житинкин: «1 января играют детский спектакль «Пчелка». Состояние артистов — эльфов и гномов — представить несложно. В середине спектакля есть мизансцена: гномы окружают умирающую Пчелку, и один из них нежно, но почему-то хрипло говорит: «Давайте подышим на нее». (По пьесе гномы согревают Пчелку своим дыханием, и она оживает.) Понятно, что фраза эта в новогоднее утро приобретает сакраментальный смысл. Героиня, на которую дышат гномы «после вчерашнего», не выдерживает и медленно отползает в кулису. Когда же один из гномов воскликнул: «Я все же должен подышать на нее!» — ей ничего не оставалось, как ответить с угрозой в голосе: «Я, между прочим, тоже могу подышать на тебя».

Георгий Менглет: «В Большом драматическом театре, где я недолго работал, в Ленинграде, первого января мы играли «Аристократов». Я — роль инженера, а один артист — рабочего на стройке. В тот день он явился под таким, даже нельзя сказать, шофе... ну просто никакой. А играть-то надо. Второй акт начинался с того, что он стоял на верхней ступени лестницы и толкал речь. В антракте мы его с трудом втащили на эту лестницу, установили и, чтобы не упал, подперли лопатой. И вот занавес открылся. Все ждут его реплики производственного характера. Он молчит. Покашливание в зале. Он молчит. И при этом опасно пошатывается. Мы ему шепчем: «Вася, давай». Он молчит. Пауза. И вдруг в гробовой тишине Вася произнес: «Ребята, я ничего не помню». — И заплакал».

Актер и режиссер театра «Сфера» Александр Малов: «Первого января я играл Бабу Ягу. Вид у меня был такой, что гримироваться не было необходимости. Отыграл. Все нормально. Дети счастливы. Вдруг подходит ко мне завпост и говорит: «Это профанация — играть Бабу Ягу без грима». Я разозлился: попробовал бы он первого января выйти на сцену! И так разозлился, что вошел в образ: «Миша, я тебе сейчас глотку перегрызу и кровь выпью». Его как ветром сдуло: наверное, у меня было такое лицо. Именно в этот день я поверил в волшебную силу искусства».

Михаил Державин: «Когда я работал в «Ленкоме», первого января у нас шла сказка «Чудесная встреча», где я играл юношу, заколдованного в коня. И вот я пришел после встречи Нового года, что нелегко далось, и вдруг выяснилось, что моя партнерша, игравшая влюбленную девушку, загуляла и не явилась. В театре паника, вызывают актрису из второго состава Нелли Гошеву. И все бы хорошо, но только Нелли на девятом месяце беременности и вот-вот должна родить. Приходит беременная Гошева и начинает играть невинную девочку, которая, по сказке, силой своей любви превращает коня, то есть меня, в прекрасного юношу. В общем, кое-как доиграли, и вот выходим на поклон. И тут я вижу, как с дальнего ряда по проходу к сцене идет маленькая девочка — в белом фартучке, галстучке, в косичках с большими бантами. Подходит вплотную к сцене, на которой мы стоим, и беременной Гошевой высоким голосом говорит: «Девочка, давай с тобой дружить».

На следующий день наша «девочка» родила».

И напоследок несколько посленовогодних баек, воспоминания о которых для артистов — чистая мука.

Евгений Весник: «Первого числа играли «Ревизора». Роль Городничего исполнял артист С. К. И вот в первой мизансцене он последним выходит к чиновникам, стоит молча, уставившись в одну точку, и произносит: «Бдень». Немая сцена. Артисты видят, что С. К. вчера перебрал. Но начали выкручиваться из положения.

— Вы хотите сказать, что имеете честь сообщить нам пренеприятное известие?

— Бдень.

— Вы хотите сказать, что к нам едет ревизор?

— Бдень.

В общем, вытянули сцену, но до антракта все-таки не доиграли. Дали занавес. На следующий день спрашиваю его: «Слушай, что такое бдень?» «Какой бдень? Ничего не помню, братцы». Тем дело и кончилось».

В филиале Малого театра сразу после Нового года давали «Богдана Хмельницкого», роль которого играл потрясающий 70-летний Николай Рыбников. У него к тому времени в репертуаре оставались две роли — Хмельницкий и князь Тугоуховский. И вот перед выходом на сцену он стоит и разговаривает с помрежем. Настолько увлекся, что чуть не пропустил свой выход. На последней минуте выскочил и, прихрамывая, кряхтя, приложив руку к уху, как глухой князь Тугоуховский, но в костюме Хмельницкого, дошел до середины сцены. В этот момент он услышал отчаянное шипение режиссера: «Хмельницкий, Хмельницкий!» Услышав это, Рыбников вдруг разогнулся, расправил усы, отчеканил шаг и заржал в полный голос. Зал встретил его аплодисментами, решив, что это Хмельницкий так пошутил.

В провинциальном театре 1 января случилось страшное. Играли пьесу из народной жизни. На сцене — воины, на холме — князь, которого княгиня с плачем и причитаниями провожает в бой. Артистка так вошла в роль, что долго-долго голосила, заламывала руки, и князю, изрядно выпившему, стало невмоготу. Когда она в последний раз, обращаясь к нему «князь ты мой светлый», принялась кричать, артист громко и отчетливо произнес: «А пошла ты...» На сцене и в зале все резко протрезвели. Дали занавес. Тут же вышел главный администратор:

— Уважаемая публика! Случилось страшное. Только что на ваших глазах артист Старочкин сошел с ума.

Артиста в театре больше не видели.



Путешествие по воде

Нога певца Средней России Константина Паустовского не ступала на тропу вдоль крутого берега Дёржи. А жаль — места у нас таковы, что перо его не удержалось бы в покое. Но тем человек и отличен от Бога, что не вездесущ. Хотя очень может быть, что душа его, освободившаяся от телесного плена, витает над моей головой. Я же думаю о нем, вижу, как он щурит глаза, вглядываясь в даль, распростертую за Волгу, могу вообразить его маленькую фигурку, как съезжилась она над удочкой в самом устье Дёржи, где хорошо берет подлещик. И даже завидую ему — у меня всего и улову два-три окунька с детскую ладошку. Нет, определенно душа его здесь, где я ее поместил.

Книг из собрания сочинений брать с собою я не стал, так что тексты, писанные рукой Константина Георгиевича, не соблазнят своим сладостным ритмом — мое перо беспризорно и может позволить себе вытанцовывать на листе все, что ему одному угодно, соблюдая правила правописания и стилистики и руководствуясь здравым смыслом. Постмодернизировать моему перу неудобно. Староват я для таких игр. Нет, не староват, тут что-то другое. Вот Валентин Катаев — у самого гробового входа вдруг затеял шутки с мовизмом. Видно, отмаливал столь экзотическим манером грехи молодого мерзавца, того самого, который поучал Мандельштама: «Правда — по-гречески мрия».

Не начав пути, мы заблудились. При чем здесь Валентин Катаев — мы по воду идем. Моему перу как раз и угодно поведать миру прелести предстоящего предприятия. Идти нам надо на источник. Их, собственно, два — ближний и дальний. Над ближним струится полая вода Дёржи, и, если дождей не случится, ждать надо дня четыре, пока откроется бетонное кольцо, которым он отделен от общего течения реки. Но и к дальнему дорога не длинна: полсотни метров одолевшему путь от избы до Дёржи — дело плевое. Путь же на реку составляет метров триста — четыреста.

Мы берем два ведра и непременно ковш. И легкие ведра, и ковш из ярко-красной пластмассы. Цивилизация! При всех своих преимуществах над оцинкованной или, того тяжелее, эмалированной стариной она своим цветом и блистающими боками насмешливо и нагло торжествует над тихим покоем пробуждающейся природы. Мой вкус оскорблен, но, раб удобства, смиряюсь.

Итак, идем. Мы — это я и мой верный щен Барон, сын лайки Байки и ризеншнауцера Корнета, можно сказать, родоначальник новой породы — волгодержский ризенлай. Зачат он был здесь, в нашей деревне Устье, в августе прошлого года на празднике людей и зверей по поводу дня рождения моей жены. Для него это первый, самый первый в коротенькой пока жизни выезд в деревню. А посему, едва я распахнул калитку, легкие ноги унесли ошалевшего от свободы юного пса далеко вперед.

Все умные книги о воспитании собак предупреждают: не очеловечивайте своего четвероногого друга! Да как это существо не очеловечить, когда — я вижу, вижу! — его на части разрывает та же радость воли и простора, что бьется и во мне самом. Открытая калитка подарила щенку весь обозреваемый мир — и солнце, и белое далекое облачко на юго-востоке, и дорожную пыль, и юную, как он сам, тоже вырвавшуюся на свободу пронзительно-зеленую траву. Смотри, Барон, смотри, втягивай запахи, пробуй на вкус — больше ты такой свежести не увидишь. К следующему нашему приезду трава загустеет, заматерееет, и до самой осени ее зелень усыпит наши с тобой восторги своим постоянством. Не потускнеют ни трава, ни листва на деревьях, потускнеет наша с тобой радость, мы перестанем различать оттенки, лишь изредка обнаруживая неоднородность цвета, когда вдруг покажется, будто овсы зеленеют с налетом легкой серебристой седины. Но что нам сегодня овсы — они даже росто-

ками не пробилась на пашне, влажной и холодной, не выпарившей из себя памяти о снежном покрове.

За молодой сосной лежит розовый гранитный валун, отмеченный всеми деревенскими собаками: здесь прерывается приступ безудержного восторга и счастья. Барон Корнетович на мгновение — ученый, вдумчивый исследователь, всем обонянием он предается анализу, постепенно переходящему в синтез: вот он поднимает голову, взгляд рассеян и сосредоточен куда-то глубоко внутрь. Впечатление такое, будто он только что читал «Критику чистого разума» Канта, новая мысль кенигсбергского философа оторвала от текста, он поплыл по волне ассоциаций... Плывет, плывет, а за забором напротив приоткрыта калитка. Забыт и розовый валун с лихими росписями местных знаменитостей — Шурика, Лапкина, Чапы и Китти, и Кант забыт с его категорическим императивом, шен рвется в гости.

Самый большой дом на нашей улице принадлежит Веронике — подданной Великого некогда княжества Финляндского, но вот уже больше восьмидесяти лет — суверенной республики Финляндии, богатого соседа вконец обнищавшей от воплощения мечты всего прогрессивного человечества России. Это, кажется, про Финляндию детский поэт, встретивший Великий Октябрь стихотворением «Путаница», сказал: «Только зайныка был паинька...» Теперь паинька заново учит нас элементарным правилам нормальной жизни. Правда, не очень здорово это получается. Бизнес у финляндской подданной шел сначала блестяще, явное чему свидетельство — просторный барский дом Вероники с открытой террасой для утреннего чаепития по южную сторону и обнимающей дом с севера и запада террасой остекленной — для бильярда и пинг-понга; напрашивается туда изящный ломберный столик для публики почтенной, предпочитающей вист или пульту-другую преферанса по маленькой.

Но хозяйке теперь не до ломберного стола. Наши отечественные чиновники пришли в себя от шока и вернулись на привычную стезю издоимства по «новым свободным (они же — рыночные) законам»; а тут и молодые шакалы подросли — ранние морозовы и рябушинские. Зубки у них острые, вонзительные, морали — никакой. Рынок в России еще лет сорок будет саморегулироваться, пока не откроет им глаза на простую истину: надувая партнера, роешь яму себе. Но сейчас они вырыли яму доброй Веронике, она ушла из большого бизнеса в скромный, и только отчаянная, невероятная для холодного западного человека любовь к России удерживает ее от решительного шага. Угадать в ее северном облике отчаянную любовь к России трудно — редкое чувство отразится в ее прозрачных, почти белых глазах.

Вероника с младшей своей сестрой Сари — контрастно на нее непохожей хрупкой кареглазой женщиной — на открытой южной террасе свершают breakfast. Пьют кофе со сливками. Бесцеремонный Барон взлетает на террасу, ожидая улыбок и чего-нибудь вкусенького. Улыбки он получает, но ничего более. Вероника щедра, но в пределах. Ей прекрасно ведомы все чувства и капризы четвероногих друзей: ротвейлер Чапа вышколена ею дай Боже — собака управляется одним строгим взглядом. Правда, если рядом нет кота — тут Чапу не удержит и плетка. Барон очень скоро понимает, что запахи бутербродов и печенья не для него, и, вежливо помахав хвостом, бежит на мой зов.

Наш путь идет дальше мимо усадьбы экривена земли русской, а проще говоря, писателя Вячеслава Пьецуха. В этот утренний трезвый час писатель терзает старую, грохочущую ржавой сталью пишущую машинку «Оптима». Зачисленный критиками по случаю позднего, лишь в перестройку возникшего из небытия существования в литературе в «новую волну», Пьецух — враг прогресса и клянется, что никогда в жизни не сядет за компьютер.

— Я слишком люблю человечество, — сказал он однажды, — чтобы доверять столь драгоценную прозу прихотям электроники.

Дело было после второго или даже третьего стакана, когда за мгновение перед падением в богатырский сон экривен безумно влюбляется в человечество и собственные, ему предназначенные тексты. Трезвый, писатель Пьецух не так любит человечество, а прозу, своюю собственной рукой отбитую на раздолбанной и ржавой машинке «Оптима», ненавидит аж до петли. Ненавидит, а все равно пишет.

Мы с Бароном сокращаем дорогу по его участку, а Пьецух с мансарды хватается:

— На четвертую страницу перелез!

Посему идти с нами по воду не намерен. И правильно. Пусть сидит, и пишет, и ненавидит свою прозу до шелкового стольпинского галстука. Все равно ведь потом от четырех страниц останется полторы. Они на время примирят писателя с собственным сочинением. А когда читающая публика скажет веское доброе слово, он позво-

лит себе стаканчик-другой хлебного винца и вновь полюбит человечество, а заодно и прозу свою, для человечества писанную.

В ненависти к своим текстам я, пожалуй, могу с ним и поспорить, но в любви к человечеству заметно уступаю. Даже перед впадением в богатырский сон я скорее полюблю отдельную личность, пусть даже на трезвую голову и несимпатичную, но человечество? Я, признаться, и народ не люблю. Любой, не только русский (тут меня господ патриоты не прихватят). Самое это понятие «народ» придумали одни интеллигенты, чтобы охаживать им, как дубиной, других при сонном безразличии тех, кого и зовут народом. И по чьему-либо произволу тебя запросто могут как бы исключить из народа. А кого-то, наоборот, приласкать с такими словами: «Вышел из народа». Куда? Ну куда можно выйти из собственного народа? Во французы, что ли? Ну ладно, мы одиночки, как-нибудь со злыми силлогизмами справимся. Но в устах политиков дело принимает крутой оборот: народ ими понимается как вернейшее средство стравливать людские массы между собой где-нибудь под Лейпцигом в каком-нибудь 1813 году. Или ставить ребром от его имени сакраментальные вопросы: «Чей хлеб ест академик Сахаров?»

Так, размышляя о народе, мы вышли на луг, что начинается сразу за усадьбой русского писателя Пьецуха, через дорогу. Луг здесь не заливной. Едва ли наша Дёржа распрости сюда полые воды свои — ей разливаться и разливаться, чтобы достигнуть таких высот. Ну вот разве что повторится наводнение августа 1942 года, когда после полуторамесячных злых дождей Дёржа, Вазуза и Гжать едва не слились друг с другом.

Несмышленная зелень играет с майским приветливым солнцем и бьет в глаза свежестью и восторгом. Наивная, ну куда, куда она стремится? Солнце, такое ласковое сегодня, еще ударит по ней беспощадным зноем, еще высекут злые дожди... Но сейчас траве радостно и беззаботно, как и нам с Бароном. Совершенно невероятным представляется тот всамделишный факт, что еще совсем-совсем недавно на нестаявший зимний покров грянул мощнейший снегопад и, казалось, что эта масса мерзлой воды никогда не растает, трава никогда не взойдет, а деревья навсегда останутся голыми. Но в России, знающей как никто смену времен года, понятия «всегда» и «никогда» весьма сомнительны. Осенью 1904 года под писк младенца, моего отца, старший его брат, гимназист пятого класса, в крамольном азарте продирался сквозь тяжеловесные конструкции старинного русского языка, которым было написано «Путешествие из Петербурга в Москву», и пребывал в твердом убеждении, что крамольные записки Радищева **никогда** не будут напечатаны в нашем отечестве. Мне же, племяннику того гимназиста, суждено поплыть на экзамене, схлопотав билет с вопросом о жизни и творчестве глубокомысленного русского философа, глубоководительного страдальца и при всем том отчаянного графомана. Дотянувший кое-как на брошенной добрым экзаменатором соломинке до берега, племянник гимназиста, с жаром продираясь сквозь самиздатские творения, заранее страдал будущим школярам, распутовающим в сочинениях тугие узлы солженицынской красноколесицы. Надо же — не только племянник гимназиста, но и автор дожил! И въехал в Россию в спецвагоне, как Троцкий по фронтам гражданской войны, и всюду, как Троцкий, общался с народом, не удостоив простой любезности проводников своего спецвагона. Да, ведь и про Троцкого вешалось, что **никогда** его имя не будет поминаться иначе как с присказкой «Иудушка». И вот вам, пожалуйста, и снег растаял, и про Троцкого с Солженицыным можно рассуждать сколько хочешь. Но не хочется. Хочется только смотреть и смотреть, как несмышленная зелень играет с майским приветливым солнцем и бьет в глаза свежестью и восторгом.

Не все так радостно на лугу по-над Дёржею. Здесь царствует ива, разбитая молнией. Ее расщепленный обгорелый ствол похож на руки Иова, воздетые к Богу в тот момент, когда потерян он всех сыновей своих и имущество свое и сам не знает, проклинать ли Господа или молить о пощаде.

Старая эта ива хранит в своем теле пули 1942 года. Едва комсомольцы спели «И врагу **никогда** не гулять по республикам нашим», враг тут как тут и чуть не ворвался в Москву, но был отброшен и покатился было назад и вот, вцепившись в берега Дёржи и Волги, как раз и остановился. В день моего появления на свет, как я вычитал из прозы Вячеслава Кондратьева, здесь и были самые жестокие бои. Может, и деревню нашу отобрали у немцев в праздник Благовещения 1942 года. Фронт остановился на целый год именно в деревне Устье. Этот берег Дёржи стал наш. Тот — за немцем. И по Волге: этот берег наш, тот — за немцем.

И пятьдесят с лишним лет назад точно так же несмышленная юная зелень, вырвавшись из-под снежного плена, играла с майским приветливым солнцем и была в глаза солдатам свежестью и восторгом? А на том берегу, на расстоянии выстрела из

игрушечного лука был враг? И русский солдат Слава Кондратьев стрелял в немецкого солдата Вольфганга Борхерта, угодившего в эту мясорубку штрафником за антифашистский анекдот? Моя робкая младенческая душа вселялась в тело, а ей навстречу как раз отсюда сплошным потоком возносились святые души убитых под Ржевом. «Куда?!» — вопрошали они, хлебнувшие земного ада, но душа моя еще не владела речью и безмолвствовала в ответ.

Семейная легенда. Еще не обретя речь, я с невероятной точностью предсказывал салюты по поводу освобождения городов. С утра твердил «бам-бам!». Мне возражали, только вчера был салют, но я не унимался, пока вечером и в самом деле не полыхали прожектора и не гремели ракетницы. Потом замолкал недели на две, три... Куда делся тот пророческий дар причастного тайнам ребенка, зачатого между словами «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами» и «Братя и сестры! К вам обращаюсь, друзья мои»?.. Мне так его сейчас не хватает! Может, это знак, что я поселился в деревне, отвоеванной в день моего рождения? Но что мне эти знаки после утраты пророческого дара! Я давно знаю им цену — ждешь какого-то значения, вопрошаешь, а в ответ: «Сходи-ка, братец, по воду!»

В подтверждение грустным думам подкатывает новенькая «Волга» стального цвета с крутыми ребятками в камуфляже. Сравнительно штатский вид им придает кожаные кепочки, как у московского мэра. Они вытаскивают из багажника металлоискатель и начинают шарить по лугу в удачливом поиске оружия. Очень оно хорошо идет нынче на черном рынке. Это ж когда война кончилась, а мародеры и ныне сосут ее усохшую кровь!

Мой верный Барон тоже возмущен, он страстно облаивает искателей зарытых гранат и пистолетов, и стоит больших трудов отвлечь его от праведного гнева. Силы не в нашу с ним пользу. Как бы чего не вышло! Да и нам нечего стоять, любуясь бывшим немецким Восточным фронтом.

На краю луга раскинули, как итальянские пинии, широченные кроны две сосны. Под ними сооружена скамейка для страстных ночных поцелуев. Мы еще присядем на эту скамейку. За нею — крутой обрыв, под которым запросто можно поставить трехэтажный дом, и лишь телевизионная антенна с его крыши достигнет наших подошв. Вниз ведет некое подобие лестницы, выложенной много лет назад известняковыми плитами, отшлифованными до столовой чистоты тысячами шагов идущих по воду. Ступеней этих разной высоты сорок четыре, я подсчитал.

Барон поначалу стоит в робком оцепенении, страшновато ему спускаться с такой высоты. А может, тоже задумался. О народе, например, или о судьбах подпольных самиздатовских текстов, или о свойствах сухого корма «Педигри». Хоть он и «лаяй», и громко, не по щенячьему возрасту на низких, шалыпинских басах «лаяй», но загадочно и бессловесно — поди разбери, о чем он так крепко задумался. Я уже одолел добрую половину лестницы, как, едва не сбив меня с ног, вниз проносится прервавший течение молчаливой мысли мой верный щен. Любопытство победило и страх и задумчивость.

Мы спустились на тропу, как и лестница, выложенную известняковыми плитами. Вода с них сошла с неделю назад, и, когда ступаешь, из-под плиты выжимаются бледные струйки. Дорога идет вдоль стены с мощными скальными разломами. Из трещин пробиваются пучки реденькой, но крепкой травы. Она зацветет к июлю пижмой, цикорием, жарками, татарником — растениями сухими и цепкими, но сейчас ее ростки по-майски нежны и ласковы, как бабочки, присевшие на нагретый камень. Камень слоист и полосат, уровни давно исчезнувшего морского берега обозначены на его боках, испещренных лианами сосновых корней, едва-едва зацепившихся за трещинки, как сорвавшийся с вершины и неумолимо соскальзывающий вниз верхолаз, чудом инстинкту вжавшийся в спасительные зазубрины, не приметные глазу, праздно любующемуся красотой гибельного утеса.

Зелень верхнего луга покажется тусклой и пустынной, когда глянешь на луг низкий, заливной. Здесь все блистает изумрудом, влажным, прозрачным счастьем соединения воды и травы. В неммыслимо радостном до головокружения сиянии светятся осколки разбитого оземь солнца. Это калужница болотная весело дразнит глаз и сама не может наглядеться на белый свет. Нет, не все солнце опрокинулось в луг, что-то осталось светиться из голубого с легким белесым оперением неба. Калужницы — единственные пока цветы вдоль бурного течения Дёржи. Ее заросли распирает гордость первородства, и она надменно посматривает на купаву, чья победа еще таится в бутонах.

Как и ожидалось, ближний источник закрыт, его бетонное кольцо еле угадывается под бурой толщей быстрой воды — так она мутна. Дня через три-четыре берег сдвинется, отвоевав заросшую травой пядь земной тверди у течения, а пока надо ид-

ти вперед, где желтая калужница танцует кругами, опоясывая дальний источник, вырвавшийся из плена быстротекущей Дёржи. Река махнула рукой на отбившийся из-под опеки колодец и стремглав понеслась дальше. Она спешит, она торопится, она жаждет покоя, вот втащит зимние снега в ненасытную Волгу, и уляжется в тишине, и застынет в болотном молчании раkitника, разросшегося по всему устью. Впрочем, здесь, в этом месте, где до устья метров с полтораста, нашей Дёрже и в знойном июле не будет покоя. Здесь Дёржа — река горная, она стремится вниз по перекатам к ближнему источнику, а уж после него вдруг останавливается, застигнутая внезапной немотой, тихо застаивается и нехотя, по капле, отдает свои излишки Волге.

Если подняться по течению Дёржи вверх километра на четыре, вы окажетесь в краю, невероятном для Средней России, где мы в соответствии с географической картой и среднеобывательским о сем представлением присутствуем. И не только обывательским. Что-то не приходилось читать о каньонах на юге Тверской области. А каньоны здесь настоящие. Наш крутой спуск к воде со скальными обнажениями и разломами ничтожен по сравнению с тем каньоном, что в четырех километрах вверх по реке. Испанское слово «каньон» чуждо нашему уху, так что здесь он зовется по имени бывшего хозяина разрушенной в коллективизацию мельницы Мудышкиной горою. Верхушки прибрежных сосен не достигают вершины обрыва. Ходить и тем более ездить на каньон рекомендуется исключительно в трезвом виде, и никаких пикников желательно не устраивать. Не только потому, что русский пикник оставляет за собой битые бутылки, пивные банки, объедки, кострища и прочие безобразия. Года три назад сюда на тракторе прикатила деревенская свадьба. Тризну по молодым и пятерым их гостям справляли на безопасной равнине.

Охотничья карта Подмосковья, изданная в 1972 году, охватывает и наши места. Они раскрашены бледно-желтым равнинным цветом с пятнами зелени, обозначающими низменность, и мало чем отличаются от воспетой Паустовским Мещеры в районе Солотчи. Константин Георгиевич, как известно, любил географические карты. Интересно, как он ими пользовался? Ни одна карта, выпущенная в свет при советской власти, не соответствовала реальной местности. Целые институты работали, меняя углы речных излучин, конфигурации холмов, расположения сел и деревень, дремучих лесов и болот. Карты в нашем отечестве издавались исключительно с одной целью: для дезинформации условного противника. А таковым первое в мире государство рабочих и крестьян почитало каждого гражданина Союза Советских Социалистических Республик. По праву своего рождения каждый из нас подозревался в шпионаже в пользу империалистических государств, а посему вынужден был блуждать по собственному отечеству без верных ориентиров.

Тут вспоминается один, весьма курьезный для читателя, но для героя — драматичный, случай. Некий инженер-мостостроитель никак не мог раздобыть сведения о параметрах наших речных судов. Сие была величайшая государственная тайна, а допуска к таковым инженер не имел. Кто-то надомнил его, что в Западной Германии едва ли не в любом книжном магазине можно купить справочник со всеми интересующими его сведениями о речных судах мира. По причинам, от него не зависящим, инженер был невъездной и в Западную Германию мог попасть разве что в прекрасном мечтательном сне. И он решился на шаг почти отчаянный — выписать для своего института немецкий справочник речного судоходства официальным, законным путем. Он написал докладную записку своему непосредственному начальнику. Непосредственный начальник написал другую докладную начальнику вышестоящему. Тот убедил директора института, и директор особым письмом обратился в министерство. Через месяц письмо директора обросло гроздьё виз и попало самому министру. Министр был в добром расположении духа, но иностранной валюты у него не было, а посему распорядился написать другое письмо — в министерство, обремененное финансовым доверием, чтобы оно выделило сорок девять марок ФРГ и через объединение «Международная книга» купило искомый справочник. Когда свершился круговорот официальных писем, в городе Бонне за сорок девять марок искомый справочник купили, и теперь он сам пошел гулять по разным ведомствам и через год-полтора после того, как инженер-мостостроитель отважился на бюрократический подвиг, лег ему на стол. Инженер открыл книжку, патристически радуясь тому, что посрамлены скептики с лестничной площадки, где часами мостостроители, не ведая параметров речных судов, томились на перекурах, что и у нас, в Советском Союзе, можно добиться желанной цели, доказательством чему — вот он, искомый справочник. Дрожая от победительного торжества рукою инженер раскрыл книгу. О Боже, что он увидел? Все параметры всех видов советских речных судов были тщательнейшим образом замазаны черной непроглядной ни на какой просвет краской. Ибо среди ведомств, по чьим коридорам пространствовал западногерманский справочник, был и 11. «Октябрь» № 8

Комитет по охране государственных тайн в печати при Совете Министров СССР. А вдруг, сочли в недреманном Комитете по охране государственных тайн, тот инженер, что заказал книжку и ввел родное отечество в расход валютных средств, перепишет ценные сведения о параметрах советских речных судов и продаст за ихние марки германской разведке?

Так вот, если верить охотничьей карте Подмосковья, мы с Бароном находимся вовсе не в деревне Устье — таковой на карте нет, видно, ее присутствие в натуре представляет строжайшую тайну, — а в деревне Саблино. Пять оставшихся от нее домов стоят на берегу Волги километрах в пяти отсюда. Крупнейшего в округе села Борки с барским домом знаменитого в начале XIX столетия драматурга Владислава Озерова, где теперь правление колхоза «Путь Ильича», нет и в помине, хотя поворот на него обозначен на 204-м километре шоссе Москва — Рига. Здесь тоже не без военной хитрости. На указателе до Борков 13 километров. Шпион, поверив ему, проскочит Борки, до которых всего 8 километров, и окажется в Мозгове, где бдительные сельчане повяжут его и сдадут в органы. Хотя воинских частей в наших краях с 1943 года не было, дорога, ясное дело, стратегическая: на карте она не обозначена. Так что мой терпеливый рассказ о том, как мы со щенком Бароном пошли по воду, можно расценивать как шпионское донесение в некий Центр. Какой? Это уж на усмотрение компетентных людей из компетентных органов. Они лучше меня знают, на какую разведку мы работаем и на чью мельницу прольем воду, которую я сейчас ярко-красным пластмассовым ковшиком переливаю из колодца в ярко-красное пластмассовое ведро. Набрав ведра, пью на редкость мягкую воду, обливаю лицо, руки, дрожь взбадривает и веселит.

И правильно. И хватит о печальном. Эти времена, слава Богу, временно прошли, и нечего их вспоминать. Правда, в России подобным эпохам свойственно возвращаться. Может, тому причиной наша мазохистская историческая память. От тихого княжения какого-нибудь Симеона Гордого ничего в народной молве не осталось, зато злодейское правление людоеда Ивана Грозного запечатлелось до единой казни в сладострастной памяти нации. Вот и кличем беду, поминая то батоги Петра, то лагеря товарища Сталина. Впрочем, ведь все народы обнаруживают мазохизм при взгляде на собственную историю. На них никакие проклятия, даже законодательно установленные, не действуют. В Германии, особенно в Восточной, бывшей гдээрзовской ее части, родилось целое поколение, готовое, несмотря ни на какие запреты, поклоняться Гитлеру. А партизанская Белоруссия аж в свои президенты выбрала тонкого ценителя гитлеровского порядка.

Только собрался в обратный путь — шлеп! — и радужный фонтан. Барон влетел в реку, я испугаться за него не успел, а он уж поплыл тем самым стилем, что я освоил в детстве, когда вырвался из пионерских лагерей в настоящую деревню и научился плавать: среди людей этот стиль зовется «по-собачьи». Отважный пес у меня растет! Он ведь никогда еще реки не видел. Мокрый щенок выбирается на берег, отряхивается, обжигает меня студеными брызгами. И мчится очертя голову куда-то вперед, глядеть на него радостно, зверь вписался в свою стихию, без него теперь луга не луга.

Отягощенный полными ведрами, ступаю на плиты, нагретые солнцем, даже сквозь подошвы чувствую их тепло. Капли, пролившиеся из ведра, расплзаются по камню и испускают легкий стелющийся пар, мгновенно исчезающий. Когда руки устают, осторожно, чтоб не расплескать, ставлю ведра на широкие плиты, но, как ни ухищрайся, вода чуть расплескивается через край и долго еще колеблется в емкости.

Сорок четыре ступени вверх одолеваются не без трудностей. Нога за зиму отвыкла от автоматизма, когда безошибочно угадывала то короткую, то на целый шаг высоту. А поему глаза сосредоточены на лестничной тропе и жизнь видят мелкую, насекомую — строгие муравьиные дорожки, роение пробудившихся комаров, жаждущих моей крови. Кстати, о комарах. Вот вам пример дискриминации по половому признаку. Один пьяный гражданин в электричке как-то возгласил, что все беды — от баб. Я ему тогда не поверил, поскольку был молод, влюблен в одну прекрасную даму, потом в другую и третью и иногда даже пользовался успехом, и было это употительно, пока не заросло бытом, быльем. Но вот уже выдавший виды задумался о комарах... Когда-то давно, классе в шестом проходили, что кровушку нашу сосут комарики, но слово «комар» рода мужского, и, злобно расчесывая укусы крылатой негодяйки, мало кто вспомнит школьную науку и проклянет весь род мужской, ни в чем не повинный, оболганный правилами русской грамматики, науки точной и объективной.

Наверху взгляд освобождается от пристальной мелочи, простора ему подавай, панорамы. Будет и панорама, только бы мне отдышаться. Пока ставлю ведра

и делаю три шага к скамейке для страстных ночных поцелуев, успеваю заметить: из поваленного ствола ивы, что воздела обгорелые руки наподобие Иова с гравюры Густава Доре, вырос целый гребень опушенных сережками веток — жизнь неистребима.

Как пишут в некрологах, перестало биться сердце... Нет, конечно, не перестало — унялось, вошло в свой ритм и теперь неощутимо. Поднимаюсь со скамейки, оборачиваюсь назад, за Дёржу и распаханное поле на том берегу. Говорят, под лен, значит, летом оно будет синее ясного неба — глаз не оторвать, не то что сейчас, когда бурая супесь торопит взгляд выше и дальше. Скользить ему недалеко. Поле здесь неширокое — Волга течет параллельно своему притоку и в сотне метров от слияния с Дёржей делает навстречу ей резкий поворот под прямым углом. За Волгой поднимаются холмы, то голые, то поросшие кустарником, а иные украшены грядами нежно-оливковых березовых роц. Одна из них, самая малая, издали напоминает льва, хвостом обозревающего окрестности.

Роци свежи и прозрачны. Их робкий цвет отдает в невесомую желтизну. Я пытаюсь угадать происхождение желтизны на бледно-зеленых глянцево-листочках, наконец, присмотревшись к дереву неподалеку от меня, догадываюсь: сережки, покрытые цыплячим пухом пыльцы, крупнее едва-едва проклюнувшихся листьев и пребывают их глянec, тоже с легкой прожельтью — солнечный луч отскакивает от упругой зелени. Ветра обдуют спелые сережки, снесут пыльцу, а листва пойдет в рост, загустеет и дня через три-четыре обретет вполне летний вид. Весну же будут демонстрировать на ее заматерелом фоне облачка пока еще лиловой кроны осин и редких кленов — их черед еще не настал, соки бьются в почки, ожидая выхода.

Писк металлоискателя вырывает из тихого, блаженно-мечтательного состояния. Мародеры в пыльных кепках на звук аппарата вонзают в сырую песчаную землю остро отточенные саперные лопаты, и, хотя они далеко, слышится (или чудится) ржавый скрежет, и мороз продирает по коже, и опять я думаю о войне в день моего рождения через 1943 года после явления Архангела Гавриила Пресвятой Богородице Деве Марии. Сейчас это кажется невероятным: чтобы перейти вон то поле, распаханное под лен и имеющее глубины всего-навсего жалкую сотню метров, пресекались десятки жизней по бездумному приказу любимого вождя — отсечь Ржевский выступ иссякшими в успешной битве силами. Природа приказа понятна — головокружение от успехов. Да солдатам-то оттого было не легче. Они шли и шли, рота за ротой, батальон за батальоном, и гибли, гибли, гибли. Дёржа впадала в Волгу розовой от крови.

Юные вертеры, одетые в черные эсэсовские мундиры, смахнув сентиментальную слезу по красавице Лотте, с хладнокровным азартом расстреливали онегинных и печоринных, стряхивая с них лень и тяжкие думы. Если прямой наводкой попадали в русского солдата и его разрывало в куски, погибшего в сводках числили пропавшим без вести. Уже действовал людоедский приказ «Ни шагу назад!», он обречал семью героя на позор: пропавший без вести — значит, пленный, а пленный — ясное дело, изменник родины. Писаря такого будущего своих товарищей не знали и отшлепывали привычными штампами их судьбы.

С чего это я вдруг о вертерах? Вот с чего. В пору нежной дружбы Молотова и Риббентропа, нежнее, чем Манилова с Чичиковым, в московских филателистических магазинах запросто можно было купить почтовые марки фашистской Германии. Альбом с марками мне достался в наследство от старшего брата, и я с обостренным любопытством рассматривал натуральные изображения Гитлера, дивясь тому, что карикатуристам нечего было утрировать: опереточное ничтожество рейхсканцлера бросалось даже в мои детские глаза. И как он сумел одурачить целые народы? Но, кроме фюрера, были и другие портреты: Гёте, Шиллера, Моцарта, Бетховена.

Оборотная сторона славы. Нищие духом потомки натягивают ее на себя и, хотя в современности ведут себя точно так же, как те, кто сжил когда-то гениев со свету и затерял могилы Моцарта и Шуберта, мнят себя прямыми наследниками великих. А угоди те же Гёте, Шиллер и Бетховен в XX век, быть бы им рассеянными по Равенсбрюкам и Дахау. Но они вовремя умерли и украшают своими портретами знаки государственной почтовой оплаты. Это называется национальной гордостью.

Наши патриоты тоже не лучше. Потомки Булгарина, Дантеса и Мартынова, с каким наслаждением они по команде «фас!» рвали в куски поочередно Цветаеву, Мандельштама, Бабеля, Платонова, разоблачали «антинародную сущность» Зощенко и Ахматовой, травили Юрия Казакова, Паустовского... Но каждый год 6 июня сбиваются в кучки вокруг мемориалов давно убитого Пушкина, стихи читают, больше, правда, своего изготвления, и льют по нему некупую слезу. Позора за его ран-

нюю гибель никто на себя не берет. А что это за любовь к родине без стыда за ее преступления?

Патриоты, что пограмотней, едко мне заметят, что убийца Пушкина был француз, и восторжествуют над моим невежеством. Так ведь не простой француз, а шуан — тоже своего рода патриот. И кто пригрел этого шуана? Вот-вот, они самые — истовые проповедники православия, самодержавия и народности. То-то они так разобиделись на лермонтовские стихи...

Мародеры за моей спиной склонились молча над вырытой ямкой. Скребут, скребут — выскребли. Пряжку от солдатского ремня. С разочарованным матерком швыряют ненужную вещь мне под ноги.

— Барон, ко мне! — Зов мой напрасен. Щен исчез. Неопытный владелец, я кричу, свищу, гневаюсь, за гневом скрывая волнение: упустил, недоглядел, а несчастный сын лайки и ризеншнауцера заблудился, упал в яму или большие злые собаки терзают его тщедушное тельце.

И, когда я потерял последнюю надежду докричаться, вдруг выныривает из кустов. Надо бы отругать, оттрепать за шею, но я так рад, что он целехонек, что лишь укоряю взглядом. Оказывается, и взгляда достаточно: Барон виновато поджимает уши и бредет за мною понуро шагов пятнадцать. Дальше его снова распирает радость жизни, и он рвется вперед, но тут уж я его осаживаю и по мере щенячьего оптимизма заставляю идти хотя бы приблизительно рядом.

Обратный путь дольше и почти лишен праздных мыслей. Барон слегка разочарован. Я ему обещал порассуждать о королях и капусте, но темы их как-то не легли в течение мыслей этого майского дня. Ну что ж, Барон, о королях и капусте поговорим в следующий раз, когда, сменив ведра на корзинку, где-нибудь в июле — августе пойдем в ближнюю рощу за белыми, маслятами и подберезовиками...



Евгений ПЕРЕМЫШЛЕВ

А В Г У С Т

1.8.1936

ВГермании начались XI летние Олимпийские игры. И значение их, и результаты трудно оценить однозначно. Хотя представители германской эмиграции и еврейская общественность выступали с требованиями бойкотировать это мероприятие, к их мнению никто не прислушался. Сыграло роль и то, что место для проведения очередных Олимпийских игр было выбрано еще до прихода к власти нацистов. Но даже и не в этом дело. Любопытно, как проходила спортивная борьба. Многие спортсмены, особенно из команды США, явно превосходили германских по физическим данным. Четыре золотые медали, завоеванные негром Джессом Оуэнсом, выглядели очевидным опровержением тезиса о совершенстве арийской расы. Тем не менее германская команда собрала наибольшее количество медалей, опередив все другие страны, в том числе и США. Это особым образом подтверждало коллективизм, единство германской нации, ее умение и желание выступать единой массой. Как бы то ни было, XI летние Олимпийские игры памяты уже тем, что благодаря им появился один из лучших в мире документальных фильмов — «Олимпия» Лени Рифеншталь. Политической конъюнктурой эти фильмы не назовешь. В 1948 году Лени Рифеншталь за ее фильмы, посвященные спорту, наградили Международный олимпийский комитет.

2.8.1987

Впервые за всю многовековую историю корриды на арену вышел матадор, одетый в традиционный костюм, на котором красовалась реклама японской электронной фирмы «Акаи». К счастью для Луиса Рейна, арена находилась не в Мадриде, а в 130 милях от испанской столицы. Шокировав пуристов, он не слишком рисковал. Провинциальная публика более инертна, чем столичная. И вовсе не известно, как бы дело обернулось в самом Мадриде. Впрочем, при желании тут можно усмотреть определенное влияние современной культуры. Например, Педро Альмодовар, знаменитый не только своими режиссерскими работами, но и определенными пристрастиями, любит фотографироваться в костюме матадора, по всей вероятности, видя здесь особую символику (борьба, рог быка, вонзающийся в зависимости от умения и личных качеств матадора в живот, если тот наступает, или чуть ниже спины, если матадор пытается уступить).

3.8.1990

Прошла встреча госсекретаря США Дж. Бейкера с министром иностранных дел СССР Э. Шеварднадзе. На ней было принято необычное совместное заявление, в котором деятели двух стран призывали международное сообщество «принять практические меры» против Ирака, захватившего Кувейт. Чем обернулись призывы к «практическим мерам» со стороны ведущих мировых держав, видно на примере нынешней Югославии. Прецедент был создан.

4.8.1988

Матиас Руст, приговоренный 4 сентября 1987 года к четырем годам лагерей за нарушение воздушной границы СССР, был досрочно освобожден и вышел на свободу с чистой совестью. Любопытно: чем он занимался в лагере? Шил тапочки или ватники, на досуге вылепливая из хлебного мякиша модели аэропланов?

5.8.1928

С. Эйзенштейн, В. Пудовкин и Г. Александров публикуют манифест «Будущее звуковой фильмы. Заявка», где утверждают вещи, предвосхитившие развитие мирового кинематографа. При этом в манифесте присутствуют знаменательные слова:

«Мы, работая в СССР, хорошо знаем, что при наличии наших технических возможностей приступить к практическому осуществлению удастся не скоро. Вместе с тем мы считаем своевременным заявить о ряде принципиальных предпосылок теоретического порядка, тем более что походящим до нас сведениям новое усовершенствование кинематографа пытаются использовать в неправильном направлении». Они знали, что работы уже идут и в Германии, и в Америке. В очередной раз то, что у нас было отлично разработано в теории, еще долго не находило практического применения.

6.8.1945

Американский бомбардировщик сбросил атомную бомбу на японский город Хиросима. Никакой необходимости бомбить город, переполненный гражданским населением, не было. Символично. Но человечество приняло в качестве символа не это, а многочисленные жертвы бомбардировки.

7.8.1947

Бальсовый плот «Кон-Тики» с норвежским исследователем Туром Хейердалом и его спутниками пересек Тихий океан. Путешественники пристали к одному из полинезийских островов. Считается, что таким образом возможность заселения Полинезии с американского континента была доказана, хотя подобное путешествие не доказывает ничего, кроме смелости экипажа и страсти человека XX столетия к рискованным развлечениям.

8.8.1963

В Бэкингемшире произошло одно из самых громких ограблений века. Банда из пятнадцати человек, включая Ронни Биггса и Бастера Эдвардса, остановила королевский почтовый поезд на отдаленном участке пути и похитила более 2,6 миллиона фунтов стерлингов. Для того чтобы остановить транспортное средство, перевозящее такие огромные ценности, достаточно было лишь поменять свет железнодорожного семафора.

9.8.1969

Тела актрисы Шерон Тэйт, находившейся на восьмом месяце беременности, а также еще четырех человек найдены в особняке в Бенедикт Кэнион. Они были убиты членами коммуны «Семья», предводительствуемой Чарльзом Менсоном. Идеологический вдохновитель убийства, кажется, по сей день еще жив (его осудили на пожизненное заключение). Трагическая ирония в том, что Шерон Тэйт была в то время женой режиссера Романа Полански, специализировавшегося на фильмах ужасов. Убийцы об этом не знали.

10.8.1987

Более трехсот тысяч шахтеров в Южно-Африканской республике начали забастовку. Замечательно то, что, не добившись никаких результатов, они затем снова приступили к работе.

11.8.1984

На одной из пресс-конференций президент США Р. Рейган пошутил, что воздушный налет на Советский Союз вполне возможен. История складывается и из шуток.

12.8.1908

Выпущена первая модель автомобиля «Форд Т», любовно прозванная в народе «Жестяной Лиззи». До 1927 года, когда она была снята с производства, было продано 15 миллионов этих автомобилей.

13.8.1915

Повешен Джордж Джозеф Смит, специализировавшийся на том, что, оформив под настоящим либо вымышленным именем брак с очередной женщиной, заставлял ее написать завещание в свою пользу, страховал ее жизнь, а затем топил в ванне. На сей раз пошутили блюстители закона — казнь совершена в пятницу, тринадцатого числа.

14.8.1986

Опубликовано постановление, отменяющее все планы и разработки, которые касались поворота сибирских рек. Таким образом разрушен один из важнейших мифологических мотивов, связанных с коммунистическим обществом и шире — с системой утопического мышления: потепление климата на планете за счет перераспределения водных масс. О выращивании ананасов и бананов на Северном полюсе покамест забыто.

15.8.1969

Начался фестиваль музыки и искусств в Вудстоке. Это легендарный ныне рок-фестиваль, на котором выступали Дженис Джоплин, группа «Ху», Джими Хендрикс, Джоан Баэз и «Джефферсон Эйрплейн». Первый фестиваль продлился три дня. О том, что это было не просто мероприятие, пусть и грандиозное, но особый мир, свидетельствует и число посетивших его — 400 тысяч человек, и то, что фестиваль представлял замкнутую космогоническую систему: на нем родились два ребенка, а три человека умерли.

16.8.1956

Умер Бела Лугоши (Бела Бласко), актер, известный по роли Дракулы. Впрочем, и жизнь его была достаточно прихотлива, и роли эксцентричны. Родившийся в венгерской аристократической семье, он принимал участие в восстании Белы Куна; эмигрировав, играл не только вампиров, но и в одном из фильмов — комическую роль русского комиссара. В конце жизни он почти отождествил свою личность с фигурой Дракулы, даже интервью давал, лежа в гробу. Похоронен он, согласно его собственному завещанию, в плаще, в котором играл любимую роль.

17.8.1934

Начался I съезд советских писателей. На нем происходило много любопытного. Например, писатели решительно не приняли доклада Н. Бухарина, выступавшего от имени партийного руководства.

18.8.1939

На американские экраны вышел фильм «Волшебник страны Оз», в котором главную роль играла Джуди Гарланд. Фильм стал знаком целой эпохи. Эпохи довоенной.

19.8.1936

В Москве начался «процесс 16-ти», первый открытый процесс. На скамье подсудимых находились Г. Зиновьев, Л. Каменев и другие. Все подсудимые дружно признали, что поддерживали связи с Троцким, разрабатывали заговор против Сталина и тем или иным образом участвовали в убийстве Кирова. Все подсудимые были приговорены к расстрелу. На следующий день после окончания процесса приговор был приведен в исполнение.

20.8.1940

В Мехико агент советской спецслужбы Рамон Меркадер смертельно ранил Троцкого. Удар был нанесен ледорубом. Почему-то по ассоциации вспоминается народное творчество сталинской эпохи — профили вождей, вырубленные киркой на сопках и скалах.

21.8.1968

В Чехословакию вошли войска СССР, Болгарии, Венгрии, Польши и ГДР — стран — участниц Варшавского Договора.

22.8.1991

Покончил с собой Б. К. Пуго, член Политбюро ЦК КПСС, член ГКЧП. Поступок нетипичный для руководителей, занимавших высокие должности в период после смерти Сталина.

23.8.1944

Члены организации «Свободная Франция» арестовывают Саша Гитри и нескольких других деятелей культуры, обвиняя их в коллаборационизме. Из-за этого обвинения была трагически разрушена жизнь и артистическая карьера великопленной актрисы Арлетти.

24.8.1975

Обнаженная Аннабель Хант спела выходную арию в опере «Улисс». Считается, это первый опыт подобного рода за всю историю британской оперы. Впрочем, само название обязывает.

25.8.1978

Туринская плащаница впервые выставлена на алтаре собора Святого Иоанна в Турине. Вряд ли наличие плащаницы убедило людей неверующих в существовании Бога.

26.8.1957

ТАСС заявил об успешном испытании межконтинентальной баллистической ракеты. Масштабы мира все сокращались.

27.8.1964

Премьера фильма итальянского режиссера Серджионе (впрочем, еще выступавшего под американизированным псевдонимом Боб Робертсон) «За пригоршню долларов». Началась эпоха «спагетти-вестернов». Незаметно поначалу, со временем все лучше было видно: классический американский вестерн с его пафосом победы человека над обстоятельствами и злом умер. Серджионе рассказывал о смерти этого мифа и о пустом пространстве, образовавшемся на его месте.

28.8.1988

Из Бангкока пришло известие о новой технике похудения. Таиландцы с избыточным весом всовывали в уши семена латука. Поликлиника Ян Хи сообщала, что десятикратное вдавливание семян в уши перед обедом уменьшает аппетит. Так ли оно в действительности или семена латука соответствуют лапше, навешиваемой на уши, осталось невыясненным.

29.8.1949

Произведен первый взрыв советской атомной бомбы, о котором ТАСС сообщил почти через месяц.

31.8.1914

Указом Николая II город Санкт-Петербург переименован в Петроград. Таким образом, карнавал переименований вряд ли верно ставить в вину большевикам и коммунистам.



Владимир ГАНДЕЛЬСМАН

Подтверждающий эпитет

Есть лирика вечных тем. В ее основе «высокое волнение». Темы эти не изнашиваются, но тускнеет лексика, затверживаются ритмы, вслед за большим поэтом в водоворот его открытия втягиваются поэты рангом пониже. Происходит забалтывание тем, их опошление (по терминологии Тынянова). Тогда появляется авангард. Авангард взрывает пошлость. Он работает на поверхности, его энергия — энергия возражения, протеста, авангард выворачивает затасканную тему наизнанку, пародирует ее, взрывает словарь, нарушает ритм. Авангард — это шокирование публики (к сожалению, вполне расчетливое) и затем — достаточно надолго — завоевание ее. Важнее, однако, процессы, идущие на глубине. Именно в том, нижнем течении вечных тем — основной состав человека. Там он дышит.

Раз прочитав авангардиста, едва ли я буду его перечитывать. Это пауза, отдых. Это воздух улицы внутри проветриваемого помещения, но не воздух улицы на улице.

Мы хорошо знаем по себе позорную пустоту какого-нибудь вздоха вроде: «Красивый закат!» А какой же еще?

Любой эпитет к стихам из «Воронежских тетрадей» О. Мандельштама — плох. Выдающиеся? Гениальные? Эпитет словно бы подбирает себя (позвонче), а затем подпирает (глухо) существительное. Вообще, когда о ком-то говорят в таком духе (особенно о современнике), прежде всего хотят уважить себя. Но дело не в этом, тем более что «нет, никогда ничей я не был современник...». И не в том, что тот или иной эпитет Мандельштаму мал. Эпитет в данном случае отделяет поэта от стихии, в которую он вернулся. Он делает из стихии стихи. Но от Мандельштама это лишнее «и» отнять нельзя. Потому что он — это стихи и... И этот союз длится без предела, становясь «безокружным». Или, если нас не устраивает родительный падеж, это стихи — я. В том смысле, в котором писала Ахматова: «Я стала песней и судьбой...»

То и дело писатель стремится уползти в кокон и вылететь оттуда бабочкой воспоминаний. Совсем нехудшие книги оттаивают и отстаивают «утраченное время». Писатель требует права быть профессионалом, возвести свою крепость в абсолют, сознательно или бессознательно вызывая огонь на себя. Дальнейшее зависит от того, успеет ли он «уползти», ибо историческое время не терпит независимости и надвигается, угрожая раздавить. Если человеку посчастливится избежать *такой* Истории — что ж, значит, так сложилась судьба, повезло, но соразмерно вакууму, который возникает между ним — человеком и Историей, почти неизбежно возникает и вакуум между ним — автором и историей, которую он сочиняет. О нем можно сказать — писатель, сочинитель, литератор. И эпитет возможен. И даже необходим. Он заполняет вакуум. О Мандельштаме так не скажешь.

Писатель говорит о себе и о мире. Мандельштам — собой-миром. Это миллиметровый сдвиг, вздрог к окончательной ясности. История и Время не дают ему отдышаться, они настигли, и «кровавых костей в колесе» уже не избежать. Я говорю не о подвиге, не о каком-то нравственном намерении Мандельштама. Неблагодарное занятие — классифицировать. Все же «работающие речь» переживают слово по-разному. Спокойный эстет пользуется им как строительным материалом. Он не посягает на Слово, ибо, как он знает, Оно утрачено. Интересно, что чисто зрительно его здание представляется Вавилонской башней или «пустычком пирамид», чем-то растущим от земли к небу, и там, на недостроенной вечно вершине, разговор как раз часто заходит о Боге.

Другие, «как моль летит на огонек полночный», опалены этим страстным притяжением к невозможному. «И все твое — от невозможного». Слово для них не строительный материал, но само их существо. Они разрушают «благополучный дом», они идут «путем зерна», и — как ни странно — при, казалось бы, горделивой попытке их словесное творчество гордыни лишено — оно устремлено к земле. Оно хочет почти прекратить разумное бытие, развоплотиться, перестать быть словом описывающим, стать в конце концов тем, *что* описывает. «Мне хочется уйти из нашей речи...» — завершается в «Воронежских тетрадах». «Да, я лежу в земле, губами шевеля...» В силу своей природы, а не нравственного, повторяю, намерения Манделъштам от Истории освободиться не может. Потому что он в ней Слово, а не слово о ней. Теперь уже в его случае можно сказать: так сложилось. Я уверен, что слияние такого рода возможно и не в трагические времена. И слияние не обязательно растаптывание. Но в личном, человеческом смысле — это событие все равно трагическое. И не эстетического порядка. Не много в литературе такого. Вероятно, еще проза Платонова. (Не зря Воронеж породил этих людей. «Здесь Пушкина изгнание началось и Лермонтова кончилось изгнание...») Она, эта проза, становится на наших глазах гарью, дорожной пылью, тем черноземом, из которого возникла. Это гибнущая эстетика, которая знает, на что идет. Совестно определять подобное явление в восторженных терминах. Оценка унижает и умаляет, как бы высока ни была.

Читая «Воронежские тетради», все, что мы можем сказать: ты говоришь.

Манделъштам «до опыта приобрел черты» и затем, уже осознавая свой опыт, говорил, что искусство — радостное подражание Христу.

Подобно двойственной природе Христа — двойственна суть поэта: человека культуры, послушника культуры, обращенного к людям, понимающим условный язык с полуслова (я бы сказал — с полу-Слова), — и человека стихии, еретика от культуры, бежавшего своего обращения и говорящего с людьми, которых еще нет. Но — «но то, что я скажу, запомнит каждый школьник».

Напряжение этих двух разрывающих сил в случае акмеиста особенно велико. «Тоска по мировой культуре» — мощное силовое поле, фундамент, которому не страшны землетрясения. Но Манделъштам, и прежде не по-книжному обходившийся с культурой, в «Воронежских тетрадах» освобождается от нее. В том смысле, что она больше не давит. Та формула — «тоска по мировой культуре» — растворилась в крови. И поэт задыхается. Потому что, становясь дыханием, перестает быть тем, кто дышит. Аналогия с Христом (быть может, раздражающая ангельский слух) не нами придумана. Она подсказана самим поэтом. По его слову и сбылось.

В «Воронежских тетрадах» «небо» и «земля» его буквально разрывают на части. Если любитель математики даст им частотную характеристику, он увидит, как к «земле» льнут родственные ей слова и к «небу» — родственные ему. Следует также учесть обстоятельство времени «еще» — «Еще не умер ты, еще ты не один...». Таковы обстоятельства Времени. Пропустив сквозь себя, настоящего — «неужели я настоящий и действительно смерть придет», будущее и сомкнув его с прошлым, пропустив сквозь себя ток Времени, — поэт перестает быть. «Немного дыма и немного пепла».

Эстет аккумулирует энергию прошлого и выходит (если выходит) в будущее через черный ход.

«Стихийный человек» — в настоящем, и поскольку настоящее все время падает в прошлое, постольку он пытается «оторваться» и прежде всех пропускает через себя электрический разряд слова. Он словоотвод, за которым следует «гармонический проливень слез».

Говоря о поэте как о «стихийном человеке», я хочу сказать, что есть тайна — и я не собираюсь ее разгадывать, — тайная грань, которую Манделъштам, к счастью, не переступил и за которой начинается безумие. («Может быть, это точка безумия...») Что древнюю силу стихии удерживает, умирляет тренированная сила культуры. Что поэт — та самая точка, в которой эти силы сходятся и через которую говорят: «Язык пространства, сжатого до точки».

Мы помним, о чем это. Но однозначная речь, которая идет в обход общепринятой логики стиха, обретает многозначность и словно принуждает нас пользоваться ею без разрешения, но просто когда необходимо. Таковы многие строки Манделъштама — пучки смыслов — «чистых линий пучки благодарные». Это не заумные и не безумные стихи, но стихи, опережающие разум. Потому что говорящий — «переогромлен». И земля — «перечерна» и «переуважена». Потому что «город от воды ополоумел», потому что «кристаллы сверхжизненные», потому что «еще мы жизнью полны в высшей мере» (читай «высшую меру» в контексте времени). И — «десятизначные леса». И — «тысячехолмия распаханной молвы...».

Мы хотим нормального смысла? Может быть, и найдем. Но, вымолвив приставку «пере» или «сверх», Мандельштам не знал, о чем будут стихи, он знал только, что прав. Так что смысл в этих четырех или восьми буквах.

«Что делать нам с убитостью равнин?» — и что делать нам с этим вопросом? Ничего не делать. Слушать. Как сказано у Платона: «Только бы ты говорил!»

Конечно, кладоискатель будет копать. Он обнаружит, что скрипачку «с кошачьей головой во рту» Мандельштам видит из зала, и гриф скрипки, обращенный на него, в плане, с колками по бокам, с усиками струн, — это и есть «кошачья голова». Этот читатель увидел прекрасно: скорость его зрения и слуха равна скорости записывания — потому он успеваеет рассмотреть и услышать. И все же настигнутые и постигнутые строки лишь свидетельствуют о том, что мы уже знали. Иначе — и не догоняли бы.

Это взрыв эстетики. Эстетики как чередования норм. То, что простодушный и благодарный читатель усвоит с легкостью, «как простую гамму»: «там я плыл по реке — с занавеской в окне, с занавеской в окне, с головою в огне», — понять окончательно может только поэт. Он знает, какой силы взрыв дает такую тишину и свободу. И если уж говорить о народной поэзии или песне, то вот она: «Трудодень земли знакомой я запомнил навсегда: Воробьевского райкома не забуду никогда!» Разве рифма «навсегда-никогда» возможна?

Это взрыв эстетики, на развалинах которой слова произрастают, например, так: «Как подарок запоздалый, ощути́ма мной зима — я люблю ее сначала неуверенный размах». (И в этой частушке «зима-размах» — рифма?) Взгляните на расстановку слов. С таким неумелым доверием к слову — я имею в виду две последние строки — относятся только дети.

Но вы не будете «взглядывать», вы не будете искать логику, вас не смутит грамматика. Идет название главных слов, каждое из которых могло бы стать началом нового стихотворения. Это своего рода огромный акростих. Или акрочерновик. Есть ли еще книги, которые являют процесс работы с такой очевидностью? Причем не подготовительный и даже не конечный. Обратный, что ли... Как если бы Мандельштам из застихотворной тьмы возвращался к стихам и окликал их, наугад, второпях, пытаясь вспомнить хоть слово, надеясь, может быть, потом восстановить по нему целое, но сейчас — сейчас лишь бы стих не пропал без вести. И, словно не успеваея донайти что-то одно, он проговаривает уже следующее, из другого стихотворения, и вновь возвращается к первому, и т. д. — не случайно одна и та же строка или одно и то же слово, как сигнальные ракеты, вспыхивают в разных точках книги. Я думаю, здесь главное отличие поэзии Мандельштама от позднейшей. Современный поэт догоняет слово. Мандельштам же — по ту сторону слова, он вытеснен из него какой-то противодействующей силой. Какой-то — но равной, по третьему закону Ньютона, силе действия. Потому те слова, которые еще есть, — на вес золота. Их не размывает, «утопленница-речь» прочно уходит на дно. Это некие интонационные слитки. Кажется, что бы Мандельштам ни сказал, все будет правдой. Он становится безусловным, как явление природы, которому не нужен подтверждающий эпитет.

Поэтов (и прочих «творцов») можно бы «варварски, но верно» разделить на две неравные части: работающих от избытка (меньшая) и — от недостатка.

От избытка здоровья, жизнерадостности (не физических, конечно), от природного дара любви, воображения и пр., выходящих из берегов и питающих творчество. Духовное здоровье, естественно, не исключает трагического воплощения.

От недостатка — чего? Вышеперечисленного. Эти не настоящие. Мстят потихоньку миру, Богу за недобор и обделенность.

Не случайно все виды лишений (от расставания с возлюбленным до войны) легко и в большом количестве плодят стихотворцев из людей, природно не одаренных. То же и физические недостатки. (Фрейд, определяя талант, имел в виду этот второй сорт людей и был прав. Полноценный же Набоков напрасно воспринимал его сентенции на свой счет. Во всяком случае, раздражался.)

Первые, говоря романтически, власть и богатство имеют, но о них не заботятся — потому-то зачастую живут в материальной нищете и в полной безвестности. Вторые рвутся к власти и богатству, потому-то их и захватывают, и дается им это порой легко. (Первым не до борьбы.) Они разновидность политиков. Ведь механизм прихода к власти элементарен. Власть — единственная область человеческой деятельности, где посредственность может добиться успеха и отомстить миру. В пределе — уничтожить первых. (Сталин тому пример.)

Когда первых непрестанно попирают, им ничего не остается, как сказать: время — единственный судья поэта. (Иногда История и впрямь восстанавливает спра-

ведливость — правда, может ли быть справедливость посмертной? — все-таки Гораций или Овидий для нас собеседники, а, скажем, Август — имя, в лучшем случае месяц, но едва ли живой человек.)

Вы скажете: но первые — попросту более дальновидные политики. Они рвутся к той же власти, к духовному порабощению (и, кстати, добиваются этого).

Нет. Почему — вам объяснит собственная страстность (если она есть).

Абсурд — это игнорирование души, презрение к идеям, это искусство ничего не сказать, говоря. То есть предельно чистое искусство. Неуязвимое искусство исповеди, но неуязвимое искусство эстетика.

Это до-смысл или после-смысл.

В первом случае инфантильный абсурд. Еще, собственно, нет мыслей у автора, и он нервничает. Энергия творчества уже есть, а материала еще нет.

Во втором случае перезрелый абсурд. Уже, собственно, все мысли наскучили автору, и он нервничает. Инерция творчества еще есть, а материала уже нет.

Абсурд — занятие, конечно, аристократическое, но это, изящно выражаясь, вымирающее дворянство литературы (правда, вымирать оно будет вечно).

Подтверждением этих мыслей является замечание Е. Шварца о Хармсе в дневнике, о его вымирающем аристократизме, о ненависти к детям и о том, что, имея он детей, это было бы что-то уже страшное.

Абсурд одет с иголки, и я могу полюбоваться на него, но разговаривать нам не о чем. И тому, и другому будет скучно. Его стошнит от моей плебейской «задушевности», меня — от его бесплодной холодности.

И все-таки интересен только такой абсурд — чистый. Абсурд же как реакция на бессмысленный социум и вовсе примитивен, являясь, по сути, оборотной стороной той медали, которую презирает.

Как дыхание — физический, так слово — духовный выход из тупика. Слово именует то, что вошло и входит в состав человека; оно неизбежно, как неизбежен выдох после вдоха. Иначе, говоря красиво, выкипает душа, как выкипает в безвоздушном пространстве кровь.

Все же слово с маленькой буквы, человеческое слово, далеко не всегда неизбежно. Смешанное с выдохом, оно не обязательно благоуханное дыхание младенца. Быть может, до древа познания оно произносилось на выдохе, лучше сказать — *было* выдохом, от которого нам осталось неизбежное «Ах!» — удивления ли, страха, то есть некой чистой эмоции открытия или замиранья. На другом полюсе — вторичность, в пределе выражаемая проклятием, слово — плевок, и оно — очевидный выдох, некое «тьфу!».

Как бы там ни было, но из этой смеси почти непроизносимого (но и неизбежного) на выдохе и слишком произносимого (и часто необязательного) на выдохе и состоит человеческое слово. И оно есть дыхание искусство. Порой у одного и того же художника это дыхание прекрасно прослушивается. Весенний берлинский день Годунова-Чердынцева и его памфлет на Чернышевского суть вдох и выдох.

Сиюминутная сила произведения не измеряется гармоничным соотношением вдоха и выдоха. Скорее уж наоборот: явное преобладание одной из составляющих (особенно второй) производит неотразимое впечатление на современников. Дисгармония — явление более доступное, более желанное, более отвечающее состоянию человека, а поверхностный читатель (каким почти наверняка современник и является) склонен сводить художественное впечатление именно к совпадению материала с тем, что он более или менее самовлюбленно переживает. (Отсюда и повышенный интерес к авангарду, чья добродетель — элементарная дисгармония.)

Гармония — явление сложное и малопривлекательное, поскольку на вид скучное. Равнодействующая сил там равна нулю — стоит ли отдавать себя на растерзание разрывающих векторов, если они, взаимоуничтожившись, ничего не прибавят к вектору индивидуальной целенаправленности? Кому нужно это невыгодное чтение? Кто любит забывать себя, любимого?

И все же и поэту, и читателю иногда ведомо чудо самоисчезновения. Человек, погруженный в чтение, равен пейзажу, с той великолепной разницей, что это пейзаж разума. И его невозможно не полюбить, настолько его нет промышляющего.

«Весь с головою в чтение уйдя, не слышал я дождя». Ни у поэта, ни у читателя нет цели, но есть цельность, есть созерцание, которое восстанавливает человека, есть разумное небывание.

Критик — худший читатель, а точнее, критик — уже не читатель, он ценитель. Из абсолютной категории влюбленной тишины он переходит в сплошь относитель-

ную категорию профессиональной агрессии (восторга ли, разноса — не важно). Он становится невольником впечатлений, идей, мнений и прочих продуктов культурно-хитрящего ума. Думаю, каждому знакомо музейное состояние растерянности, которое можно сформулировать примерно так: хорошо бы знать собственное мнение!.. — между тем как взгляд, только что оторвавшись от картины и словно бы мгновенно затосковав по цельности, уже тянется к пейзажу за окном. Краткое время зренья, подлинности, растворения, а проще — любви, миновало. Началась культура.

Культура есть деятельность растерянного человека. Никакого противоречия — деятельность заглушает растерянность. Хорошая мина при плохой игре. Замечательно убийственное определение: деятель культуры. Заслуженный деятель искусств.

Культура не только вторична по отношению к Слову, но она имеет и другой знак. Вот их встреча:

«Пилат говорит Ему: мне ли не отвечаешь? не знаешь ли, что я имею власть распять Тебя и власть имею отпустить Тебя?»

Иисус отвечал: ты не имел бы надо мною никакой власти, если бы не было дано тебе свыше; посему более греха на том, кто предал Меня тебе».

Пилат в неуверенности (ведь он не находит вины Христа) и в испуге (под напором иудеев) высокомерно угрожает, апеллируя к своей власти. Пилат в состоянии нормальной человеческой раздвоенности. Культурный человек, произносящий не суть, а слова.

Иисус отвечает не слову, но сути, а именно: я прощаю тебя, твою растерянность, тебя сбили с толку, наделив властью, которой на самом деле нет. Иными словами, Пилат говорит: «Я не знаю, что делать», а Иисус отвечает: «Я прощаю тебя» (не угрозы, не жестокость прощает, но раздвоенность, первородный грех).

Христос отвечает всегда, как человек, которого словно бы оторвали от чтения книги, относящейся не к заданному вопросу, но к тому, кто задает.

Слово — а Иисус и есть вдохновенное Слово — обращает человека к тишине и цельности.



«... МЫ ВХОДИМ — Я И ТЕНЬ МОЯ»

НАБОКОВ В МОНТРЕ

Давнее желание попасть в Швейцарию, в Мontre на берегу Женевского озера, и побывать на могиле Набокова превратилось в твердое намерение, когда в каком-то туристском буклете я обнаружил программу знаменитого ежегодного джазового и блюзового фестиваля в Монтре: в двух аудиториях одновременно — Стравинского и Майлс Дэвис Холле — отборная музыкальная программа каждый вечер. Фестиваль этот замечательный. Кроме многих европейцев, участвуют и знаменитые американские звезды: Боб Дилан, Бади Гай, Б. Б. Кинг, Кеб Мо, Сантана, Фил Коллинз, Оскар Питерсен, Ван Моррисон, и великие бразильцы — в том числе и короли самбы.

Старейший швейцарский городок — смесь бледно-розовых, желтоватых и голубоватых аристократических отелей, в основном прошлого века, вдоль набережной и на близлежащих улицах. Респектабельные оживленные швейцарцы, футбольного вида коротко остриженные английские ребята, группирующиеся вокруг британских и ирландских баров с большими телевизионными экранами, и, кроме того, вся хипповая и блюзовая Европа, включая черных гигантов с многочисленными золотыми косичками, серьгами в носу и мулаток с голыми подтянутыми резиновыми животами и крепкими задами.

Устав с дороги, я решил долго не искать жилье и по какому-то сонному наитию зашел в первый же отель напротив городской парковки. Это была старинная гостиница парижского типа (*belle époque*), которая, судя по черно-белым фотографиям в фойе, раньше стояла на набережной отдельно, а теперь оказалась закрыта зданиями ресторанчиков и кафе с многочисленными вывесками. Называлась она «Отель Сплендид» и располагала довольно большим баром, где тоже можно было послушать блюз. Я снял маленькую комнату с окном во внутренний двор, где торчала труба непонятного назначения.

Мсье Пьер Хаусман, пожилой швейцарец с маленькими умными глазами и маленькими седыми усиками — хозяин «Отеля Сплендид», на мой вопрос: а не знает ли он случайно, что в этом городе когда-то жил знаменитый русский американский писатель мсье Владимир Набоков? — поразил меня своим ответом. Пол у меня под ногами превратился в качающуюся палубу, когда я услышал, что он не только знает об этом факте, но и был лично знаком с мсье Набоковым. Мсье Хаусман живет в Монтре с 1944 года, а писатель жил с 1961-го. Набоков поселился уже до конца жизни (1977 г.) в большом роскошном отеле «Монтре-Палас» здесь же, на набережной. Мсье Пьеру довелось несколько раз разговаривать с Набоковым, когда тот проводил время у бассейна или направлялся с сачком охотиться за бабочками в окружающие Монтре предальпийские луга. Отец мсье Хаусмана был знаменитым метрдотелем в ресторане «Палас» и обслуживал Набокова с женой во время обедов. Он был другом владельца отеля и таким образом неоднократно имел возможность разговаривать с Набоковым.

На следующий день на горном поезде (всего в три вагончика, с серьезным машинистом в фуражке и с усами) я доехал до полустанка с кафе (густой суп и запеканка с ветчиной) и пошел по лугам со скальными вкраплениями, откуда, как ни повернись, открывается вид на Женевское озеро и на Монтре, лежащие далеко внизу. Мне стало ясно, почему Набоков переехал в эти места и задержался в них до конца жизни. Его привлекло идеальное сочетание условий для его профессиональной деятель-

ности как литератора и энтомолога. Стало более понятно кое-что и о его литературном методе.

Набоков наперед знал план своих произведений, и пружина его стиля распрямлялась с точно такой быстротой (или медленностью), как было задумано изначальным сжатием воли автора. Кафка — поэт по своему методу — часто не знал, что далее произойдет при распутывании сюжета рассказа или новеллы, развитие шло на уровне полуподсознания. Мне кажется, что в прозе Набокова изначален научный метод. Спонтанным, интуитивным художником он становится лишь в стихах, которые специалисты по Набокову рекомендуют считать вторичными. Сказанное о прозе отнюдь не уменьшает набоковское сверхъестественное, хорошо рассчитанное и разработанное художественное мастерство, с лихвой перекрывающее великую интуицию многих художников. Эти противоположные подходы, прозаический и поэтический, удивительным образом соединяются и работают в его англоязычных американских стихах: «Бледный огонь», «Вечер русской поэзии», «Комната» и других. По-видимому, свойства английского и традиция стихосложения на этом языке позволяют объединить и стратегический план произведения, задуманный гротеском, и нежную, неочевидную, пульсирующую печаль поэтического произведения.

Вне всякого сомнения, окрестности Женевского озера интересовали Набокова-лепидоптериста невероятным разнотравием, изумительными цветами и прежде всего, конечно, обилием бабочек. Это тот же научный интерес, что и в литературе, переплавленный в страсть всей его жизни. Мсье Пьер, который очень неплохо говорил по-английски, поведал об энтомологических экскурсиях Набокова. В рассказе он употреблял слово «papillon», а не «butterfly».

В Монтре и окружающих местах (Лозанна, Вевье) в XIX и XX веках жило столько великих людей литературы и музыки, что сам пейзаж «облучен» присутствием гения. Недалеко, в Лозанне, в отеле «Англетер», лорд Байрон написал «Шильонского узника». Судьба слов: в «Англетере» в Ленинграде повесился другой поэт («Может, окажется чернила в «Англетере...»). В Женеве лорд Байрон встретил семью Шелли, и как-то вечером, развлекая друг друга историями с привидениями, они дорассказывались до того, что Мери Шелли придумала своего знаменитого Франкенштейна. Гораздо позже здесь провел несколько месяцев вездесущий Хемингуэй. Здесь жили маршал Маннергейм, Ромен Роллан, Елизавета Габсбург, которая здесь же встретила своего будущего мужа, Виктор Гюго, Оскар Кокошка, Сенкевич. В 1919 году на пике своей карьеры Чарли Чаплин женился на дочери Юджина О'Нила. В 1953-м пара поселилась в Монтре, где они и прожили долгие годы. В местном кинотеатре долгое время шли фильмы с участием Чаплина. Чарли Чаплин — гордость жителей Монтре.

Выбор Набокова определялся, возможно, не только бабочками и удобством, но и тем, что это место могло быть знакомо ему с юности. Мсье Пьер рассказал, что традиционно еще с прошлого века в Монтре и в окружающие городки на Женевском озере приезжали многие русские и проводили здесь сезон, жили подолгу. Приезжали они из Петербурга и Москвы на поезде, в удобных пульмановских вагонах, так что путешествие было отнюдь не сложным и не таким экзотическим, как кажется. Из Петербурга, с Морской, дом 47, можно было доехать до Женевского озера, мечтательно глядя в окно на проплывающие мимо пейзажи Европы.

Хозяин «Отеля Сплендид» сообщил мне, что в этом отеле жил Ленин. Моя маленькая комната № 53 находилась на первом этаже. Ленин жил на втором, в комнате № 35. В начале 80-х, до перестройки, мсье Пьеру позвонили из советского посольства в Швейцарии и предупредили, что его навещают их сотрудники. Когда он спросил о причине такого необычного визита, ему объяснили, что их интересует место пребывания Ленина в Монтре.

В один теплый, слегка дождливый день, как он вспоминает, старинный лифт доставил на второй этаж, где находятся фойе и приемная отеля, двух господ средних лет, слегка одутловатых, имевших вид оперных певцов из «Процесса» Кафки. Одутловатых, очевидно, не из-за принадлежности к потустороннему миру. Они были одеты похоже, но не одинаково, в темное, при галстуках, вежливы, однако держались отстраненно и переговаривались между собой по-русски. По-французски оба говорили бегло. Они обошли весь отель, сделали несколько фотографий входа в гостиницу, двери в номер, самого номера и, сдержанно поблагодарив, удалились, сказав, что пришли на память какое-то издание, где описание отеля и фотографии будут опубликованы. Началась перестройка, и мсье Пьер никогда больше о них не слышал, никакой информации не получал, и никто больше из посольства не звонил. Так

эта комната и осталась заколдованной, и довольно длительное пребывание Ильича в этом отеле оказалось для широкой публики неизвестным. Мы прошли в красивую старинную ресторанный залу с люстрами, фарфоровыми статуэтками и хрусталем, с несколько обветшалой мебелью и оглядели несколько столиков, за которыми сиживал Ильич, кушая утренний кофий, просматривая газеты и планируя великую революцию, в то время как медленно летящие по утреннему Женевскому озеру паруса нежно ласкали его взор.

Я много раз прогуливался между отелями «Сплэндид» и «Монтре-Палас» и пришел к выводу, что с разрывом примерно в полвека Владимир Ильич и Владимир Владимирович с высокой степенью вероятности могли сидеть на одних и тех же скамейках с видом на озеро или в одних и тех же кафе. К Ленину у Набокова было личное отношение, хотя в целом в своих произведениях он о советской власти и вождях упоминал немного. Вспомним «зеленоватую жижу ленинских мозгов», «культ скульп и орущее общее место в ленинском пиджачке и кепке».

Отели «Сплэндид» и «Палас» были спроектированы одним и тем же архитектором. По утверждению мсье Пьера, Набоков предпочитал жить в отеле, а не в квартире или собственном доме, так как писателю нравился амбьянс роскошного здания XIX века. По-видимому, здесь действительно была какая-то связь с его жизнью в Петербурге, какая-то ностальгическая струнка. Но думаю, что тут что-то посложнее. После потери дома в России Набоков навсегда остался «перемещенным лицом». Литература Набокова — это трансформированный мир, созданный им, который ничего не «отражал», а существовал сам по себе в его сознании. Его физическая жизнь являлась отражением его же метода — сочетания фантазии в искусстве с практической утилитарностью научного работника. Отсюда все эти преподавательские коттеджи в университетских городках у самого Набокова (Кембридж, кампус Корнельского университета в Итаке), наемные квартиры его героя Пнина. XX век — век перемещенных лиц, транзитных пассажиров. Все сместилось, мир — это гостиница с меняющимися посетителями. Так это и у Набокова. Два изумительных произведения нашего века: в кино «Passanger» (в русском варианте «Профессия — репортер») Антониони, в англоязычной прозе «Sheltering sky» («Покрывающее, спасительное небо») Поля Боулза — о том же, о потере дома, блуждании, уходе навсегда.

У Набокова было двойственное отношение к гостиницам, к анонимности, транзитности, к встречам с нежелательными незнакомцами. Вспомним мелькание мотелей в отчаянной погоне Гумберта Гумберта, тревожный разговор на веранде в гостинице со зловещим незнакомцем, лица которого не видно, в начале «Лолиты». Не случайно у Набокова есть два странных стихотворения (символично, что раннее — по-русски, позднее — по-английски).

Русское — 1919 год, Севастополь.

Не то кровать, не то скамья.
Угрюмо-желтые обои.
Два стула. Зеркало кривое.
Мы входим — я и тень моя.

Английское, «Room», опубликовано в журнале «Нью-Йоркер» в 1950 году.

Не слезы, не ужас, но смесь
Анонимности и безнадежности.
Казалось, номер только
Имитирует нормальную комнату.

(Перевод с английского мой. — А. Г.)

Или, может быть, это только художественный прием, любые средства хороши для создания напряжения.

«Лолита» была переписана по-русски в кабинете в «Монтре-Палас». Мой визит в отель и беседа с портье, дамой вьетнамского происхождения, которая говорила по-английски весьма бегло, дали следующее: Набоковы занимали половину шестого этажа, то есть целое крыло здания. Сейчас весь этот этаж переделан и отремонтирован. У них были весьма большие апартаменты с двумя гостиными, залом, кабинетом писателя, спальней и кухней.

Набоковы предпочитали есть в ресторане внизу и лишь изредка готовили у себя. Набоков любил проводить время у бассейна и, несмотря на замкнутый образ жизни, вполне мог перекинуться словом с посетителями отеля. Его часто видели с большим сачком в смешной шляпе. Выглядел писатель весьма забавно, когда деловито, быстрым шагом уходил вверх на пастбища и луга.

Мсье Пьер чрезвычайно рекомендовал позвонить Дмитрию Владимировичу Набокову, который много лет живет рядом с Монтре. У меня с собой была «Камера обскура», и под предлогом получения автографа я предполагал договориться о свидании. Собственно, настаивал на этом именно мсье Пьер, который уверял, что мои сомнения по поводу навязчивости и нежелания беспокоить Дмитрия Владимировича напрасны. Он был почему-то уверен, что тот будет рад поговорить с русским американским писателем.

Сообщение на автоответчике Набокова-младшего произносилось замечательным языком по-французски и по-английски, низким голосом, сильно похожим на голос его отца на пленках литературных записей, когда тот читает главу из «Лолиты» или свои стихи по-английски и по-русски. Хозяин заметил, что, несмотря на то что Дмитрий прожил большую часть жизни здесь, в Монтре, у него довольно заметный русский акцент.

Не дозвонившись, я поехал в Лозанну погулять по знаменитой набережной и поглядеть на легендарный отель «Англетер». На обратном пути случайно попал в шикарный убакюивающий вагон первого класса. Солидный вежливый контролер подошел и предложил доплатить пять франков, чтобы мне не пришлось переходить в вагон второго класса. Расплачиваясь, я повернулся к контролеру и посмотрел направо. У окна через проход сидел высокий, насколько можно судить, когда человек сидит, джентльмен благородного вида, с высоким лбом, отчетливым носом, седыми волосами, зачесанными назад. Верхние веки у него были тяжеловаты, а тип лица чрезвычайно схож с лицом Владимира Владимировича на поздних фотографиях. Одет он был необычно по теперешним временам, хотя весьма благородно: светлая рубашка с открытым воротом без галстука, не джинсы и не хлопчатобумажные, а темные строгие брюки и мягкие кожаные ботинки. На столике перед ним лежали пара французских газет и книжка в мягком переплете. Он держал тетрадь-блокнот и что-то писал по-французски, часто задумываясь, глядел перед собой, но не в окно, и периодически прикрывал глаза. Можно было допустить, что это швейцарский или французский журналист или писатель возраста Дмитрия Владимировича, столь похожий на Набокова-отца. Писал он, мне показалось, несколько странно. Это были куски текста, похожие на строфы или на параграфы, примерно по шесть строк: две длинных — одна короткая — две длинных — одна короткая.

Хотя человек в вагоне ни слова вслух не произнес, мне вдруг стало ясно, что голос на автоответчике Дмитрия Набокова — его голос. Это дошло до меня стремительно, когда я уже выходил на перрон на станции в Монтре. Человек этот в Монтре не вышел, а поехал дальше вдоль Женевского озера. Никем другим пассажир первого класса быть не мог. Я упустил свой шанс, а судьба щедро распорядилась, расставив декорации (озеро, черепичные крыши, Альпы на заднем плане) и выпустив главного героя, пролетевшего тенью на фоне декораций.

Все это только подтверждало мое подозрение, что я нахожусь в некоей «зоне» Стругацких, в «облуженном» месте, где в любую минуту могут произойти неожиданные события и встречи, и что двадцатое столетие начиналось где-то здесь, и похоже, что *grand finale* разыграется тоже в этих местах. Что будет с этим заколдованным местом в следующем веке — неясно. Сочетание изумительных отелей и памятных мест XIX — первой половины XX века с джазово-блюзовым фестивалем невероятно. Это единственный город в Европе, который я видел за последние месяцы, где набережная и торговые улицы не были увешаны бесконечными портретами Леонардо Ди Каприо.

Был день 4 июля. Я позвонил домой в Нью-Йорк. День независимости, и через океан сюда, в предгорья Альп, пахнуло жирноватым дымом барбекю с пригородных газонов и донесся прибой традиционного американского футбольного матча, приуроченного к празднику. На фестивале в этот день выступал единственный и незабвенный Ван Моррисон. Ситуация была шизофреническая. Вирильная пульсация американского блюза «Don't let me go» плыла с верхнего этажа аудитории Игоря Стравинского, который тоже жил и творил в Монтре. Я вышел на набережную и сел на скамью перед отелем «Палас», где и сживал Владимир Владимирович, а до этого Владимир Ильич. Из нижнего этажа концертного дворца, из «Монтре-джаз кафе», гигантского фосфоресцирующего подземелья, раздался рев.

Огромный зал был набит болельщиками из всех стран Европы. Шли четверть-финальные матчи чемпионата мира по футболу во Францию. На экране во всю стену — напряженная собранная фигура вратаря высотой в двухэтажный дом. Тут я вспомнил, что Набоков был страстным футболистом и в Кембридже — вратарем

университетской команды: «Как иной рождается гусаром, так я родился голкипером. В России и вообще на континенте, особенно в Италии и в Испании, доблестное искусство вратаря исконно окружено ореолом особенного романтизма. В его одинокости и независимости есть что-то байроническое». И далее: «Сложив руки на груди и прислонившись к левой штанге ворот, я позволял себе роскошь закрыть глаза, и в таком положении слушал плотный стук сердца и ощущал слепую морось на лице, и слушал звуки все еще далекой игры, и думал о себе, как об экзотическом существе, переодетом английским футболистом и сочиняющем стихи на никому не известном наречии о заморской стране».

Еще одна волна рева ознаменовала новый гол. Знаменитый форвард команды Хорватии забил третий, решающий гол в ворота Германии на 85-й минуте в четвертьфинальном матче. Германия вылетела из состязания. Хорваты победили, первый раз участвуя в чемпионате мира по футболу. Через несколько минут центральная улица-набережная наполнилась машинами с хорватскими флагами. Югославы и многие сочувствующие в открытых машинах с ревом проносились куда-то по направлению к Вевье.

Девицы в коротких майках с глянцевито поблескивающими в вечерних огнях животами приплясывали на машинах. Дело близилось к полуночи. Шестой этаж «Монтре-Палас», где раньше была квартира Набокова, был темен и пуст. До конца XX века оставалось 545 дней.



Слово и Власть

Поэт и Царь — этому вековечному сюжету русской жизни, истории и культуры посвящена книга Игоря Волгина «Колеблясь над бездной. Достоевский и императорский дом» (М., издательство «Центр гуманитарного образования», 1998). Хотя с высоты опытов конца XX века, когда Поэзия чуть ли не разгромила Царство-государство, окуляр авторского взгляда закономерно переместился и взвидел доселе не обдумывавшиеся стороны этого взаимоотношения — уже с симпатией и состраданием ко второму члену сей «оппозиции», так что акцент книги скорее: Царь и Поэт. Ну да: пока крепка была власть в России, писатель-сынок (как правило, блудный) мог себе позволить озоровать капризно и подсвистывать Отцу-батюшке и даже науськивать на него непросвещенные массы старшего Сына — Народа. Ведь дом стоял, и его крыша-стены оберегали от пронзительных ветров и вьюг в морозном космосе Севера Евразии, где «десять месяцев зима, остальное — лето». Ну а когда принялись сносить стены, за которыми могла себе твориться культура-литература (в том числе и в «тайной свободе» — в подполье теплом: «диссидентская», «в стол», на будущее...) и вытащены интеллигенты за ушко — да не на солнышко, а на пронзительные ветра бездушного рынка, — тогда восценили мы тяжкий труд государственования во России — беспредельном просторе с разреженным населением: собрать, управлять, цивилизовать сей космос матери-сырой земли (=«водо-земля», грязь-жижа), склонный расползаться в энтропии!.. Как трудоемко это — придать ему форму, структуру, удерж!

Но прежде всего сама власть должна быть структурирована.

В первой части книги «Его величество Случай (Власть против Власти)» проходит череда дворцовых переворотов XVIII века, когда нарушался легитимный порядок престолонаследия (чему великий почин придал сам Петр Великий, казнив сына-наследника и возведя метрессу в императрицы). И пошли приключения с властью: все, кому не лень сплотить заговор, подбирали власть, что плохо лежит: «верховники», Анна, Елизавета, Екатерина.

И воочию предстало, что в России многовластие для страны и людей хуже самовластия. Когда «верховники» ослабили самодержавие, принудив Анну подписать «кондиции», все стало хуже: по капризу фаворитов-олигархов казнили («бириновщина») и между собой они разодрались («подданные расправляются с подданными гораздо безжалостней, чем цари»). Так что, когда взойшла на престол Екатерина Вторая и установилось надолго ее просвещенное самодержавие, страна вздохнула. И из опыта правления Екатерина объясняла своим европейским корреспондентам: «Российская империя есть столь обширна, что кроме самодержавного государя всякая другая форма правления вредна ей, ибо все прочие медлительнее в исполнении». Тому мы ныне свидетели, когда балуемся игрушкой выборов (в одном Владивостоке пятнадцать раз выбирают городскую думу и мэра, а дума принимает еще и свои «законы!»), идет закупорка сосудов, и импульс из центра застревает уже на полпути исполнения. Вот «кипенье в действии пустом» — вместо работы по созданию ценностей материальных и культурных упражняемся в искусстве «делать Ничего» (не «ничего не делать» — напротив, много сил уходит, но в пшик: Ничего — как предмет труда...). Хотя и понять можно: за тысячу лет русской истории нынешнему моменту выпало задним числом натешиться безудержной демократией, политиканством и гласностью...

Однако из женского лона — пусть и такой мудрой властительницы, как Екатерина, — легитимное престолонаследие неосуществимо. Потому в XIX веке власть во самоспасение свое стала придерживаться законной смены по мужской линии. Ибо коли матриархат, то сыну неясен отец, так что в конце века такой патриот России, как император Александр III, стыдясь преобладания немецкой крови в себе, тайно призвал ученого историка, чтобы выяснить, от кого понесла Екатерина Павла, и

когда узнал, что, наверное, от графа Салтыкова, облегченно вздохнул: значит, хоть капля русской крови в нем есть!..

Вообще трагическим героем драмы русской истории в книге выступает уже не литератор, а император. Перед нами разворачивается внутренняя жизнь двора, заботы государей, сложные там отношения, перипетии, хрупкая психика «особ» — и мы начинаем сочувствовать им, в «страхе и сострадании» переживать катарсис: очищая душу от априорной злобной мстительности и зависти к сильным мира сего, каковые чувства доселе преобладали в традиционном представлении о русской истории и особенно взаимоотношениях Литературы и Власти. И это — как в греческой трагедии: там ведь тоже демос ходил на представление игрищ Судьбы с сильными мира сего, созерцать, как страдают цари и герои: «богатые тоже плачут», — и утешался в своем среднем жребии, не на максимумах, «бездны на краю».

В XVIII веке еще не было сюжета «Поэт и Царь» как противостояния, но оба были агентами цивилизации в стране и сотрудничали: Феофан Прокопович, Кантемир, Ломоносов, а Державин и Дмитриев были даже министрами, и сама Императрица была писательницей — правда, настоящей, а не как в конце XX века: «Малая земля» Брежнева или «Исповедь на заданную тему» псевдоЕльцина (=Юмашева). Однако это для значимости Слова в России характерно — тяготение нелегитимного властителя (и, значит, беспokoящегося «доказать» себя!) еще и писателем прослыть. А Ленин в анкете на вопрос о профессии — «литератор» написал.

И раз уж я уподобил действо русской истории, как она предстает в книге Волгина, греческой драме, то, вспомнив, что там целостным представлением была тетралогия, где три трагедии и сатиrowsкая драма под конец, вижу, что части книги дают нам иную последовательность: сначала идет сатиrowsкая драма — буффонада переворотов вокруг женских лон в XVIII веке, а потом уж трагические спектакли. Часть вторая «Заговор идей. (Интеллигенция против власти)» — это про петрашевцев. Часть третья «Согласно «закону крови». (Власть под револьверным прицелом)» — это про народолюбцев. Затем как бы две интермедии, часть четвертая «Тебя знает император... (Приближение к власти)» и часть пятая «И истину царям... (Власть в домашнем кругу)», — о том, как подвиглись навстречу друг другу Слово России и Государство: великие князья читают Достоевского и ищут встречи с ним, а он приходит во дворец и излагает свои идеи в надежде на влияние отсюда на путь страны. И, наконец, третья трагедия — часть шестая «Грянул взрыв... (Истребление власти)» — про царевубийство 1 марта 1881 года, что вокруг сего и что впоследствии — вплоть до Ипатьевского подвала в 1918-м. (Не преминет автор обратить внимание на мистику чисел тут: 81 — посев, 18 — жатва.)

Вообще автор не только великолепный историк, всю жизнь работающий с архивными документами и материалами. Он строит свое повествование как представление, где выступает как режиссер спектакля, расставляет персонажей и устраивает мизансцены. Ведь ему, живущему в конце XX века, ведомо, *что случится* потом и куда поведут те или иные акты власти, идеи литераторов и проекты пророков. В панораме русской истории за тысячелетие просвечиваются такие сцепления и переключки, что и он сам, и мы, читатели, диву даемся: как бы сам Великий Режиссер=Судьба и Призвание России — созерцает нами происходящее, причем и великие писатели суть его игральщи, в том числе и протагонист книги — Достоевский. При всей его гениальности и прозорливости — и тут «на всякого мудреца довольно простоты». И не диво: им испускались идеи-волны в Апейрон России, что мыслилась как бесконечность и в пространстве, и во времени, и в истории, а вот мы присутствуем при том, как она уперлась в Предел, и возникла обратная связь-откат, и мы воспринимаем, как аукнулось-окликнулось сказанное писателями — мечтателями («завидуем внукам и правнукам!..») и пророками.

Обнаруживать «метафизические ауканья» — азарт первооткрывателя, и мы, читатели, вовлекаемся в эту игру — позорище-игральщи Истории созерцать. «Председателем (суда над петрашевцами.— Г. Г.) государь назначил В. А. Перовского (брата министра). Через тридцать два года его родная племянница махнет на Екатерининском канале платком и прекратит царствование». Имеется в виду Софья Перовская. Или: «Около двух недель над проектом (Лорис-Меликова: о представительных учреждениях. — Г. Г.) трудилось назначенное Александром II Особое совещание. (Кто мог бы вообразить, что в грядущем веке это невиннейшее обозначение будет внушать мистический ужас?)». Слух души и ума автора полон формулами и нашей эпохи, и они хорошо работают в освоении русской действительности. Так о юном великом князе Константине Константиновиче: «Он, как и большинство молодых людей его возраста, постоянно думает — да простится нам эта рискованная историческая инверсия — «делать жизнь с кого» («С товарища Дзержинского», — ответит Ма-

яковский.— Г. Г.). И автор имеет право на таковые стилистические анахронизмы, ибо он разыскивает константное в русском бытии, архетипическое, «обратные угадки судьбы» и его повествование — не по *Истории*, а по *Истине*: что есть уже оптика не ученого, а художника (как их еще Аристотель различил в «Поэтике»).

История оживает — не в «формациях» и «законах исторической необходимости», но — в лицах, действующих на ее театре. И на каждом шагу в книге нам открытия: исторические деятели, к которым уж давно приросла та или иная маска, ампула-клише: «Николай Палкин», «Царь-освободитель», «мракобес Победоносцев», Дубельт — «управляющий III Отделением» — ну что живого может быть в человеке с такой аттестацией? — ан нет! Автор приводит характеристику Герцена из «Былого и дум»: «Дубельт — лицо оригинальное, он, наверно, умнее всего третьего и всех трех отделений собственной канцелярии. Исхудалое лицо его, отгнетенное длинными светлыми усами, усталый взгляд, особенно рытвины на щеках и на лбу ясно свидетельствовали, что много страстей боролось в этой груди, прежде чем голубой мундир победил или, лучше, накрыл все, что там было. Черты его имели что-то волчье и даже лисье, т. е. выражали тонкую смышленность хищных зверей, вместе уклончивость и заносчивость. Он был всегда учтив».

Палитра, которую использует автор, знаток русской литературы, поэзии, мемуаров и т. п., — роскошна, как инструментовка у симфониста: то вступают открытые и скрытые цитаты из Пушкина, Достоевского, Пастернака, Булгакова, то народные пословицы, то формулы советской идеологии и ее приговоры, то обороты современного обихода — и все облучают, сотрудничают в осмыслении и представлении — выговаривая действия русского Бытия и Духа.

А то, что «история в лицах», — так это и буквально: книга издана так, что на полях каждой страницы — портреты тех, о ком говорится, с краткими характеристиками автора. И это тоже — жанр: эпиграмматическая надпись (хотя это тавтология: «эпи-грамма» и есть «над-пись» по-гречески). Вкус автора к репризам, аркам-сводам начал с концами (будущими судьбами) особенно широко утоляется в сих миниатюрах. На стр. 33 картина «Арест Бирона. В России предпочитают брать по ночам: этот национальный обычай распространяется как на сторонников власти, так и на ее оппонентов». На стр. 399 фотография «Императрица Мария Александровна с детьми Сергеем (слева) и Павлом. Середина 1860-х гг. И снова — по тайной прихоти рока — мать запечатлена со своими обреченными на гибель детьми и в черной накидке».

Особенного проникновения и интереса достигает повествование, когда на арену выходят молодые великие князья Константин (будущий поэт К. Р.) и Сергей. В их переписке и дневниках предстают трепетные души, это такие же «русские мальчики», озабоченные вечными вопросами, вглядывающиеся со стыдом в себя — в темные зовы пола и страстей. Вот что записывает Константин накануне и после круцификского для его души акта — первого похода к женщине. «18 апреля 1877. 1/2 12 утра. Я в отчаянном состоянии: когда я читал по обыкновению практику, вдруг пришла мысль, что я должен идти к женщине... Я задумываюсь и запинаясь на пустейших подробностях: как войду, как разденусь, как совершу само дело — это уже обстоятельство решенное, — я пойду. Но сердце бьется. Как я потом буду просить прощения у Ангела Хранителя. Еще вопрос: отчего явилось у меня решение идти? Я не могу себе объяснить этого, но чувствую, что надо. Кажется, я буду лучше потом, я буду мужчиной». «5 ч. Кончено, я изменил своему убеждению, изменил обещаниям, данным Мама. Но раскаяния я не чувствую, только все бывшее осталось в памяти как тяжелый сон. Я был в полном сознании во все время, совсем как Раскольников, когда он совершал преступление». И автор комментирует: «Он трактует свой поступок в высшей степени литературно. Он понимает, что он, как Раскольников, совершил насилие над собой, что он преступил черту. Это — тоже своего рода *теоретическое* преступление. Как и Раскольников, он мог бы воскликнуть: «Разве я старушонку убил? Я себя убил, а не старушонку!» И далее важный общий вывод: «В рассуждении — применительно к России — о связи «литературы и жизни» еще предстоит выяснить, кто (не что! — Г. Г.) из них в большей мере влиял друг на друга».

Или запись 6 августа 1879 г. в дневнике Константина: «Читаю я небольшую повесть Достоевского «Бедные люди», третий день уже читаю и сегодня окончил. Мне так страшно было грустно, следя за лицами, выведенными в этой повести, мне хотелось узнать, где во всем свете такие люди есть, и помочь всем им. Я еле удержался в кают-компани, прибежал в свою каюту, стал на колени у постели и расплакался». И автор комментирует: «Вот... один из... новых «русских мальчиков» (пусть даже «царского рода») ... Юный великий князь жаждет мировой справедливости. Неужели и он — все тот же вечный «русский скиталец», которому нужно «всемирное счастье», он тоже «дешевле не примирится».

В книге подвигаются навстречу другу другу Поэт и Царь: русский писатель диетантский вмешивается в государственную политику («заговор» петрашевцев, беседы Достоевского во дворце, письмо Толстого о помиловании «первомартовцев» и другие акции Слова России), а царь на троне — тоже человек. Словом, «и цари чувствовать умеют!» — перефразируя рефрен Карамзина к «Бедной Лизе».

Но в отличие от нас, людей частных, они связаны «царскою повинностию» и не имеют права предаваться вольным чувствам. Когда Александр II жил с Долгорукой при живой императрице, а по смерти ее вступил в «морганатический» (не династический) брак, — в этой подточности трона взвидели корень последующих бедствий, поразивших императорский дом и вообще власть в России. А наш автор остроумно протягивает нити в будущее и усматривает роковые соответствия: княгиня Юрьевская (титул, что придан Долгорукой при венчании) — рифмуется с Юровским, кто расстрелял царскую фамилию в екатеринбургском подвале.

Художественные архетипы, развитые в романах Достоевского, обнаруживаются в перипетиях жизни царствующих особ. Например, Александр I, кто ведал о готовящемся убийстве отца, но не сам убил, уподобляется Ивану Карамазову, кто уехал в Черемашню, понимая, что Смердяков в это время осуществит злое дело. И подобно тому, как неодобряюще относились сыновья Федора Павловича Карамазова к возможному его женитьбе на Грушеньке, так и царственная родня к женитьбе Александра II на княжне Долгорукой. Как же! И тетка на сторону из казны, а может, и в престолонаследии опасность: старший сын от Долгорукой — Георгий, любимец отца, и в нем все же половина русской крови — среди немецкого сплошняка императорской фамилии, где невест-жен по традиции берут из германских династий...

Ну и такие роковые моменты: «В 1893 году А. С. Суворин записал в дневнике: “С. П. Боткин (лейб-медик.— И. В.) рассказывал мне, что Александр II, отправляясь на смотр 1 марта, с которого он вернулся мертвым, повалил Юрьевскую на стол и... Она Боткину сама рассказывала”». Эрос и Танатос!..

Свое художественное исследование русской истории автор-писатель ведет, рассказывая занимательные «истории», так что оторваться от чтения книги трудно, завлекает пуще авантюрного романа. Да и «ужастики» и «триллеры» заговоров, покушений, убийств, судов, казней... Во всем «дышит почва и судьба» — страны, цивилизации целой, и непрерывно ставятся и обсуждаются вопросы метафизические.

Один из них — прощать ли цареубийц?

Накануне вынесения приговора по делу 1 марта 1881 г. 27-летний модный философ-красавец Владимир Соловьев прервал свою лекцию и обратился к новому царю с предложением: если он христианин, он должен простить убийц его отца, императора России, — и стяжал аплодисменты студентов и курсисток и восторг у либеральной интеллигенции. Так же и Лев Толстой направил послание новому царю с аналогичным предложением. Достоевский месяц не дожидаясь 1 марта, и автор обсуждает вопрос: как бы он мог реагировать в этом случае — он, некогда претерпевавший казнь на Семеновском плацу? «Экстремальные нравственные задачи, которые ставили перед «народом-богоносцем» интеллигенты-максималисты XIX столетия, иные из них хотели бы распространить на верховного носителя исторической власти... Они толкуют о необходимости внесения христианского начала в карательную политику государства, о том, что меч кесаря не всегда годится для *совестного* суда. Они ставят на разрешение царя поистине карамазовские вопросы».

Да, это вопрос вопросов: может ли Государь(ство) руководствоваться заповедями Нагорной проповеди, на каковые призван ориентироваться частный человек?

Христос пришел с Новым Заветом — через тысячелетие после того, как его народ был вышколен в Законе, в Ветхом Завете, где — «не убий!»; а убейшь — то «око за око», то есть жизнь за жизнь. И исчезли частные произвольные убийства в общезжитии людей. И поскольку Священное писание, Библия, которую принимает и христианство, содержит и Ветхий Завет закона, и Новый Завет благодати, то они должны братья в *дополнительности* друг другу (а не в исключении). Об этом и Иисус: не отменить Я пришел, но исполнить!.. (Хотя Он же: вам сказано... а Я говорю вам...) И Его различие, Богу — Богово, Кесарю — Кесарево, образует фундамент для построения и мира, и ума, онтолого-гносеологический принцип.

Для того и учреждается государство, законная власть, чтобы человеки в естественном состоянии войны всех против всех не истребили друг друга, но чтоб монополия на отмщение-наказание, на террор даже была сосредоточена под крышей закона (чье действие предсказуемо), а не предоставлена произволу индивидов (как это ныне у нас в криминальном беспределе, когда убить каждому каждого ничего не стоит, а власть изображает из себя кисейную институтку и боится меч употребить, который тоже Христос принес: «Не мир, но меч...», хотя и противоположное сказано

так же сильно. Роскошь самопротиворечия позволяет себе божественный Логос — опять же для полноты Истины). Тогда, при надежной крепкой власти, индивид может не дрожать-заниматься оградой своего тела жизни, но сосредоточиться внутри себя и упражнять нравственный закон христианства в отношениях человека с человеком, очищать-спасать душу и руководствоваться совестью. Зона же государства — право и закон, форма, практика, а не *со-весть*—со-ведание, со-знание, со-зерцание, теория. При парности, дополнительности таковой и жизнь богаче, а понимание мира и человека стереоскопичнее. Так что, как сформулировал современный молодой политик (Владимир Рыжков): «Лучше ужасная власть, чем ужас без власти» («ужасная» здесь не в смысле «страшная», а «плохая» — по римскому еще тезису: *dura lex, sed lex* = плохой закон, но закон).

Чего же желают русские писатели-интеллигенты, кто и за самих-то себя не справляется отвечать, не говоря уж о поведении с домашними, в семье (боятся ответственностью семьи оскоромиться, как Соловьев, или раздражительны в конфликте, как Толстой)? Чтобы царь, который отвечает за целое страны и действие закона в охране жизней сотен миллионов, поступал как частный индивид, не разделяя в себе человека и государя. «По словам Софьи Андреевны Толстой, Александр III велел передать ее мужу, “что если бы покушение было на него самого, он мог бы помиловать, но убийц отца он не имеет права простить”». Достоинно ответил, имея в виду отца-царя, а не просто родителя.

Остановимся на этом сюжете еще. В логике высших представителей русского ума отчетливо проступает *принципиальный тоталитаризм* Русского Духа, сознания и миропонимания: неприятие разного и многообразного, но чтобы «все равно и все едино» и «не может быть двух правд», и «один за всех и все за одного», и «каждый за все(х) в ответе». Вот Вл. Соловьев: его аргументы — «Царь может простить их, и если он действительно чувствует свою связь с народом, он должен простить. Народ русский не признает двух правд». Почитай русские пословицы: там на каждую максиму есть противоположная мудрость, и не две, а россыпи правд.

Достоевский: «Что правда для человека как лица, то пусть остается правдой для всей нации». То есть чтоб у Целого была та же логика, что и у части, чтоб организм руководствовался со-вестью, понятием, которое имеет обо всем его член, орган — рука, например. В логике такое называют логической ошибкой *pars pro toto* (лат.= часть за целое когда принимается). Ее мы слышим и в советской формуле: «Партия и народ едины». Ведь «партия» — от лат. *pars, partis*, буквально «часть».

Так что тоталитаризм советской системы — внешняя реализация тоталитаризма в мышлении-миропонимании русских интеллигентов. Они тоже за единомыслие и не допускают инакомыслия — своей логики у дела правления, исходя из интереса Целого. И скачут сразу от «я» ко «все», минуя посредствующие звенья и не предполагая структурность социума. Вселенская смазь, неразличенное тождество, бесструктурность и энтропия. Соловьеву брезжит всемирная теократия (тождество церкви и государства) во главе с Россией (на меньшем не примирится: разом и всех под свою одну гребенку — свое понимание Абсолюта). Достоевский в Пушкинской речи — о призвании русского человека — всех научить...

И неотвязна в нем мысль о всеобщей вине, о «за всех в ответе». Это, конечно, фундаментальная Истина Бытия, и нужна как руководящее убеждение в человеке. Об этом — учение религии о первородном грехе, об этом — тезис о «всеобщей взаимосвязи и взаимозависимости явлений» в какой-то из четырех черт диалектики в «Кратком курсе истории ВКП(б)».

Но далее-то Бытие и Истина разветвляются (а не торчат столпом), разнообразятся — и тут уж правомочны различия, дифференции и «каждому — свое»-каждой форме свой ум. И настаивать в функционировании структуры государства с его «цветущей сложностью» на абстракте того Всеединого — уже неправда.

Хотя, точнее, так: ты, пророк, поэт, писатель, не уставай напоминать о единой в нас всех субстанции, что «все — во всем!», отчего и любовь, и жалость, и всепонимание. Это — твое дело в разделении труда в Духе. Но есть же другие дела и оптика, где ты — профан. И там воздержись от суждения. Ведь так трудно среди хлябей матери-сырой земли, в хаосе-Апейроне (безбрежности и аморфности) России устанавливается твердь, космос. Потому так дороги структура, дифференциация, иерархия, форма — как агенты *нег*-энтропии. И в этом Государство — мотор и завод(ила).

Между тем пониманию русских интеллигентов — этой особой породы существ, выведенных в России второй половины XIX века и потом, — таковое неподвластно. Пушкин еще не интеллигент: понимал разное, структурность, свое дело у государя, свое — у поэта, а «смешивать два эти ремесла...»? Но разно-чин-ные (не благо-чин-ные, бесструктурные) умники завели другой стиль: сами ни за что не отвечая, лезли

судить — дилетанты! — и создавать негативное общественное мнение ко власти, а та стала трепетать и «колебаться над бездной». Так и в конце XX века тирания либерального общественного мнения науськивала президента на расстрел парламента. Тоже ведь дилетантизм! Разве наши книжные умники, ратуя за введение западных устоев в России — рынок, юридический социум, разделение властей... — понимали, ощущали, *что* это такое и каково жить в сих условиях? Только читали да звон слышали.

Итак, и Вл. Соловьев, и Лев Толстой предложили царю управлять не по закону, а по благодати — народом и обществом, которые еще не прошли школы закона и права. И это тоже в русской традиции: еще митрополит Иларион в «Слове о Законе и Благодати» писал в XI веке о Божьем даре русским: приняв христианство, жить не по закону, что как бы оставлен уже историей позади, а сразу по благодати, перескочив ускоренно через стадию развития... Но это оказался рок русской истории и логики, жизни и психики человека: нет четкой постепенности в развитии, еле намечается структура — и рушится, постоянно «смещение ремесел» и фаз, спутывание всего со всем, энтропия. Отсутствие среднего звена (и сословия, и «среднего термина в силлогизме»), посредства, но сразу или все, или ничего, крайности, да еще и гордимся тем, что мы — люди экстремы (Достоевский — «человек экстремы», — пишет Волгин).

Еще важный вопрос обсуждается: что Россия запаздывала постоянно с реформами — и при императорах, и при советской власти... Воспитаны в однородности времени: один шаг — и час, и год и в Италии, и в России. Казалось бы, теория относительности могла бы приучить нас к мысли, что у каждого «тела отсчета», у каждого Пространства — свое, ему присущее Время, его ток-шаг и мера. Как и пульс кровообращения в таком среднем млекопитающем, как Германия = волк, Франция = лис(а), Англия = дог, не может быть приложим к такому супертелу, как медведь и даже мамонт России. Так и год планеты Юпитер иной, чем год Марса или Венеры, но в десять раз дольше. Так и в России: при таком пространстве да еще с разреженным населением, коли бы в естественном темпоритме все происходило, то каждая историческая фаза переживалась бы в несколько раз дольше, чем в Европе. Но вовлеченность России с запада в дела Европы подстегивала — и то рывок-задых, ускорение (Петр, Ленин-Сталин, Горбачев...), то застой, сон обломовский... Так что *несовпадение такта Времени с шагом Пространства* — вечный рок России. И потому мы задним умом крепки: «Ах, счастье было так близко, так возможно!..»

Да, на многие размышления о судьбах России подвигает книга Волгина. Жанр этой книги — тоже «художественное исследование», каковой термин применил Солженицын к своему «Архипелагу ГУЛАГ». Но если его писал суровый зек, отмститель, пророк-судия бичующий, то эту книгу писал сдержанный (но внутренне страстный и ироничный!) историк, ценящий полноту жизни, но не берущий на себя смелость судить ее за ее несовершенства. Он не склонен держать свою душу в темени аду озлобления и осуждения, но воскрешает-приближает к ней доброе в людях и в бытии. Так что чтение этой книги продуцирует в нас не желчь и меланхолю, но сангву — радостное струение артериальной крови, провоздушной пониманием-прощением, жалостно-любовию ко всем.

Что ж: эстетический подход к действительности — менее ль христианск, нежели этический? Этик — судит (а сказано: «Не судите!»), а эстетик не судит, но все приемлет, любит... Если в том — «кипит наш разум возмущенный», то в художнике — Разум Восхищенный...



Чисто литературные мечтания

Перспективы яркие, контрастны, знобяще-манящи. И все благодаря русской литературе. Первое приближение к ним примерно таково...

Не глядя протягиваешь руку к темному шкафчику с собраниями классиков. Нежно оглаживая переплеты, на ощупь лишь движение ладони, оттягивая сладостный миг... Но стоп! И наугад! Как из баньки в сугроб! Выхватываешь, побрасывая томик, как картофелину из костра. Лакомо, весома, обжигающе. До слюны, до спазма... И, полуприкрыв глаза, даже не прочитав имени, раскрываешь... Нет, она сама раскрывается, книга, словно бутон под протянутыми навстречу весенними трепетными лучами.

И вот оно, ароматным, тягучим настоем вливается, только бокал души подставляй:

«...выходя из кабинета, вошел в столовую, где прислуга спускала шторы на высоких солнечных окнах, заглянул зачем-то направо, в двери зала, где в предвечернем свете отсвечивали в паркете стеклянные стаканчики на ножках рояля, потом прошел налево, в гостиную, за которой была диванная; из гостиной вышел на балкон, спустился к разноцветно-яркому цветнику, обошел его и побрел по высокой темной аллее... На солнце было еще жарко, и до обеда оставалось еще два часа...»

Неимоверным усилием воли вырваться из этого колдовства, собраться с мыслями и... угодить в чары собственных раздумий.

Господа! Вы верили, что можете стать помещиками? По крайней мере представляли себя в роли таковых? Ну не лукавьте, вижу, мечты играли с вами в эти игры.

А ведь как подумаете, право, что действительно можно стать помещиком, инда оторопь берет, нежнейшими мурашками все тело осыпая.

И ведь очень даже запросто. Всего-то — купил участок, отгрохал хоромы, прислугу нанял. Житьишко! Чума!

И живем прямо с раннего утра. Боже упаси проспать златое утро с его первыми трелями и первым ветерком, волнующим вершины берез... Но вот уже доносятся запахи с кухни, где кухарка запалила лучину еще за полночь... И завтрак в постель. И накрахмаленную салфетку за воротник атласной пижамы. А сервировано на серебре. А запах из-под крышки такой, что ни за что не догадаешься, какое блюдо ждет тебя, но ни на долю секунды не усомнишься — вкуснее в мире нет.

— Но позвольте, что же это за пятнышко на вилке? А? Григорий? Что молчишь? Кажется, тебя, подлеца, спрашивают! «Виноват...» Это и слепому ежу ясно, что виноват. Что ж ты, братец, утро мне портишь? Как с такой вилкой жизнью наслаждаться? А? Подумал ли ты об этом, мерзавец ты эдакий? Ты пойми, скотина, что именно такая вот мелочь, как пятнышко, и способна сокрушить идеальную картину целого мироздания! Понимаешь ли ты это, свинтус? «Понимаю...» Вот и видно, что не понимаешь, поскольку не первый раз нерадение за тобой примечаю. И потому отправляйся-ка ты, брат, на конюшню за нравоучением, коли такое чучело бесчувственное...

Ну да что значат эти досадные мелочи по сравнению с Природой! И вы выходите после завтрака на веранду, закуриваете и не торопясь идете в глубь сада, к любимой беседке, где с четверть часа не без приятствия размышляете о том, что все же завтрак был весьма недурен. Отнюдь-с!

А дальше, по темной аллее, заложив руки за спину, совершенно не торопясь (непременно во фраке!), спускаетесь к реке. Она уже многоструйным звучанием среди белоснежных кувшинок приветствует вас из-за кустов тальника...

— Тимофей! Да ты, брат, с ума, что ли, сошел? Кто же тебе разрешил тут рыбу лавливать? А? Ну чисто идиол языческий! Сговорились вы, что ли, с утра барина до слез расстраивать? И слушать не хочу! На конюшню, с-скотина!

Нет, совершенно невообразимо с этим народом ощущать гармонию жизни. Извольте тонко чувствовать и сострадать при эдаком хамском небрежении ко всему святому!

Но, слава Создателю, есть еще птицы небесные, твари бессловесные и прочая фауна и флора благоухающая. И предмет особых забот ваших — фруктовый сад соток так на двадцать, чтобы не притомиться. Да оранжерейка заветная, где на спор с соседом и на посрамление ему вызревает зимой клубничка, да-с, черт ее возьми да и совсем!

Однако... Однако что же это, господа? Обтрясли, изверги, яблоньку-красавицу!

— Степан! Куда же ты смотрел, обалдуй неопишумый? Ну-ка, не вороти рожу-то, не вороти... Так и есть. Пьян! Ах ты, поросычье ты отродье! Напился, дурак, и все проспал... А? Ей-богу, расплачусь... Ну что с вами, анафемами, делать?.. Ну что?! Запорю! За-по-рю-у!!!

И в отчаянии, не торгуясь, скупаешь у соседей все возможные имения, объединяя в одно. Собирая земли. Дабы навести в них единый порядок. Методом известным. С присвистом и воплями, слух рачительного хозяина услаждающими.

Вы только проговорите вслух, не торопясь, вдумчиво, но с сердцем это заветное слово: запорю! Ощутите его грани, рассмотрите оттенки, прочувствуйте душой и телом. Только тогда поймете, что такое настоящий помещик. А когда поймете, то жизнь положите ради достижения желанной цели...

Сладостнейшие перспективы, господа, сладостнейшие. Есть ради чего жить.

Читайте классику, господа! Читайте и перечитывайте, приуготовляйтесь!

А вы, господа литераторы, имейте совесть, пишите вкусно, черт вас дер! Иначе чем запомнимся тысячелетию грядущему?



Зачем нужны премии?

Сегодня в России появилась масса новых литературных премий. Публике о них становится известно чаще всего из сопутствующих каждому присуждению скандалов. При этом если премия присуждается «имени» — она ничего ему не прибавляет. Если же награжденный «именем» не был — как правило, он им и не становится. И добро бы это пустое дело творилось со смехом, так нет же — с бранью, «во грехе», как выразился бы Лев Николаевич...

Так, может быть, премии и вообще нужны только тем, кто их получает или хотя бы выдает, но вовсе не нужны культуре? Той туманной сфере человеческой деятельности, которая обеспечивает нас высокими, передающимися из поколения в поколение переживаниями.

Что говорить — распределять писателей по местам, как борцов в гамбургском трактире: этот первый, этот седьмой, — нелепо прежде всего потому, что они по большому счету не соперничают, а дополняют друг друга. «Кто лучше — Чехов или Эдгар По?» Если даже допустить, что литературные звезды делают в Гамбурге, то и самый необузданный почитатель спортивных нравов все равно откажется быть судьей в чемпионате, в котором состязаются борец, прыгун и гимнаст. И все же...

Более или менее общая, наследуемая культура может существовать лишь тогда, когда не только она подстраивается под наши вкусы, но и — в гораздо большей степени — подгоняет наши вкусы под эталонные произведения. Первые рецензии на «Войну и мир» сегодня, по выражению Лидии Гинзбург, выглядят хулиганством; поздний Пушкин современникам представлялся скучным и «охладевшим»; тысяча экземпляров Кафки в Париже — культурной столице мира — за несколько лет оказалась едва початой... Требуется ли продолжать? Всеобщее почитание, которым ныне окружены эти имена, говорит, разумеется, не о том, что сегодняшние критики и читатели проницательнее прежних, а лишь о том, что их (наши) вкусы оттачивались на другой «тренировочной последовательности»: Пушкин, Толстой, Кафка... Но распознать завтрашнего гения мы умеем ничуть не лучше наших дедов.

Есть огромная разница между гением становящимся и гением, так сказать, институционализированным, социально закрепленным в качестве незыблемого авторитета, включенного во все учебные программы и энциклопедии, наделенным такими атрибутами величия, как памятники, повсеместно развешанные портреты, места поклонения — вроде Михайловского, Ясной Поляны или еврейского кладбища в Праге, где благоговейного паломника прямо у гробового входа встречает указатель «Могила Франца К...». Становящемуся гению можно выражать пренебрежение сколь угодно громко, почти не рискуя прослыть тупицей и невеждой, — безнаказанно посягать на гениев институционализированных могут себе позволить либо другие канонизированные гении (Толстой — Шекспир), либо полные маргиналы, рассчитывающие на скандальную славу — весьма, правда, мимолетную, если только со временем они сами не будут канонизированы (Маяковский). Институционализированные имена утверждаются на эстетическом небосклоне в качестве неподвижных звезд, задающих «естественную» систему отсчета — систему, которую каждый, являясь в мир, находит в готовом виде и долгое время живет в заблуждении, будто эти эстетические константы созданы самой природой, как звездное небо над нами. И все наши эстетические суждения так или иначе, сознательно или бессознательно апеллируют к этому звездному небу внутри нас. Без неподвижных звезд, формирующих вкус читателя, в хаотическом книжном море, лишенном каких бы то ни было прочных маяков, все решали бы напористость, реклама и вкус неподготовленной массы. Причем решали бы очень ненадолго — моды стремительно раскачивались бы от одного примитивно-ошарашивающего образца к другому.

Конечно, ярко даже и неподвижных звезд меняется со временем: Шекспира или Данте то боготворят, то почитают более прохладно. Но сбросить их с небосвода

современности удалось бы разве что ценой истребления всей читательской элиты (элита и формируется по ее отношению к неподвижным звездам: в нее включаются те, кто способен восторгаться хотя бы частью созвездий). И функция литературных премий заключается, по-видимому, в том, что они пытаются осуществлять краткосрочную институционализацию текущих (мимо) имен. Это дает какие-то временные ориентиры тем читателям, которые, так сказать, стремятся к высокому, но сами неспособны отличить талант от подделки, а новатора от шарлатана или психопата. В долгосрочной перспективе вопрос этот решает только институционализация (да и то небесспорно: и сегодня есть вполне квалифицированные читатели, которые считают Хлебникова просто душевнобольным, а Ходасевич называл его так даже и кретином).

Более или менее прочные приговоры, за которыми следует включение в учебные программы, а там, глядишь, и возведение памятников, выносит в конечном счете культурно-социальный истеблишмент — академики и министры. Но одной этой силы для институционализации бывает недостаточно: весь советский аппарат не сумел возвести на небо ни одной новой звезды, а Платонов и Мандельштам утвердились там усилиями своих нечиновных бескорыстных почитателей, не поддержанные даже самой крохотной премией. Подозреваю, что это и есть два главных фактора институционализации — культурно-социальный истеблишмент и давление расширяющегося круга социально-близких ему бескорыстных «болельщиков», возвращенных на неподвижных звездах. При этом каждый фактор в отдельности оказывается бессилен.

А что же остается тогда на долю литературных премий? Насколько они способны повлиять на завтрашнюю институционализацию? Приглядимся к самой авторитетной премии — Нобелевской. При том, что величайшие писатели столетия по разным причинам оказались обойденными, в списке нобелевских лауреатов лишь гораздо меньшая часть — подлинные классики, награжденные к тому же «вдогонку», когда премия уже почти ничего не могла прибавить к их авторитету. Большая же часть — просто «крупные писатели», в какой-то момент оказавшиеся в центре внимания благодаря своей общественной деятельности, экзотическому происхождению и тому подобным внелитературным обстоятельствам: сегодня они остались лишь в истории литературы — крепкий второй сорт вместо высшего.

Складывается впечатление, что это общий закон: премии присуждают либо уже состоявшимся авторитетам, либо вместо десятки попадают в восьмерку, а то и в шестерку. Поэтому любую премию совершенно справедливо обвиняют в том, что она либо консервативна, либо субъективна, «тусовочна». Но никакой иной премия быть и не может, ибо различие между тусовкой и художественной школой, направлением, течением выявляется только задним числом: если хотя бы один член тусовки оказывается институционализированным в качестве классика, на его плечах везжают в историю и все его приятели — в подстрочные примечания.

Но означает ли это, что от премий вообще нет никакого проку? На мой взгляд — вовсе нет. Попасть вместо десятки в восьмерку — результат очень даже неплохой, если учесть, что подавляющее большинство публики лупит исключительно в молоко. Тусовки — при всех издержках — не только неизбежны (люди всегда будут объединяться по интересам и целям), но и желательны. Они организуют литературную борьбу точно так же, как политические партии — борьбу политическую. Без руководства соперничающих, но более или менее цивилизованных лидеров неструктурированная толпа склонна выносить наверх что-то совсем уж убийственно простое, но ошарашивающее: «народной политикой» слишком часто оказывается классовый, национальный или религиозный фашизм, «народной медициной» — знахарство, «народной литературой» — Пикуль и Маринина. Литературные премии приносят пользу тем, что крепким вторым сортом защищают нас от напора пятого, десятого и сто четырнадцатого.

И за это низкий им поклон.

Александр МЕЛИХОВ



ЛАВКА БУКИНИСТА

Герберт УЭЛЛС. ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ ФАНТАСТИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ. Кн. 1 и 2. М., «Текст», 1996. Тираж не указан.

Жаль, что это издание так навсегда и замерло на первых двух книгах. И не только потому, что любое произведение Уэллса интересно, его следует читать всего — от начала до конца. Издание, предпринятое было «Текстом», задумывалось как иллюстрированное, тут и портреты автора, и работы разных художников, старых и современных. В тиражировании пусть любопытных, но давно исчерпавших себя братьев Стругацких, в то время как выход собрания сочинений классика прерван в самом начале (да и то готовилось оно без комментариев), даже не цинизм момента, а суть культурной ситуации. И верно: какие комментарии можно сочинить, например, к многоотомникам Фазиля Искандера или Андрея Битова? Притом забывают, что была же и принципиально другая литература.

СОВРЕМЕННАЯ БАЛЛАДА И ЖЕСТОКИЙ РОМАНС. СПб., Издательство Ивана Лимбаха, 1996. Тир. 5000 экз.

Стоит прислушаться к этим строчкам, и расслышишь нечто знакомое.

Вот раздался свисток паровозный.
Не успел скрыться поезд вдаль,
Сторожа по платформе далеко
Неостывшийся труп пронесли.
И в вагоне вдруг все взбунтовалось,
Машинист тут стоял сам не свой —
Его дочь от любви и измены
Под машину легла головой.
В тот же день в том же самом вагоне
Офицера убитым нашли.
И погибла их жизнь молодая
Из-за этой несчастной любви.

Вроде известно от начала и до конца. Но что это? Откуда? И не догадаться, если искать прямые совпадения. На самом деле прямых совпадений тут, собственно, и нет. Как бывает фантомная боль на месте ампутированной ноги или руки, так жестокий романс, городская баллада болят там, где некогда существовала так называемая высокая культура.

Борис СИЧКИН. Я ИЗ ОДЕССЫ, ЗДРАСЬТЕ... СПб., «СМИО Пресс», «Издательский дом «Бельведер», 1996. Тир. 11 000 экз.

«Когда пришло время, сосед, старик Абрамович, отвел меня в школу. В классе, когда распределяли общественные нагрузки, я взялся за огород. Попросил всех учеников принести картошку, рис, вермишель, фасоль, огурцы, помидоры и так далее. Дома из этих продуктов мы варили супы. Пришло время сбора урожая, я посетовал на неурожай. Тогда класс мне дал еще один шанс». Если это и выдуманно, то выдуманно очень смешно. Впрочем, ломать голову — шутит ли Борис Сичкин или говорит серьезно — не имеет смысла. Как жизнь его разнообразна и необыкновенна (и война, и театр, и кинематограф, и тюрьма, и эмиграция, и т. д.), как разнообразны и необыкновенны его близкие друзья и хорошие знакомые (Светлов, Смирнов-Сокольский, Гаркави и проч.), так разнообразен и неповторим он сам. И танцор. И куплетист. И актер кино. А главное — он один из немногих на этом свете счастливых людей. Как бы ни было трудно, почти всегда занимался любимым делом. И в самом страшном умудрялся разглядеть смешное. Само собой разумеется, книга эта не написана, а наговорена, рассказана. Шутка за шуткой, слово за слово. И возникает особый мир. И это неизбежно, достаточно единственного слова. В самом начале.

Варвара СТЕПАНОВА. ЧЕЛОВЕК НЕ МОЖЕТ ЖИТЬ БЕЗ ЧУДА. М., «Сфера», 1994. Тир. 3000 экз.

Письма, стихи и записки блестящего художника Варвары Федоровны Степано-

вой помогают понять не только то, к чему стремились сама Варст (как она себя называла) и ее муж Александр Михайлович Родченко. Они помогают почувствовать, почему же великая эпоха искусства двадцатых годов уступила место великой эпохе искусства тридцатых. И не давление времени виной, а желание перевести художество в ранг государственного занятия. Это удалось, но последствий такого превращения предвидеть не мог никто.

Густав МАЙРИНК. ИЗБРАННОЕ, т. 1 и 2. Київ, «Фіта Лтд», 1994. Тираж не указан.

Сейчас, когда все романы Г. Майринка, кроме «Зеленого лика», переведены, очевидно, что лучшее его сочинение — «Голем». Прочие скучноваты, иногда рассудочны, а иногда обесмысленны. Но поразительно хороши рассказы, особенно «Заклятье жабы — заклятье жабы», истинно мистический, гипнотизирующий рассказ с ироническим и страшным жабым припевом: «Я плюю на цветок лотоса, я плюю на свою судьбу...» — и загадочным вопросом — что делает вторая, седьмая, девятьсот семнадцатая или тридцать девятая нога Тысяченожки, когда она вознамерится шагнуть. И, задумавшись над этим вопросом, Тысяченожка навеки оцепенела.

ПАРНАССКИЕ СТРАДАНИЯ. М., «Молодая гвардия», 1990. Тир. 100 000 экз.

С легкой руки Николая Глазкова появился в литературе жанр «ироническая лирика». Считается, под эту рубрику подходит любое стихотворение, вызывающее смех или даже усмешку. И потому в среднестатистическом ироническом стихотворении слышится этакая залихватистость. Мол, автору Иппокрена по колено. В действительности же ирония — явление иного порядка, и потому стихи, долгие годы публиковавшиеся в особом разделе альманаха «Поэзия», а затем собранные под общей обложкой, столь разноголосы, принадлежат ли они местным поэтам, переведены ли с чужого языка. Тут действуют особые закономерности, которым надо бы посвятить обширное исследование, пока же впору констатировать вместе с одним из авторов:

Кормили хорошо, а вырос плохо —
должно быть, это, милые, — эпоха.

Норман ДОНАЛЬДСОН. КАК ОНИ УМЕРЛИ. М., КРОН-ПРЕСС, 1995. Тир. 15 000 экз.

В смерти известного человека биографы, репортеры и досужая публика стараются разглядеть либо особый знак, заново освещающий всю его жизнь, либо эффектную точку, логично эту жизнь заканчивающую. На самом-то деле и первое, и второе — из области домашнего театра (театра для себя, театра для других, едино). Верно подмечено — каждый умирает в одиночку, и хотя известная русская половица пытается упрямо возразить, что на миру и смерть красна, — это стороны одной монеты. «Орел» и «решка».

Борис ЯМПОЛЬСКИЙ. ЯРМАРКА. М., «Вагриус», 1995. Тир. 5000 экз.

Какие-то рукописи Б. Ямпольский раздавал на хранение знакомым, и о них до сих пор ничего не известно. Но то, что осталось, давно пора издать в нескольких томах. И станет явно, как менялась повествовательная интонация, как изменялись сюжеты, делаясь не хуже, не лучше, а становясь иными. И это будет самое достоверное свидетельство и о жизни писателя, и о том, что творилось у него в душе.

БЕРЛИН — МОСКВА. Мюнхен — Нью-Йорк, «Престель», М., «Галарт», 1996. Тираж не указан.

Каталог выставки, экспонировавшейся сначала в Германии, а затем в России, и более похожий не на каталог, а на монографию, лишний раз подтверждает — у советского и немецкого искусства тоталитарной эпохи нет ничего общего. Вернее было бы называть их разными художественными направлениями, сосуществовавшими в общем временном пространстве. И замечательно, что тенденциозно выстроенная музейная экспозиция давно разобрана, а в пределах книги картины, плакаты, фотографии и тексты существуют по собственным законам.

Б. ФИЛЕВСКИЙ

Дорогие читатели!

НАЧАЛАСЬ ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛ «ОКТЯБРЬ» НА 2000 ГОД!

Стоимость подписки для Российской Федерации (индекс 73293):
на первое полугодие — 177 руб.
на месяц — 29 руб. 50 коп.
на три месяца — 88 руб. 50 коп.
плюс надбавка местных отделений связи.

Для стран СНГ (индекс 79209):
на первое полугодие — 207 руб.
на месяц — 34 руб. 50 коп.
на три месяца — 103 руб. 50 коп.

Ф.СП-1

МС РФ ГПС (Госпочтамт)											
АБОНЕМЕНТ на <small>журнал</small> газету										73293	
ОКТЯБРЬ										(Индекс издания)	
(наименование издания)										Количество комплектов:	
на 2000 год по месяцам											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Куда:											
(почтовый индекс)								(адрес)			
Кому											
(фамилия, инициалы)											



			ДОСТАВочНАЯ КАРТОЧКА								
			на <small>журнал</small> газету						73293		
			(Индекс издания)								
ОКТЯБРЬ											
Стой- мость			подписки пере- адресовки			руб. руб.			Количество комплек- тов:		
на 2000 год по месяцам											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Куда:					
(почтовый индекс)				(адрес)	
Кому:					
(фамилия, инициалы)					

Подписка по Каталогу Роспечати принимается всеми отделениями связи, а также через киоски (кроме Москвы).

Вы можете оформить подписку сразу на год (только в Российской Федерации). Это обойдется вам дешевле.

Стоимость годовой подписки (индекс 72375) — 330 рублей плюс надбавка местных отделений связи.

Москвичи и жители Московской области могут подписаться на «Октябрь» непосредственно в редакции (ул. «Правды», 11/13) по льготной цене и получать журналы у нас.

В редакции также можно будет заказать очередной номер журнала по цене 27 руб. 50 коп.

Справки по телефону: 214-31-23.

В розницу журнал можно приобрести в следующих магазинах:

«AD marginem» — 1-й Новокузнецкий пер., 5/7;

«Библио-глобус» — ул. Мясницкая, 6;

Литературный клуб «Графоман» — ул. Бахрушина, 28;

Книжно-лотный салон «Летний сад» — ул. Б. Никитская, 46;

«Мир печати» — ул. 2-я Тверская-Ямская, 54;

«Эйдос» — Чистый пер., 6.

ГАЗЕТА ТРУД

Ежедневный выпуск «Труда» (включая «Труд-7») — это объективная и самая свежая информация из первых рук, комментарии известных политиков и экономистов, острые дискуссии, расследования, все самое интересное в мире науки, искусства, спорта.

«Труд» остается верен своей репутации газеты, отстаивающей права и свободы человека.

«Труд-7» — еженедельная семейная газета на 24 страницах. Доверительный собеседник, который предлагает сенсационные новости, рассказывает о шумевших скандалах, потчует свежими анекдотами, посвящает в тайны интимной жизни, дарит телепрограмму, посвящает в гороскоп, для досуга — кроссворд, тесты, шахматные задачи, а о моде — прямо из Парижа.

Что выписать...

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Индексы для подписчиков Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей:

- 32428** — ежедневный «Труд»
(включая выпуск «Труд-7»)
- 34265** — только пятничный
выпуск «Труд-7»

Для остальных регионов:

- 50130** — ежедневный «Труд»
(включая «Труд-7»)
- 32068** — только пятничный
выпуск «Труд-7».

*Разве это
ТРУДНЫЙ
вопрос?*

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

*До конца года и в 2000 году
«Октябрь» предполагает опубликовать:*

Анатолий АНАНЬЕВ. **Призвание Рюриковичей, или Тысячелетняя загадка России.** Книга третья.

Ролан БЫКОВ. **Дочь болотного царя.** Современная сказка.

Алексей ВАРЛАМОВ. **Новый роман.**

Игорь ВОЛГИН. **Пропавший заговор.** Достоевский и политический процесс 1849 года. Книга третья.

Даниил ГРАНИН. **Повесть.**

Владимир КАЧАН. **Цветной блюз.** Повесть.

Анатолий КИМ. **Близнец.** Роман.

Николай КЛИМОНТОВИЧ. **Последняя газета.** Роман.

Павел КРУСАНОВ. **Укус ангела.** Роман.

Нонна МОРДЮКОВА. **Записки актрисы.**

Юнна МОРИЦ. Книга **«Рассказы о чудесном».**

Стихи.

Анатолий НАЙМАН. **Неприятный человек.** Роман Фрагмент Романа.

Стихи.

Владислав ОТРОШЕНКО. **Повесть.**

Олег ПАВЛОВ. **Новый роман. Школьники.** Повесть.

Евгений ПОПОВ. **Повесть.**

Михаил РОЩИН. **Повесть. Рассказы.**

Павел САНАЕВ. **Детский мир.** Роман.

Лариса СЫСОЕВА. **Берлинские эпохалки.** Предисловие Евгения Попова.

Борис ХАЗАНОВ. **Понедельник роз.**

Сергей ЮРСКИЙ. **Западный экспресс.**

Олег ЮРЬЕВ. **Полуостров Жидятин.** Роман.

А также **новые произведения** Петра АЛЕШКОВСКОГО, Фридриха ГОРЕНШТЕЙНА, Анастасии ГОСТЕВОЙ, Владимира КАНТОРА, Владимира МАКАНИНА, Александра МЕЛИХОВА, Лилии ПАВЛОВОЙ, Григория ПЕТРОВА, Людмилы ПЕТРУШЕВСКОЙ, Ирины ПОЛЯНСКОЙ, Игоря ПОМЕРАНЦЕВА, Валерия ПОПОВА, Вячеслава ПЬЕЦУХА, Генриха САПГИРА, Леонида ФИЛАТОВА, Асара ЭППЕЛЯ и др.